

АЛОЕ УТРО

УЗБЕКСКИЕ РАССКАЗЫ

Перевод с узбекского

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Вступительная статья С. АЗИМОВА

Составители:

Н. ВЛАДИМИРОВА, А. НАУМОВ

Оформление художника Ю. БОЯРСКОГО

ЧУДО МНОГОЦВЕТНОГО ЖАНРА

Узбекская советская литература, рожденная Великой Октябрьской революцией,— составная часть единой многонациональной советской литературы. Она тесно связана с социально-политическими, экономическими и культурными преобразованиями, осуществленными в нашей стране. Писатели Советского Узбекистана всегда черпали свой художественный материал из героических подвигов и жизни советского народа. Опираясь на богатые национальные традиции и впитывая опыт братских литератур, прежде всего русской, мировой классики, узбекские художники слова за годы Советской власти создали такую многожанровую литературу, которая смогла занять достойное место в общесоюзном литературном процессе.

Узбекский народ является обладателем богатого фольклора и письменной литературы, в которых он выразил свои мечты, чаяния и общественные идеалы.

Но в классической узбекской литературе отсутствовала, в полном смысле этого слова, реалистическая проза. Так называемая «большая

проза» (роман, эпопея) вообще не была известна ей. Рассказы, повести создавались в полуреалистической, полупоэтической манере, свойственной литературе феодального периода.

Появление реалистической прозы в первые годы после Октября следует считать ее огромным достижением, свидетельством нового этапа развития.

Грандиозные по масштабу и значению события революционной эпохи не вмещались в традиционные литературные формы (стихи, прозаическая притча, дидактическая новелла), и многие писатели начали пробовать свое перо в области повествовательной прозы. Появились повести С. Айни «Одина» и «Дедушка-раб», романы А. Кадыри «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря», рассказы З. Баширова, Ш. Сулейманова.

Под влиянием революционной действительности и в связи с новыми задачами, возникшими перед литературой, она успешно преодолевала доставшуюся ей в наследство идейно-тематическую и жанровую ограниченность.

Основоположники узбекской советской литературы Хамза, Айни и другие в трудный период борьбы с настойчивостью утверждали социалистический идеал.

Начальные ростки социалистического реализма появляются в узбекской литературе еще накануне Великого Октября. Они связаны с именем Хамзы Хакимзаде, в творчестве которого революционный взгляд на окружающую реальность был главенствующим. Он выступил не только против религиозно-клерикальной литературы и закоснелой идеологии мусульманского средневековья, но и против буржуазных националистических течений, представители которых стремились оградить узбекскую литературу от всех внешних, особенно революционных, воздействий.

В рассказе «Новое счастье» Хамза со всей страстью борца разоблачил антинародную сущность феодальных порядков. И надо отметить, что Хамза был первый в узбекской литературе, кто с революционных позиций подошел к созданию образов бедных, бесправных, нищих людей из народа.

С первых дней революции смело и энергично вступил в жизнь рассказ, хотя зарождение и развитие «малой прозы» в узбекской советской литературе имело свои особенности. Когда в «большой прозе» появились выдающиеся произведения (повести и романы Айни и

Абдуллы Кадыри), в «малой прозе» зрелых произведений было еще очень мало. «Бухарские палачи» Айни и повести «Из дневника калвака Махзума», «Что говорит упрямый Ташпулат?» Абдуллы Кадыри состояли из ряда новелл, тут можно вспомнить и такие рассказы А. Кадыри, как «На улаке», «Пир чертей», «Мирная работа», но высокохудожественных образцов этого жанра еще не было, хотя попыток создать их предпринималось немало. Особенно много новеллистических произведений появилось во второй половине двадцатых годов. Мастерством своих рассказов, среди творений Гайрати, Уйгуна, Шакира Сулеймана, Эльбека, начали выделяться Гафур Гулям и А. Каххар.

Как правило, рассказы создавались на злобу дня и зачастую носили пропагандистский характер. В рассказе Гайрати «Хашар» говорится о преимуществах коллективизации и коллективного труда. В «Нищенке» — героиня рассказа находит свое счастье в труде на фабрике.

Обладая необыкновенной возможностью незамедлительно, без художественных потерь показывать новые явления жизни, рассказ быстро завоевал популярность и стал достойным соперником крупных форм прозы — романа и повести.

Жанр рассказа — особо сложный, требующий большого мастерства и таланта. Это отмечали сами художники слова. Так, выдающийся русский советский писатель Алексей Толстой, владевший секретами многих жанров, писал: «Новелла — труднейшая форма искусства. В большой повести можно «заговорить зубы» читателю превосходными описаниями, остроумными диалогами — мало ли чем. Здесь же вы весь на ладони. Вы должны быть лаконичны, как поэт в сонете, но лаконичность должна получаться от концентрации материала, от выбора самого необходимого... Новелла — лучшая школа для писателя». Один из крупнейших писателей Европы Томас Манн восторгался рассказами Антона Павловича Чехова: «Какую внутреннюю емкость и силу гениальности могут иметь краткость и лаконичность, с какой сжатостью, достойной, может быть, наибольшего восхищения, такая маленькая вещь охватывает всю полноту жизни, достигая эпического величия, и способна даже превзойти по силе художественного воздействия великое гигантское творение, которое порой неизбежно выдыхается, вызывая у нас почтительную скуку».

Как мы видим, русский рассказ своей высокой гражданственностью, лаконичностью, умением выразить боль человеческую покорил

мирового читателя. Поэтому после Октябрьской революции представители всех народов нашей страны, и те, которые имели свою письменность и литературу, и те, которые не имели письменности прежде, учились у русских мастеров, у таких выдающихся русских советских писателей, как Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Константин Паустовский, Валентин Катаев, и более молодых — Сергей Антонов, Юрий Нагибин, Василий Белов, Владимир Солоухин и многие другие. В национальных литературах блестящие образцы «малой прозы» дали узбек Абдулла Каххар, киргиз Чингиз Айтматов, молдаванин Ион Друце, грузин Нодар Думбадзе, армянин Грант Матевосян, таджик Садриддин Айни. Следует отметить, что спектр советского многонационального рассказа необычайно многоцветен: от героической новеллы до острой сатиры — все вместил в себя этот универсальный жанр. Таковы рассказы Абдуллы Кадыри («Записки Калвака Мах-сума», «Подозрение»), Гафура Гуляма («Уловки шариата», «Воришка»), Абдуллы Каххара («Прозрение слепых», «Воры», «Страх»), Айдын, Гайрати, Назира Сафарова, Миркарима Асима и других.

Они, познавая жизнь, художественно отображали действительность, которая в каждый период истории оказывалась своеобразной.

В ранних рассказах Гафур Гулям и Абдулла Каххар направляли острие своего пера на критику суеверий и предрассудков, показывая, что они бытуют из-за невежества людей, находящихся в слепом подчинении догматам религии, служителям культа. Трудовой народ забит, угнетен, слеп, и только революция, борьба за раскрепощение личности помогают прозреть народу. Один из рассказов Абдуллы Каххара так и называется «Прозрение слепых» (1934). Это остросюжетное произведение, полное драматического напряжения страстей, с

Героическим характером в центре, звучащее почти легендой из времен гражданской войны, первых лет революции. Герой рассказа Ахмад обращается со страстной речью к басмачам. Он хочет, чтобы они прозрели и поняли, что, помогая бекам, губят себя и свой народ.

В этой новелле Каххар следует традициям героических восточных легенд, но сила слова, агитационная мощь человеческой речи подсказана ему революционной действительностью.

Гафур Гулям также мастер рассказа. Он развил и умело применил многообразные приемы сатиры и юмора.

Картины жизни определенной социальной прослойки писатель рисует, раскрывая не только их социальный смысл, но и индивидуальный

характер персонажей.

Большинство рассказов Гафура Гуляма построено на основе острого жизненного конфликта, в них используется богатство живой и выразительной народной речи. В рассказе «Уловки шариата» в распрю между мужем и женой вмешивается и духовное лицо. Это дает автору возможность вскрыть реакционную суть законов шариата.

Первые рассказы узбекских писателей грешили этнографизмом, опнсательностью, но их достоинством были искренность, достоверность чувств, сочный, колоритный язык, и в них выразилась потребность осмыслить и запечатлеть то новое, что входило в жизнь.

Узбекские писатели не избегали сложных психологических коллизий. Осуждая и высмеивая старое, консервативное, реакционное, они утверждали новое, прогрессивное, показывали решительное размежевание классов, освобождение человека, его устремленность к лучшему, активный труд, преобразующий не только землю, быт, но и сознание человека, который из забитого, неграмотного превращался в активного созидателя социалистической нови. На этом пути узбекские новеллисты неоднократно обращались к творчеству Н. В. Гоголя и А. П. Чехова, учились у них построению сюжета, раскрытию характера героев. Чтобы лучше войти в творческую лабораторию русского писателя, Абдулла Каххар, например, переводил рассказы Чехова на узбекский язык.

Период Великой Отечественной войны явился новым испытанием политической, идейной и художественной зрелости узбекской литературы. Это испытание с честью прошла наша литература. И здесь неocenима помощь русских писателей. Эвакуированные в Ташкент Анна Ахматова, Алексей Толстой, Николай Вирта, Александр Дейч, Борис Лавренев, Владимир Луговской, Николай Погодин, Илья Сельвинский, Корней Чуковский бескорыстно передавали свой богатый опыт узбекским собратьям по перу.

Писатели Узбекистана стремились обобщить патриотизм, стойкость и мужество советского народа в Отечественной войне. В центре внимания узбекских новеллистов той поры стоят труженики тыла.

Однако это не значит, что фронтовая жизнь осталась вне поля зрения мастеров рассказа. Фронт и тыл показаны в неразрывном единстве. Они отобразили широкую панораму борьбы советских людей против жестокого врага — фашизма. Лучшие качества узбекского народа воплощены в рассказах «Женщины», «Синий конверт», «Старухи

звонили по телефону» Абдуллы Каххара, «Мастонбиби», «Степные рассказы» Саида Ахмада, «Старший брат» Саиды Зуннуновой, «Две любви», «Доброта», «Птица счастья» Адыла Якубова, «Солнце в сердце» Пиримкула Кадырова.

Способность рассказа поднимать глобальные проблемы жизни, раскрывать сложные пласты человеческой души увлекает и более молодых узбекских писателей, пришедших в литературу со своими раздумьями о человеке и природе. Приверженность к рассказу такой большой группы литераторов, как Уткур Хашимов, Уктам Усманов, Шукур Халмпраев, Аман Мухтар, Камчибек Кенджа, Самар Нуров, Эмин Усманов, Хайритдин Султанов, Эркин Агзамов, Мурад Мухаммаддод, Асад Дильмурадов, Захир Аглямев, Шаходат Исаханова, несомненно, доказывает творческие возможности этого жанра. Порой узбекских писателей упрекают в излишестве бытописания, в чрезмерной детализации. Есть доля правды в этом упреке. Но если принять во внимание традиции восточного письма и тот факт, что узбекская литература давно культивирует эти традиции и на них воспитано не одно поколение — то мне кажется, что с поспешным «судом» тут нельзя торопиться. Писатели раскрывают жизнь, характер своего народа другим народам. И читателям нужно знакомиться с душой, культурой данного народа. Ведь традиция народа — это его история, опыт.

Наша советская литература сильна тем, что не боится взаимообогащаться, напротив, это ее принцип.

В деле взаимообогащения и взаимопроникновения литератур большая роль принадлежит переводу. Хороший перевод знакомит народы друг с другом и способствует делу интернационального воспитания всех наших народов.

Современные узбекские писатели в тесном содружестве с писателями братских литератур углубляют, развивают и расширяют круг тематики рассказа. Хамид Гулям, Аскад Мухтар, Саид Ахмад, Адыл Якубов, Пиримкул Кадыров и другие поднимают острые вопросы современности. Это воспитание цельного, гармонически развитого человека, борьба за богатый духовный мир и широкий общественный кругозор, воспитание гражданской позиции — умение противостоять косности, приспособленчеству, новоявленному мещанству, всему тому, что мешает нашему продвижению вперед. Узбекские писатели не избегают изображения трудностей, связанных с борьбой за воспитание нового человека, показывают в своих произведениях, что нормой

нашей жизни являются коммунистическая мораль и нравственность.

Двадцатые годы — время становления узбекского рассказа — были временем, когда зачиналась узбекская советская литература, но рассказ играл тут особенную роль. Жанр «малый», так сказать, оперативный, он выступал как бы ее разведчиком в поисках новых тем, новых героев, нового жизненного материала. Сегодня благодаря многим молодым именам рассказ переживает новый расцвет. Но лучшее, что было написано прежде, остается с нами и сегодня, ибо несет отсвет алого утра революции, с его борьбой, трудностями, поисками, победами; то алое утро революции, свет которого мы бережно храним и приумножаем нашим нынешним днем.

С. Азимов

Абдулла Кадыри

1894-1938

НА УЛАКЕ

*Этот рассказ был написан в 1915 году по
детским воспоминаниям.*

I

Вчера сам папа разрешил мне побывать на улаке, и сегодня я наскоро проглотил чай и побежал в конюшню. Мама и папа засмеялись: смотри, у тебя выросло шесть ног и семь рук.

Я схватил скребницу, расседлал своего конька с белой отметинкой на лбу и начал его чистить. Конь волновался, мотал головой, бил копытом землю, махал хвостом. Я мечтал: бог даст, на следующий год я буду участвовать в состязаниях и тогда все ахнут: «Вот так Тургуннаездник! Отличный джигит».

Я надел на коня изящное монгольское седло, купленное мне в подарок на праздник хаит. Начистил русскую уздечку, ту самую, что выпросил у дяди, потом стал поодаль и осмотрел коня — все было в порядке: сбруя на месте, седло, как влитое, подпруга прилажена вплотную, а уздечка, ах какая уздечка, просто царская. А вот нагрудника не было, и это меня немножко расстроило.

Я с минутку подумал и вспомнил, что на днях брат принес новый ремень. Я незаметно вынес его из дома и смастерил нагрудник. Мой конь горячился и рвался вперед. Я в последний раз осмотрел его и привязал к столбу.

Осталось одеться самому: чесучовый камзол, русские длинные штаны, лакированные сапожки, бархатная тубетейка. И можно садиться в седло.

У мамы есть странная привычка: как только сунешься за новой одежкой, она обязательно кричит: «Испачкаешься, в гости идти не в чем будет!» И пока не захнычешь, ничего не выйдет. И на сей раз я сначала похныкал, потом оделся и подвязался шелковым кушаком. Тихонько, чтобы не видела мама, зашел в комнату и сунул под камзол папину нагайку с серебряной ручкой.

Работник принес мясо. Я попросил его вывести коня на улицу, а

мясо сам отнес маме и побежал. Мама закричала вслед: «Не испачкайся, не гони лошадь, не лезь в толпу!»

Я вскочил на коня, подобрал полы халата и хлестнул плеткой. Конь помчался.

II

Как раз, когда я поил лошадь из глубокого арыка, подъехали всадники. Среди них были знакомые брата, и они поздоровались со мной. Один спросил, где брат, и я сказал, что брат еще утром отправился на улак.

— Наш Махкамбай страстный любитель улака,— сказал тот, который спросил о брате.

— А ты куда направляешься?

— На улак.

— Скажи на милость! Тоже, значит, наездник. Так и будем звать: Тургун-наездник!

Мне очень понравилось, что меня называли наездником, и я подумал: «Какие хорошие люди!»

Едем целым отрядом. Мой белолобый не отстает от других, а иногда и обгоняет. Слышу, кто-то говорит: «Хорош у тебя иноходец, парень».

Мужчины толкуют о чем-то своем, задают и мне вопросы. Я робею. И опять заходит разговор о брате:

— Много я видел наездников,— говорит один,— но такого страстного любителя улака, как Махкам, впервые встречаю.

— Так у него же деды и прадеды знаменитые наездники,— говорит сын Сабира-мельника и кивает на меня.— Смотрите, мальчишке двенадцать лет, а тоже собрался на улак.

От этих слов мне становится жарко и хочется смеяться, но я сдерживаюсь.

— Мой отец рассказывает удивительные вещи о дедушке Махкама.

— Знаменитый наездник был,— говорит парень с усами.— И побеждал зараз сто и даже двести наездников.

— Значит, был королем состязаний,— вставил сын Сабира-мельника.

— И ты бы стал королем, будь у тебя хорошая лошадь и сила в руках,— заметил другой.

Мне было приятно слушать, как хвалят моего деда.

В эту минуту мы слышали конский топот, я оглянулся и увидел верхового на буланой лошади. Он был обнажен до пояса и держал перед собою облезлого козла.

Он поравнялся с нами и поздоровался.

— На этой неделе поможете мне, а? — улыбаясь, сказал Туган-ака.

— Кому же помогать, как не вам,— ответил парень и добавил нетерпеливо:— Ну-ка, попроворней.

Он некоторое время ехал с нами, но потом, видно, ему надоело, он ударил лошадь плетью и полетел, как птица. «Мне нужно спешить»,— услышали мы его голос.

Теперь речь зашла о лошади только что умчавшегося человека.

— Хорош скакун,— сказал Туган-ака,— настоящий иноходец.

— Летит как ветер,— добавил парень с усами.

III

Брата мы встретили на маленьком базарчике Домбрабад. Он с друзьями заказывал чайханщику плов. Улицы поселка никто не поливает, поэтому очень пыльно.

Наконец мы добрались до места, где должно было происходить состязание. Огромная, просторная поляна. Народу собралось много. И участников, и зрителей. Под двумя густолистными, раскидистыми карагачами кипят два огромных, как бочки, самовара. Немного поодаль выставлены мешки с огурцами и продавцы выкрикивают: «Хрустящие огурчики, сладкие огурчики!»

Брат спешил около чайханы. Было жарко, и я спрятался в тени карагача. Многие смотрели на меня и моего коня. Я смущался и теребил гриву моей лошадки. Всюду гул, шум, все с нетерпением ждут начала состязаний.

— Сегодня ничего интересного не будет,— слышу я чей-то голос.

— Не ври, именно сегодня и будет интересно,— перебивает другой,— приедут Салим и Мурад.

— Конечно, если Салим приедет,— вставляет кто-то.

— Да, лошадь у него казахская, не любит нагайки.

— Их было трое,— говорит какой-то старик,— а вот уже два года одного не видно, он-то был настоящий.

— Верно, верно, и я его уже давно не встречал. Коренастый такой

парень?

— Да. И никто не знает, куда он делся.

И еще долго говорили об этом парне. Кто-то уверял, что он умер, кто-то кричал — жив!

— Да нет же, его покалечила лошадь.

— Начинают,— чей-то голос перекрыл шум, все сразу умолкли.

На поле выехали два наездника на танцующих конях. «Салим и Мурад»,— зашептали вокруг.

— Который Салим? Тот черный, рябой?

— Ох, наверно, Салим победит!

Один из наездников был на сером, другой — на пегом коне, оба огромного роста.

Публика заволновалась:

— Сейчас увидим настоящие скачки!

— Что будет сегодня!

— Смотрите, какой конь у Мурада, просто крылатый.

— О каком ты говоришь, о сером или пегом?

— Оба чистокровные, никто таких не догонит.

— Вот тот, с торчащими ушами, видно сразу, как ветер.

— Дело не в ушах, а в породе.

— Говорят, что черный конь победит.

— Покойный отец всегда, когда покупал коня, разглядывал копыта, все дело в копытах.

Вслушиваясь в этот гомон, я про себя думал: «А какие копыта у моего коня?»

Подъехали мои друзья — мальчишки с нашей улицы — Нурхон, Хайдар-шепелявый и Шакир-сопливый. У нас завязался свой разговор.

Нурхон рассказал, как он выпрашивал у отца коня, а Хайдар — о том, что в дороге его конь все время смотрел на кобылу Шакира и ржал.

Мы смеялись, Шакир клялся, что никогда больше не будет ездить на кобыле. Потом они увидели нагрудник и стали спрашивать, сколько такой стоит.

— А нагайка серебряная?

Я смотрел на свою лошадь, одежду и понимал, что выгляжу лучше их.

— Давайте поскачем,— предложил Хайдар-шепелявый.

Мы сели на коней, я ударил своего плеткой, и он вырвался вперед. Я доскакал до холма и стал ждать мальчиков. Они подъехали, и мы снова

заговорили о лошадях. Нурхон объяснил, что его лошадь не может быстро нестись, потому что брат напоил ее, разгоряченную, холодной водой.

Хайдар ругал своего соседа Эсана за то, что тот неожиданно бросил с крыши глиняный катыш прямо на его лошадь. С тех пор, сколько ни бей, она только пугается и ни с места.

О моем коне Хайдар сказал: «Твоего ни с каким сравнить нельзя».

— Ты счастливец,— добавил Нурхон,—но только смотри, не доверяй его никому, испортят коня.

Мы еще долго беседовали, а потом потихоньку поехали назад. Я опять оторвался от них и поскакал вперед. А когда приблизился к толпе, то вдруг подумал: пусть и меня заметят. И хлестнул коня плетью. Он полетел как ветер, и многие смотрели на меня и моего черного, с белой отметиной на лбу, конька, а я все думал: «Смотрите на меня, запоминайте»,— и все стегал коня.

IV

Среди зрителей началась суматоха. Вон собирают награду победителю. Вон Мурад уже встал. Салим надел колпак наездника. Мясник Рузи сейчас будет резать козла, уже нож точит. Вон и байские сынки поднялись. Кажется, Салим снимает халат! Ага, молодцы!

Мы с нетерпением ждали начала.

Наездники то снимали верхние халаты, то застегивали подпругу на коне.

Мой брат снял шелковую чалму и полосатый халат, отдал все это мне и тоже поскакал на главную дорожку. Уже почти все участники собрались, а козла все еще не приносили. Зрители теряли терпение: «За это время и верблюда можно было зарезать».

Через несколько минут откуда-то появился Ариф-саркар, за ним человек в колпаке первого наездника. Колпак был набекрень, и сам он сидел в седле скособочившись.

— Вон и козла приволокли.

— Кровь-то всю выпустили? — спросил кто-то.

— Будьте спокойны,— ответил Ариф-саркар и резким движением швырнул на землю тушу козла. Потом подъехал к зрителям и крикнул:

— Подайтесь назад! Детей уберите. С лошадьми шутки плохи.

Ариф-саркар погнал свою лошадь к месту, где лежал козел.

— Посмотрим, кто из вас самый ловкий... Посмотрим! Давай, давай,— кричали зрители.

Состязание началось.

Один хватает тушу, другой вырывает у него, тянет к себе, налетает третий, четвертый, и вот уже тушу тянут восемь человек — каждый в свою сторону. Подскакивают еще и еще наездники. Каждый старается отобрать тушу у друго. Тянут за ноги, за хвост, за шею. Очень трудно выбраться из этой свалки. Вот один ухватил тушу, но не успел проскакать и десяти шагов, его настигают другие.

— Под колено ее, под колено клади! — кричат зрители.

— Отпусти уздечку, возьми плетку в зубы, не глазами по сторонам.

— Ага, схватил! Не отдавай!

— Поворачивай налево, налево!

— Держи, не отдавай!

— Вот окаянный, прозевал, а еще наездник!

— Чтoб твоя лошадь сдохла, это же не лошадь, а ишак.

Туша срывалась, и тогда кто-нибудь из зрителей мчался со всех ног, хватал и подавал ее другу, знакомому, брату, старался сделать это попроворнее, чтобы «чужие» не выхватили. Но его оттесняли, и он выскакивал, хромя и потирая руку. А потом подробно рассказывал соседям

о том, как его прижали.

Уже никого нельзя узнать в лицо. Пыль, гам, запах пота. Каждый старался схватить тушу, сунуть ее под колено, никто не обращал внимания на разбитую голову, битый глаз, вывихнутую руку. Лишь бы схватить козла и сунуть под колено. Это уже половина победы.

Но не каждому это удавалось. Уже многие хватали тушу, а не могли ускакать дальше — их настигали соперники.

Прошло уже много времени.

Вдруг наездники внезапно съехались в кружок, притихли. Мы все, конные и пешие, бросились туда, к ним. Я очутился сзади и никак не мог прорваться поближе.

Все встревоженно спрашивают друг у друга: «Что, что стряслось?»

Через несколько минут я услышал голос: «Осторожно, осторожно».

— Ну-ка, отойдите подальше.

Толпа качнулась назад.

— Что, кто?

— Да ничего. Эсанбая лошадь затоптала.

— Очень покалечила?

— Нет.

Люди переглядывались: несчастье, беда!

— Ну-ка, посторонись! — Несколько верховых выехали из толпы. Они везли пострадавшего. Его осторожно положили под дерево. Послали за арбой. Кто-то брызгал водой в лицо Эсанбая, но он не шевелился.

— Пять лошадей топтали беднягу.

— Не все ли равно — пять или десять. Ударили в живот или в шею.

— Если у него век долгий, выживет.

«Он мне на прошлый хаит дал полтинник,— подумал я.— Он добрый, пусть выживет, господи».

Эсанбая уложили в подъехавшую арбу. Брат и еще трое парней повезли его в город.

— Пусть приложат соленую вату!

— Нет, лучше положить нагретые отруби!

Они уехали, а улак продолжался. Я пробыл до самого конца. Больше ничего не случилось.

V

Домой я вернулся поздно и уснул как убитый. Утром мама разбудила меня: «Вставай, вот придет отец, он тебе задаст»,— и сдернула с меня одеяло.

— Папа разве не на базаре? — удивился я спросонья.

— Он на заупокойной молитве. Хоронит Эсанбая,— тихо ответила мама.

Я мгновенно проснулся.

1915

Гафур Гулям
1903-1966

УЛОВКИ ШАРИАТА

На крыше коровника пристроились две горлинки. В свете солнечных лучей они казались ослепительно белыми, а большие темные глаза коровы, лениво жевавшей, приобрели какой-то светло-коричневый оттенок. Корова то и дело облизывала длинным языком сухие ноздри и отмахивалась от мух хвостом с кисточкой на конце: на каждый шорох она отвечала мычаньем — протяжно, но отнюдь не мелодично.

Горлинки с остервенением выдергивали друг у друга перья.

На открытой террасе сидит сам мулла Дилькаш и чинит потник. Тут же, на пышной подушке, прикорнула женщина лет сорока пяти, а женщина помоложе и покрасивее подкрашивает усмой брови перед небольшим ручным зеркальцем. Это — жены муллы Дилькаша.

Мулла Дилькаш в сердцах воткнул шило в потник и повернулся к старшей:

— Вот эта корова и та умнее тебя, хоть жвачку жует, а ты!.. Тебе разжуешь, так ты глотаешь, будто одолжение делаешь!

Женщина привстала:

— Эта корова лучше меня? Если так, то вот эта глупая горлинка в тысячу раз умнее вашей любимицы! Горлинка хоть в зобу еду бережет, а эта — позавтракает и ждет обеда. Чтоб ей пусто было!

— Не гневи бога, неблагодарная! Из-за твоей дурацкой болтовни я на базар не поспею. Если бы ты вовремя заштопала потник и чалму выстирала, я бы давно уже уехал, но ты одно только знаешь — язык чесать.

— Значит, она настоящая жена, а я дура? Ну так пусть она и стирает вам чалму, а заодно и саван! Весь день от зеркала не оторвешь.

Младшая швырнула зеркало на пол. Одна бровь так и осталась ненакрашенной.

— Накажи аллах моего отца! завопила она.— Отдал меня на растерзание! Ни одного светлого дня! Не жизнь, а мука!

Мулла Дилькаш — человек с характером. Он немало побродил по свету, много повидал, встречался с разными людьми, был мастер вести долгие и приятные беседы. Когда мулла Дилькаш привел в дом вторую

жену, он понял, что в жизни еще не все радости исчерпаны.

— Человеку с достатком каждую бы неделю жениться,— часто любил повторять он. И стал всерьез подумывать о третьей жене. Но... мнение людей!.. Избавиться бы от старшей!

«Думаешь ли ты жениться, мулла Дилькаш? — размышлял он. И сам себе отвечал: — Клянусь духом святого Баховиддина, женюсь! Так что толку от этого шума? Найди себе мудрого советчика и начинай потихоньку действовать».

Мулла Дилькаш бросил потник на середину двора, натянул халат и, схватив чалму, выскочил из дома. У кого же попросить совета?

Колебался он недолго и остановил свой выбор на знаменитом мулле Абульбаки Маргилони, который ухитрился в свое время четырежды жениться и четырежды благополучно расстаться со всеми своими женами. Зато в последнее время мулла жил отшельником в одинокой келье кесаккурганского медресе.

На счастье муллы Дилькаша, святой оказался в келье.

Поговорили о том о сем. Не спеша. Наговорились досыта. Абульбаки — все больше о жизни. Мулла Дилькаш — о разных торговых сделках. Затем Дилькаш попросил совета, и мудрец не заставил себя долго ждать. Помолчав минуту-другую, он милостиво изрек:

— Сын мой, разрешение ваших сомнений можно найти в шариате. Внимайте мне. Постарайтесь как-нибудь ночью ненароком коснуться губами груди вашей старшей жены.

— Грудь?

— Не торопитесь, сын мой. Вы притворитесь спящим и совершите это во сне.

— А дальше?

— Вы только выразите по этому поводу беспокойство, а наутро привед те жену ко мне.

Мулла Дилькаш в нетерпении дожидался ночи. И хотя очередь была провести ночь в покоях младшей, он остался у старшей. Было уже за полночь. Жена уснула. Мулла Дилькаш как бы во сне нечаянно коснулся губами груди жены. Женщина проснулась и возмущенно вскрикнула:

— Чтоб у тебя борода по волоску высыпалась! Ты что, с ума сошел?

Мулла Дилькаш не отзывался. Жена замахнулась и крепко шлепнула по голой спине Дилькаша.

— Чего дерешься?

- Да тебя убить мало!
- Младшая так не делает.
- Лучше бы ты окошел.
- Ты чего ругаешься?
- А ты чего сосешь меня как дойную корову?..
- Когда?
- Сейчас!
- Врешь!
- Клянусь детьми.

Мулла Дилькаш вскочил с молитвой:

- Слушай, жена, а как это дело толкует шарият?
- Откуда мне знать?
- Надо завтра же сходить к мулле.

Наутро муж и жена входили в келью муллы Абульбаки Маргилони. Низко поклонившись святому, мулла Дилькаш робко произнес:

- Господин, мы совершили тяжкий грех.
- Говорите, сын мой.

— Вот она, эта женщина — моя жена, а я сегодня ночью, со сна, как сосунок..

- Как сосунок?
- Да, господин.
- Так ли, сестра моя?
- Да, господин.

Мулла Абульбаки почесал бороду.

— Совершилось невероятное. Отныне вы не муж и жена, а мать и сын.

— Мать и сын?! — воскликнул встревоженным голосом мулла Дилькаш.

Да, уважаемый мулла, вы ей сын, а вот она — ваша мать, родная мать, вскормившая вас грудью.

Мулла Дилькаш растерянно посмотрел на жену, жена на муллу Дилькаша.

- А нет ли другого толкования, господин?
- Так велит мусульманское благочестие.
- Лучше бы мне умереть! — воскликнула жена.
- Тише, не кричи, люди услышат.

Заплатив мулле за услуги, новоиспеченные мать и сын покинули келью. Поравнявшись с воротами медресе, мулла Дилькаш почтительно

обратился к жене:

— Мама, теперь вам придется женить меня. Трудно вед человеку, привыкшему иметь двух жен, обходиться одной!

— Издох бы ты маленьким. Нашел себе маму, проклятый! Зовп меня хотя бы сестрой...

1930

ВОРИШКА

Мама у нас умерла весной семнадцатого года. Отца мы к тому времени уже давно лишились, и никого, кроме старенькой бабушки, Ракия-биби, у нас теперь не оставалось. Отчетливо помню, как по вечерам она укладывала нас на айване на рваный рябой палас — единственный представитель рода ковровых, что уцелел в доме — а сама ложилась с краю, точно оберегая бедное свое гнездо с птенцами. Это была усохшая, пригнувшаяся к земле старушка, ростом немного выше нас; ей перевалило за восемьдесят, но она неустанно хлопотала и сохраняла единственную слабость: привычку к насваю.

Однажды осенью, когда мы уже спали на айване, тесно прижавшись друг к другу — ночи заметно похолодали — что-то меня разбудило. В квадрате черного низкого неба меж стенами и крышей висели надо мной Семь разбойников, и оттуда же — так мне показалось в первый миг — доносился угрожающий бас. Наверное, он и разбудил меня; в следующее мгновение я понял, что бас доносится с крыши, а ему отвечает ласковый голос бабушки. Было, пожалуй, время третьих петухов.

— Ну и что, воришка? Дальше-то что? — говорила бабушка.

Воришка! Надо же!.. Я затаил дыханье и оглядел двор.

Он был просторный и совершенно пустой. К айвану примыкала стена дядиного дома. Самого дяди дома не было — он ночевал с семьей за городом. Полагалось бы испугаться, но бабушкин голос был привычно ласков, как воркованье старенькой голубки, и страха я не испытал — один жгучий интерес. Еще бы! Ночью нас вор навестил! Тот завтра пойдет разговоров по махалле! А я-то — как разукрашу все своим дружкам! Лишь бы поверили... Но вор — вот ведь недотепа! Нашел куда забраться... Да у нас в доме, с лопатой ищи — ничего не найдешь...

Вор попал к нам случайно. Перебираясь с крыши на крышу, он

угодил на дынину, и, пока раздумывал, как быть дальше, в носу у него отчаянно засвербило — от пыли или от ветерка; он чихнул во всю силу своих легких, а бабушка, которая лежала без сна с насваем под языком и все думала свою горькую думу, выплонула на- свай, глянула наверх и увидела на крыше мужской силуэт.

— Воришка? — спросила она.

— Э-хмм...

Бабушка привстала, опершись на локоть.

— Послушай-ка меня, сынок,— сказала она.— Я тебя учить не хочу, у тебя свои дела, у меня свои, каждый добывает хлеб по-своему. Но работа у тебя тонкая, пока насморк, отдохнул бы, отлежался, подумал бы о себе, а то ведь пропадешь ни за что...

— Заглохни, старая,— сказал вор зловещим басом. Помолчал в темноте, словно обдумывая, потом добавил помягче: — А и верно, старушка... ночное чиханье — не в пример громче...— Снова помолчал — и опять, ворчливо: — А ты, старая, ежели все разумеешь, и помолчать бы могла, не заметить. Ночь, дрыхнуть надо!

— Ну, и не заметила бы,— сказала бабушка,— а тебе что толку? Взять у нас так и так нечего...

Вор только засопел.

— О-ох, воришка, сыночек мой,— горестно заворковала Ракня-биби.— Спать-то надо, да я не могу. На душе кручина, вот и кручусь, днем по двору, ночью на постели. Все думаю, все думаю...

— О чем думаешь-то? — сказал вор, и бас у него еще помягчел, словно в него добавили маслица. Я услышал, как он стал снимать чапан.

— Как о чем? — бабушка даже удивилась.— Сам, что ли, не поймешь?— вот об них, об четырех сиротках... Во- он лежат... Время, сам знаешь, какое, а сироты — разве сладят они с таким миром? И пожалеть-то — кому? Дядя-арбакеш, так он, бедолага, со своей семьей мыкается. Едим, только б ноги не протянуть. Во всем доме продать нечего — ни одно-ой вещицы...

— Ни одной...— повторил вор неопределенно, и непонятно было, то ли он подтверждает, то ли высказывает сомнение.

— А они, несмышлениши,— продолжала бабушка,— когда еще вырастут? Когда хлеб добывать начнут? Я-то — доживу ли? Дотяну? Из четырех — один мальчик, и ему-то тринадцати нет. А девочек — три, мал мала меньше... А и вырастут — кто на них позарится? Кто за них денежки выложит — на тряпье, да на сватовство, да на угощение?.. Как

тут не думать! Ох, горюшко мое, беда, сыночек, беда, воришка...

Судя по звукам, доносившимся с крыши, полночный гость расстилал чапан. Потом он сочувственно спросил:

— Четверо, говоришь? Да-а... И у меня на шее — не меньше: двое ребятишек, да жена, да мать-старуха. Вроде тебя... Курице — и той сколько зерна надо, а четыре рта чем наполнить? Четыре лепешки заработать — и то душу на кон поставишь. Иди, кланяйся, хоть с метлой, хоть стрелой, хоть тешой, хоть душой...

Человек на крыше, побряхтев, улегся и продолжал:

— А по правде тебе сказать, бувиджан, аллах меня ни силой, ни умом не обидел. Думаешь, я по своей воле по ночам гуляю?.. Я, если хочешь знать, и семьянин настоящий... и ремесленник, дай бог каждому! Кавуши шил — всем на зависть! Ан нет! Не прокормишься ремеслом! Все перевернулось!.. Сел на трон Керенский — думали, войне конец, а вышло наоборот. Еще пуще воюют! И все ремесла прахом пошли. Для кавушей, к примеру, кожа нужна, клей, гвозди, лак. Так сырье — дорояге готового! Я — работай, я и приплати?..

— Неужто, сынок, так тебе и скитаться по крышам?

— А чем заняться-то? — Вор, похоже, снова приподнялся и сел.— Ну, хотел я тащишкой на базаре заделаться. Так простой народ нынче оптом-то ничего не закупает, помалу берут да сами и тащат! А у богачей — колеса. Они богатеют, богачи-то, а мы нищаем! Так-то вот, бабушка... Недавно Бува-ата, лучший мастер в махалле, весь свой набор сапожный — все колодки, да молотки, да иглы, да гвоздочки — все на пуд кукурузной муки сменял!.. И правильно сделал. Дехканам нынче не до обуви... И все ремесленники разорились, не одни мы: и ткачи, и медники, и кожевенники... Даже домла в мактабе — и тот с голоду землю лижет! Это учитель-то! А тут — и ложки постного масла не наберешь...

— Да пропади они пропадом с этой проклятой войной! — сказала бабушка.— Воистину это светопреставление и есть, а, сынок, а, воришка?.. И что только будет с моими сиротами?.. Да и ты?.. С горя грех на душу берешь... Только не туда ты ходишь, сынок, ей-богу. Лазил бы к кому побогаче. Тут вот рядом, в махалле, и Каримкоры живет, торговец ситцем, и подрядчик Адылходжабай, и Матъякуббай, промышленник... Вот у кого добра не счесть. Младенцы — и те на золоте едят! Продырявил бы у них крышу — хоть разжился бы!..

— Эх, старая,— сказал вор, вздохнув, и тут его голос показался мне очень знакомым,— рассуждаешь глупей своих несмышленишей. Да

разве к богачам заберешься!.. И стены толстенные, и крыши железные, и псы злющие, каждый с теленка. Раздерут на части, после не соберешь... Ха! Адылходжабай, говоришь? Да у него двор еще и городской с винтовкой стережет... Не-ет, хоть тяжка забота, а в Сибирь неохота...

— Ты прав, сынок, прав. А все же и тут поосторожней будь, а то справят тебе волчью свадьбу...

Вор, должно быть, снова лег — или уселся, подложив под себя ноги.

— И ты, права, буви,— сказал он и после паузы продолжил доверительно: — Вот я тебе расскажу. Недавно я из сарая Арифавонючки четырех кур с петухом спер...

— Да ну! — бабушка оживилась.— Ну, молодец! Ведь они, проклятушие, могли тебя хуже любого чиха выдать! Раскудахтались бы!..

— А я пузырек с водой прихватил... Подкрался, набрал в рот воды — да как брызну на них!.. Глупей курицы-то никого нет. Подумали, дождик, головы под крыло, а я их по одной — ив мешок!..

— Ай, сынок! — восхитилась бабушка.— Как ты догадался!..

— Слушай дальше, дальше слушай... Я-то упер, да Ариф-вонючка, видно, пронюхал. Взял я петуха — и отнес элликбаши Рахманходже. Ариф-вонючка к нему — и видит своего петуха!.. Ну, и умылся. Задом, задом — и домой.

— А что этот Рахманходжа?..

— Неплохой человек. С ним, мать, можно договориться... В прошлом году меня в мардикеры записали, отправить хотели куда-то. Я — туда-сюда, туда-сюда — набрал полсотни рублей. Прихожу к нему: «Вот, мол, элликбаши-ата, все, что имею...» Помог — оставили меня. Приличный человек!..

— Ну, дай бог счастья ему и деткам!.. А теперь слушай меня, воришка, слушай, сыночек, скоро и светать начнет. Вон уж светлая звезда вышла!.. Ты по тутовнику- то скользни вниз, там рядом пень ореховый. Дам тебе топор, отколешь пару щепок, кумган поставим. Сын-то нам вчера две кукурузные лепешки оставил — попьем чай все вместе...

Вор помолчал.

— Нет уж, старая,— сказал он вдруг прежним басом.— Пень вам расколю, а чай сами пейте. Ни к чему мне свое лицо показывать...

— Вай, сынок! И мы тоже люди. Неужто так и уйдешь от нас с

пустыми руками?..

Вор буркнул что-то неразборчивое.

— Погоди,— продолжала бабушка,— что ж тебе взять?.. А-а, слушай, там в мехмонхоне казан лежит полупудовый. Было время, три семьи из этого казана ели!.. Бедно жили, а дружно. Теперь вот осталась одна я с сиротками. Когда-то им этот казан сгодится!.. Так возьми, сынок, казан! Продашь, поживешь с семьей день-другой...

Вор помолчал секунду.

— Нет,— сказал он вдруг чуть сдавленным голосом,— не возьму, мать, не такой уж я...— он снова замолк, как бы стараясь с собой справиться, и когда заговорил снова, то, видно, старался, чтобы вышло добрее: — Что это ты, мать, так отчаиваешься. Днем-то твои сироты небось веселятся, бегают. Краешек лепешки-то уж для них найдется. А там — вырастут. Обязательно вырастут, мать, увидишь! И казан пригодится, может, еще мал будет!.. Дай бог нам дожить до их тоев! Прощай, бувиджан, заря уже...

— Ну, прощай, воришка, не забывай нас...

* * *

Неделю спустя я услышал на улице знакомый голос. Потом я не раз встречал этого человека, но ночной истории не рассказал никому. Только порой, когда проснешься ночью, снова слышится мне этот разговор, пока я лежу, прикрыв глаза.

1933

**Хусейн Шамс
(1904-1943)**

ДЕД САРЖАНГ

I

Мы приехали в кишлак и никого не встретили ни в конторе, ни в чайхане, ни в кооперативе, ни на складе.

— Где колхозники? Где председатель?

Мой попутчик объяснил, что сейчас горячая пора и все на поле. А кооператив и чайхана откроются ночью.

— Пойдемте, я познакомлю вас с интересным человеком,— сказал он.

На маленькой терраске кооператива стояла кровать, а на ней полулежал старик с длинной белой бородой.

— Знакомьтесь, это дед Саржанг.

Старик встал, поздоровался и ушел куда-то, но вскоре вернулся с кувшином кислого молока и двумя лепешками.

— Не обессудьте,— сказал он.— Чем богаты, тем и рады.

— Ну зачем вы беспокоитесь? — смутился я.

Была весна, все вокруг цвело, и кишлак утопал в зелени. Пели птицы, журчали арыки.

У деда мохнатые брови, такие же белые, как борода. А на шее — сторожевой свисток.

— Ешьте, гости,— приглашал он.— Кислое молоко очень полезно, гасит жар в теле, очищает желудок. Да и вкусно.

Мы разговорились. Он рассказал о своей жизни:

Я был литавристом при дворе Худоярхана. И было мне семнадцать лет. На празднествах, зрелищах, вечерах бил я в литавры для веселья, а иногда мои литавры были вестниками смертной казни. Приговоренных вешали, а я на этой площади смерти исполнял свои обязанности — бил в литавры. Так несколько лет находился я во дворце хана и жил как собака. Ханские пиры и буйные забавы пахли кровью. Голод, слезы, кровавые расправы,— а они устраивают пьянки. Бедняки жили под страхом новых козней хана, беков, ханских сынков, боялись их кровавых мечей и, как загнанные волки, уже не надеялись на спасение.

Я навсегда покинул ханский дворец и вернулся в Андижан, в свой

родной кишлак Хакан. А за то, что я служил во дворце хана, мне дали прозвище Саржанг — Воинственный. В кишлаке у меня не было земли. Я нанялся поденщиком в городе. А потом вновь вернулся в кишлак. Был издольщиком, арбакешем, сторожем. Чем только не пришлось заниматься — жить-то нужно было. «Значит, такая моя судьба,— думал я,— так у меня на роду написано.— И большая часть жизни, как проточная вода, умчалась в неизвестность».

Сейчас мне восемьдесят пять, а молодость свою я так ясно помню, будто это было вчера.

За свою долгую жизнь я видел несколько правителей: Худоярхан, потом его сын Маллахан, русский царь, потом Керенский, а потом Советы.

И поверьте мне, я говорю чистой правду,— зажил я только при Советской власти. Мне уже много лет, я отжил свое, а умирать, честное слово, не хочется. Я жалею, что родился так давно. И кажется мне, что не старею я с годами.

А удивляют меня некоторые молодые. Не могу сказать, что они не работают. Не вижу в них горения. В их годы я мог горы свернуть, но тогда нами никто не интересовался.

Вот так прошла моя жизнь. Прошла, как вода в этом арыке. Каждый кусок хлеба облит был потом и кровью.

II

В городе замешательство, суматоха. В кишлаке Хакан и того больше. Говорят, создают колхоз. Многие против: не пойдем. В колхоз идут ведь добровольно, а мы не хотим.

Началась перепалка между батраками и баями. Дед Саржанг слушает и тех и других и помалкивает. Только ворчит себе под нос.

— Удивительные дела творятся на свете — кому радость, кому слезы.

Дед Саржанг в этн дела не вмешивается.

— Мне уже много лет,— говорит он,— и не годится мне разбирать, что хорошо, а что — плохо.

Но увидел дед: после емельной реформы взошло для батраков и бедняков ясное солнце. И заметил, что кулаки присмирели. Это нравилось деду, с молодости лишенному достатка.

— Ага! — говорил он.— Пришло время, когда и вас тычут носом в

землю. Эх, жаль, что я немолод. Я бы вам показал, как ходят верблюды в караване. А народная власть слишком милосердна, их бы не только из кишлака, но из вселенной выбросить.

Эти слова деда нравились беднякам. А когда увидел дед Саржанг, как стали жить вчерашние батраки, поверил он в силу колхоза. Батраки организовали в кишлаке еще два колхоза. Приезжал из города докладчик и выступил с речью. Но дед Саржанг не пошел на собрание. Его смущали разговоры об общем одеяле для всех и общем котле. А после, когда дед узнал, что это провокация кулаков, он долго ругался.

— Будьте вы трижды прокляты,— говорил дед, — и тут успели нагадить.

А в колхоз с каждым днем вступало все больше народа. Одни провокаторы затаились. И если их в кишлаке был десяток, то во всей стране — сотни, тысячи. Они и развернули агитацию против колхозов.

Дед Саржанг не мог понять, каким образом проникают эти провокаторы в разные учреждения и мешают организации колхоза. И в один из таких горячих дней дед Саржанг узнал, что многие батраки, с такой энергией взявшиеся за работу, сбежали. А записавшихся в колхоз кулаки и имамы запугали.

— Что это еще такое?— возмущался дед.— Николаевские времена вернулись? Кулаки лезут! В чем дело?

Дед сердился и нервничал. Он собрал несколько человек и произнес речь:

— Сейчас в город сбежали многие из тех, кто хотел вступить в колхоз. А в городе тоже порядка нет. Успокоить всех должны власти, а то не будет нам добра.

И дед почувствовал себя молодым джигитом.

— Трусы вы,— сказал он.— Мужчина должен показать себя на поле боя. А вы чего притаились? Выходи на площадь. Я поведу. Пойдем в город, заявим, что будет колхоз. Собирай бегунов.

Бедняки решили действовать.

А на площади собрались кулаки и уже писали бумагу в город о том, что не желают объединяться и выполнять обязательство по хлопку. И вдруг появился на улице всадник.

— Эй вы, несчастные, замолчите! — крикнул он.— С батраками шутки плохи. Расходись!

Это был дед Саржанг. К узде своей лошади он привязал кусок кумача, сам надел алую чалму и в руках держал красный флаг. Дед

выехал на середину площади.

— Люди! Знайте, кулаки врут.

Ему пригрозили, что убьют, но он не испугался и еще громче закричал:

— Если ты бедняк, пойдем в город, заявим, что будет колхоз! И никто не свернет нас с нашего пути!

Деда окружили дехкане, и вся эта толпа двинулась в город. Кулаки испугались — плохо дело.

Дед Саржанг поехал в соседние кишлаки, и оттуда после его речей двинулись сотни дехкан. Город был переполнен народом.

На большом митинге от имени батраков Хакана выступил дед Саржанг.

— Нет пощады тем, кто станет нам поперек пути. Мы все идем в колхоз, а Советская власть — это власть бедняков.

Так дед Саржанг, бывший ханский литаврист, стал агитатором.

Андижан, 1932

Айдын
1906-1953

ДОРОГОЙ МОЙ КОМАНДИР

Председатель собрания надел очки и, наклонившись к керосиновой лампе с заклеенным стеклом, зачитал фамилии товарищей, выдвинутых в президиум. Среди упомянутых была и Кандолат. А она даже не шелохнулась. Люди стали оглядываться, искать ее, она же пригнула голову и сжалась. Председатель повторил ее фамилию. Я легонько толкнула Кандолат локтем в бок.

— Ступайте же! Чего засмутились? Не первый же раз вас избирают.

— Будет вам, Насибохон,— сказала она строго.

— Не пойму я вас,— не отставала я и еще раз толкнула ее.— На вас смотрят.

Она медленно подняла голову и поглядела по сторонам. Так дерево, согнутое ветрами, с трудом распрямляет крону.

Районный клуб находился в здании мечети. Просторное помещение с облупленными стенами битком набито народом, но, несмотря на это, было очень тихо. Даже детей, которых принято было всюду брать с собой, на этот раз матери оставили в яслях. Редко случалось, чтобы на собрании присутствовало так много женщин.

После небольшого вступления председатель кратко рассказал о товарище Пулатове, который в недавнем прошлом был командиром Красной Армии. Население Бухарской области выдвинуло его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

Кандолат надеялась, что о ней забудут, и оставалась на месте, делая вид, что любитесь туфлями, которые месяц назад купила в нашем сельмаге. Секретарь обкома товарищ Ниязов, прибывший с нашим кандидатом, знаками просил ее подняться в президиум. Мне и то стало неловко, и я, кажется, зарделась. Но не выскочишь же вместо нее! Я быстро поправила йа Кандолат платок, заколола выбившиеся из-под него волосы и заставила ее встать. Кандолат как будто направилась к президиуму, но не успела я порадоваться, как она тут же вернулась, села и почти уткнулась лицом в колени.

— Ой, какая разница, там я буду сидеть или здесь? У меня сердце что-то закололо.

И в самом деле, обняв ее за плечи, я почувствовала, что она вся

горячая и дрожит. А сердце колотится часточасто и так сильно, будто кто-то пестиком в ступе зерно толчет.

— Что с вами? Лихорадка, что ли?

— Сама не знаю...

— Если не больны, так нечего дурака валять. Взрослая женщина, а держит себя, как девчонка! — вспылила я и отвернулась.

Кандолат несколько минут сидела неподвижно. Потом, ничего мне не сказав, даже не взглянув в мою сторону, встала и решительно направилась в президиум.

Кандолат Ганиева — районный агроном. К тому же секретарь партийной организации нашего колхоза «Большевик» — первого в районе и известного даже в области. Кандолат все знают.

Ниязов приветливо кивнул ей. Она прошла мимо и уселась позади. Вот глупая, я бы самое видное место выбрала — смотрите, мол я — женщина — в президиуме сажу!..

Стараюсь не глядеть на нее. Но глаза помимо воли останавливаются на подруге: «Что с ней, с Кандолат, такой всегда находчивой, веселой, которая ни перед одним парнем не робеет, так и сыплет шутками-прибаутками, любого рассмешит, подзадорит, плясать заставит? Что случилось? Лепешкой сухой подавилась, что ли?.. А может, влюбилась? Ага, вот оно что! Как же я сразу не догадалась. Ведь вечером, когда этот человек около правления колхоза выходил из машины, она стояла у окна и смотрела на него. А потом почему-то отшатнулась, побледнела и поспешно задернула шторы. Ну и задам я тебе перцу по дороге домой. Надо ли с первого взгляда голову терять?»

Когда Пулатов подошел к трибуне, зал взорвался аплодисментами. На нем была выгоревшая гимнастерка с блестящими пуговицами. Над левым карманом орден Боевого Красного Знамени. Темно-синие галифе, вычищенные сапоги. Смуглый, чернобровый. И необыкновенным теплом светятся темно-карие глаза. Он покашлял, вздохнул, улыбнулся. Было заметно, что он волнуется. Начал говорить тихо, медленно, как бы взвешивая каждое слово... Я не могла оторвать от него взгляда. Ах, это женское сердце! Не обуздай вовремя — сведет с ума...

— Родился я подле Коканда, в Кумкишлаке,— говорил Пулатов ровным голосом.— Отец всю свою жизнь батрачил, едва зарабатывая на хлеб. Когда началась война с буржуями, курбаши — атаман басмаческой банды — потребовал, чтобы мой отец пошел к нему на

службу. Отец отказался...— Пулатов помолчал, отпил воды из стакана.— И вот однажды ночью в наш дом ворвались вооруженные люди. Я услышал спросонок голос матери, он до сих пор звучит у меня в ушах: «Пулатджан, беги, позови красных!..» Я выскочил в окно. А когда прискакали красные, наш дом уже был пустым. И я больше никогда не видел ни отца, ни мать... Ушел с красноармейцами...

Я сидела, боясь шелохнуться, глядя ему в рот. Даже шея затекла от напряжения. Когда Пулатов на минуту замолк, по залу ветерком проходил шорох. Кандолат сидела неподвижно, но видно было: не окажись перед ней спинки стула, упала бы!

Пулатов рассказывал, как он жил у красноармейцев в горах, как они научили его стрелять из винтовки, рубиться саблём, вылавливать врагов, когда те появлялись в расщелинах.

В одном из боев Пулатов был тяжело ранен и очутился в госпитале в Ташкенте. Четыре месяца тянулись, как четыре года. Наконец он вернулся в свой родной кишлак, затерянный в иссушенной степи, в стороне от больших дорог. Надеялся отыскать старых друзей...

— В соседнем кишлаке жил старик. Он был слепой. В любое время дня его можно было увидеть сидящим на каменном желобе около колодца. С давних пор изо дня в день, из года в год он поил проходящих мимо путников холодной колодезной водой. И все в округе его знали. А мне с некоторых пор он вроде бы отцом родным стал. Но когда я вернулся из госпиталя, то не нашел его. Колодец высох. А домишко почти развалился. Соседи сказали, что у него пропала дочь, и он ушел искать ее. Больше никто ничего не знал... Так я во второй раз потерял отца,— сказал Пулатов, потирая подбородок и опуская голову.

Потом окинул зал быстрым взглядом, машинально пригладил волосы.

— Вскоре меня послали в военную академию. Окончил и приехал сюда. Работаю как умею, стараюсь отдать силы без остатка построению новой жизни в нашем солнечном краю. Чтобы оно, солнце, грело, а не обжигало; чтобы не пересыхали колодцы; чтобы не разваливались дома, а лишь счастье селилось в них. Для меня большая награда — ваше доверие. Обещаю, что оправдаю его.

Пулатов минуту постоял, как бы желая сказать людям еще что-то теплое, душевное, но не нашелся и направился к своему месту. Ниязов потряс ему руку. И тут все заплодировали, встали. Даже Кандолат. Ее лицо горело.

Председатель закрыл собрание. Мы с Кандолат вышли вместе. Долго стояли у обочины дороги и смотрели вслед автомобилю, пока его красные огоньки не скрылись в темноте. Взяв Кандолат под руку, я прижалась к ее плечу, и мы направились домой. Мы жили с ней в одном доме, который окнами выходил на главную улицу.

Я болтала, а Кандолат отмалчивалась. Чтобы расшевелить ее, я подтрунивала над ней. Но мне показалось, что она обиделась, и я замолчала.

Едва мы вошли в комнату, Кандолат бросилась на кровать и уткнулась в подушку.

— Нельзя, нельзя так влюбляться сразу,— заметила я с усмешкой..

Она подняла голову и поглядела на меня глазами, полными слез.

— Да перестаньте же вы! — крикнула вдруг она.— Откуда вам знать про мое горе?!

— Мужа похоронили, что ли?

Она молчала. Ее скрытность стала меня раздражать.

— Вы наконец скажете, что случилось, или нет?

Она долго лежала молча, только вздыхала. Потом проговорила задумчиво, глядя в пустоту:

— Верно. Кому-то я должна рассказать обо всем. Иначе с ума можно сойти. А вы — никому?..

— Пусть меня громом поразит! — воскликнула я.— Разве я успела выйти из вашего доверия?

— Ой, нет, нет! Никто, кроме меня, не должен знать... Лучше мне умереть! — Она прикусила губу и накрыла голову подушкой, чтобы заглушить рыдания.

Я присела рядом и обняла ее за плечи. Подождав, пока она успокоится, я легла с ней рядом. Мы укрылись одним одеялом. Молчали, но обе не спали. Кандолат лежала, заложив руки за голову, и пристально смотрела на свисавшую с потолка керосиновую лампу.

— Коль не надоест, слушайте,— сказала Кандолат и предупредила:— Если и осудите в чем, мне все равно. Весной это было. Урюк уже отцвел. В нашем крошечном дворике рос большой урюк. Плоды никогда не успевали созревать: я их обрывала зелеными. Однажды я сидела высоко-высоко, на самой макушке, срывала урюк и клала за пазуху. Потом поудобней уселась на толстой ветке и принялась грызть зеленый урюк, хотя от кислоты сводило челюсти. Здесь было прохладно. Передо мной как на ладони открывалась вся окрестность.

Вдалеке, у самого горизонта, я увидела приближающиеся черные точки, волочившие за собой облачко пыли. Оно все увеличивалось, приближалось, затягивая горизонт желтой пеленой. Через несколько минут в наш кишлак влетел отряд всадников. Они промчались на взмысленных конях по улице и остановились у нашего колодца.

— Ну-ка, старик, напои наших коней! — услышала я резкий окрик и раздвинула ветви, чтобы поглядеть, что там происходит. Отец подошел к колодцу, ощупью отыскал каменную поилку и погрузил в нее руку. К счастью, она оказалась полная. Я накачала туда воды заранее. Лошади пили долго, вздыхая, раздувая ноздри; они вскидывали мокрые головы, мотали ими, звеня удилами. В глиняной чашке звякнуло несколько монет. Всадники, беспощадно нахлестывая коцей плетками, ускакали. А я еще долго пряталась на дереве. Ведь мой отец — плохой защитник. Он был старый, к тому же еще слепой. Нам этот колодец словно бог послал. Им мы и жили. Я на длинной веревке глиняным кувшином доставала воду из колодца; отец сидел на истрескавшемся от зноя камне, ожидая путников, одолеваемых жаждой. Как бы то ни было, а каждый день пропитание мы имели. У бедняков невелик спрос, нам хватало.

Кандолат перевела дыхание и умолкла. Предчувствие чего-то необычайного охватило меня, и я сказала:

— Постоите, милая, не ваш ли отец тот старик, о котором Пулатов упомянул? Вот так номер!..

— Погодите, не перебивайте,— попросила Кандолат. Она казалась совершенно спокойной. Только закрыла глаза, как бы собираясь с мыслями.— Когда всадники уехали, дно каменной поилки высохло. Я должна была теперь спуститься и набрать воду. А мне так не хотелось покидать дерево. Будто сердце чуяло недоброе. В тот день, помню, меня разморила лень. Даже наша хижина и маленькая веранда перед ней стояли неподметенными. За весь день я только успела помыть голову да сбегать к тетушке Кундуз, чтобы она мне потуже заплела косички. Она причесала меня, приплела к косичкам погремущки и, этак небрежно встряхивая ими, сказала: «Смотри-ка, Кандолатхон, ты стала уже совсем взрослой девушкой... Эх, нарядов бы тебе сейчас, такие бы джигиты увивались вокруг тебя,— она прикрыла глаза и почмокала языком.— Большое счастье было бы для муженька, приласкай ты его. Да, недаром говорят, что бедняку место в стороне да в темноте. Вот и не замечает тебя ни один паршивец. А сотворил бы бог твоего отца

богачом, не подтягивало бы ему брюхо с голодухи, с твоей свежей, как подснежник, красотой, от женихов отбоя бы не было. Ну ничего, спешить некуда, погоди немного, отыщется и для тебя какой-нибудь бедняк. Пусть у богача берут из-за скота, а к бедной манит красота. У тебя вон косы-то какие, каждая, что толстый кнут! Щеки румяные, словно пышки, что только из тандыра. А талия-то, бог мой, стебелек — и все тут. На ком жениться джигиту-то, как не на такой!» Я слушала, и мне дышать было трудно, я стала сама не своя. А-она посмотрела и опять говорит: «Ты, смотри, реже из дому показывайся. Заметят басмачи, быстро свяжут по рукам и ногам, уволокут в степь — и ахнуть не успеешь. Они теперь рыскают вокруг, что волки голодные. Скажи отцу — пусть не шибко спит по ночам, поняла? Обязательно скажи. Коль породил тебя такую — пусть бережет... Ох, я так разболталась, а о главном забыла. Лет-то тебе сколько?» «Шестнадцать,— говорю.— Отец и так сторожит, никуда не отпускает». Она было опять понесла всякий вздор, но я убежала. «С чего ей пришло в голову?» — подумала я, вспомнив этот разговор на дереве.

За барханами опять закрутился столб пыли рыжим кошачьим хвостом. «Опять кого-то несет»,— поняла я и спустилась пониже. Все громче частая дробь копыт. Вот у самого колодца взвился на дыбы конь и остановился. Верховым был юноша лет семнадцати или восемнадцати. Его старый с едва проступающими полосами халат был подпоясан вышитым платком. Ноги, обутые в белые от пыли сапоги, вдеты в стремя. Придержав рукой лоснящуюся от пота тюбетейку, он спрыгнул на землю.

— Салом алейкум, отец. Я хотел коня напоить...

— Напои, сынок, напои... Только немного подождать придется. Дочка моя, поди, убежала к подружкам играть, забыла, шалунья, воды начерпать. Кандолат! — позвал меня отец. А я уже слезла с дерева и выкладывала урюк в небольшую нишу, сделанную в стене. Накинув на голову жакет, которым всегда закрывала от незнакомцев лицо, я направилась к колодцу. Придерживая жакет, я опустила в колодец кувшин и, наполнив его, подала отцу. И каждый раз, когда я наклонялась, чтобы зачерпнуть воды, жакет то и дело сползал с моей головы; как я ни старалась спрятать лицо, мне это плохо удавалось. От стыда я была готова провалиться сквозь землю. Приезжий, видимо, понял мое состояние и, ласково похлопав по потной шее лошади, отвернулся. Но, когда я протянула следующий кувшин, он быстро

обернулся, чтобы помочь отцу вылить воду в поилку. При этом он оступился. Наши взгляды встретились, и я прыснула. Он тоже улыбнулся. Я торопливо закрыла лицо. Отец поблагодарил приезжего за помощь. Я хотела еще достать воды, но парень остановил меня.

— Хватит, сестренка,— сказал он.— Мы с моим другом напились.

Он потрепал коню гриву. Парень почему-то медлил с отъездом: не спеша подтягивал подпруги, поправлял седло и мялся около коня, который, нетерпеливо пританцовывая, поводил умными глазами. В глиняной чашке звякнули монеты. Отец зашептал молитву во здравие незнакомца. Тот взял поводья и, оглянувшись, присел рядом с отцом.

— Простите, отец, я хочу у вас кое-что спросить.

У меня почему-то сердце стало прыгать, как курица с открученной головой. Я попятилась за колодец и отвернулась, делая вид, что не слушаю. Отец не предполагал, что я рядом, а то бы непременно прогнал меня в дом. Помедлив, он ответил:

— Спрашивай, сынок. О чем ведаю, скажу. А чего не видел — аллах свидетель. Спрашивай.

Парень наклонился и шепнул ему на ухо:

— Знаете, отец, нам стало известно, что в этом кишлаке полно басмачей. А оглянись вокруг, ни одного не увидишь. Хорошо бы узнать, где они скрываются. Вы об этом ничего не знаете?

Он снова посмотрел по сторонам.

— Я ничего не вижу, сынок. А слышу, по ночам стреляют. Коли стреляют, значит, дело худо. Я даже не знаю, кто пьет у меня воду: друг ли, враг ли.

Отец, причесывая пальцами бороду, задумался; потом, словно припомнил что-то, замер.

— Погодите, Кандолат как-то говорила...— Отец обернулся к дому и позвал меня. Я не стала подавать виду, что стояла рядом, и отозвалась через некоторое время, будто только что подошла.

— Дочка, ты спрашивала, кто эти люди, что прячут под одеждой оружие. Скажи, дочка, они здесь проезжали?

— Да,— ответила я.— Их было человек шесть. И они под халатами прятали оружие. Они здесь каждый день проезжают.

— А куда они направляются, вы не заметили, сестренка? — спросил парень.

— Если хотите, я могу показать,— сказала я.

Он привязал коня к дереву, и я повела его к мечети. Я ступала

впереди, незаметно оглядываясь. Когда мы вошли в старый, начавший засыхать тутовый сад, парень поравнялся со мной.

— У вас только отец?

Я кивнула.

— Вы, словно к колышку, привязаны к колодцу. Вам не скучно?

Я пожала плечами.

— А ваша мама где?

— Мама умерла, когда мне было семь лет,— заговорила я неожиданно для самой себя.— А скучать мне некогда. Вы не думайте, что мне так уж нечего делать. У наших соседей есть сад. Я помогаю им собирать урюк, персики, вишню. Мы сушим их на солнце. За это они дают нам на зиму немного сухих фруктов. А когда приходится сидеть дома, я вышиваю тюбетейки, платки...

Он засмеялся. И мне стало тоже весело.

— Вы славная девушка, отцу помогаете. А у меня и отца-то нет... Ваш отец не усыновит меня?

Я смешалась.

— Не знаю, спросите у него...

— А вы не попросите его об этом? Он вас любит, уважит вашу просьбу.

— Откуда мне знать! И вообще я ничего просить не стану,— выпалила я.— Вон мечеть, за тем дувалом.

Дальше мы шли молча, чуть ли не на цыпочках. Рваные мои галоши как назло цеплялись за коряги и, как я ни старалась идти тихо,— шлепали по земле. Мы перебрались через сухой арык и подошли к высокому дувалу, отделявшему от нас старинное здание с куполом. Я видела только верхний угол мечети. Из-под обвалившейся штукатурки выглядывали красные кирпичи. Я хотела заглянуть во двор, но оказалась мала ростом. Подле дувала росли корявые шелковицы. Намереваясь взобраться на одну из них, я разулась. Неожиданно я почувствовала на талии сильные руки, и в тот же миг очутилась на ветке дерева. Меня будто обдало кипятком, я вспыхнула вся и приготовилась кричать на этого самонадеянного парня, да побоялась, что нас могут услышать. Зато окинула его испепеляющим взглядом. Мой жакет зацепился за сук, и я никак не могла его освободить: на чем свет стоит ругала я про себя и этот жакет, и дерево, и парня. А он, смеясь, сверкал зубами, будто ничего не произошло; ухватившись за ветку, легко подтянулся и отцепил полу жакета.

— Если что заметишь, скажешь мне. Меня зовут Холтой,— шепнул он и прыгнул на землю.

Я притаилась среди листвы, а Холтой-ака наблюдал из-за дувала. Иногда он посматривал в мою сторону, словно спрашивал, не вижу ли я чего-нибудь. Я пожимала плечами и качала головой. Однако я знала, что в эту пору в мечети полуденный намаз. Поэтому набралась терпения и продолжала ждать. Не прошло и полчаса, как со скрипом отворилась двустворчатая дверь и из мечети стали выходить незнакомые мне люди — своих кишлачных я помнила в лицо. Выходили по одному, по двое. Озираясь по сторонам, торопливо скрывались за углом.

— Никаким намазом они там не занимаются,— проворчал сквозь зубы Холтой-ака. Он сделал мне знак, чтобы я спустилась. Я скользнула вниз, и мы, не проронив ни слова, вскоре вернулись к колодцу. Он перекинулся с моим отцом несколькими словами, вскочил на коня и ускакал.

На второй день ровно в полдень во время намаза в кишлак нагрянули красноармейцы. Ни один басмач не успел удрать. Они оказались в ловушке. Их обезоружили и увели.

Проходили дни. Мы стали забывать об этом событии, нарушившем скучные и однообразные дни нашего кишлака. Я, как и раньше, доставала из колодца воду, отец поджидал путников. Но парня того я часто вспоминала. Я еще долго ощущала прикосновение его рук. А душевными ночами мне снилось, что подаю ему воду или мы, держась за руки, крадемся к мечети. Я, конечно, не смела себе ни в чем признаться и испуганно отгоняла вздорные мысли. Но они упрямо возвращались, лезли мне в голову, одолевали.

И вот Холтой-ака приехал. Мне было очень весело в тот день. Я работала и, не переставая, напевала вполголоса свои любимые песенки. Холтой-ака привез продукты и сказал, что получил паек. Пока они беседовали с отцом, я приготовила вкусный ужин.

Меня беспокоило, что наш гость опять исчезнет на большой срок. Но он зачастил к нам. Я радовалась каждому его приезду, как ребенок, и уже не скрывала этого. А однажды он появился в форме красноармейца. Форма ему так шла, что он поминутно заставлял меня врасплох, когда я не успевала отвести от него взгляд. Тогда я встала и вышла из комнаты, оставив их с отцом одних.

Но однажды он постучал в дверь, когда отца дома не было. Я

растерялась и не знала, как поступить: подождать отца или идти за ним. Холтой-ака осторожно взял меня за руку и вывел на веранду. Я послушно следовала за ним, потупясь и неловко натягивая на голову платок. Мы вышли из сумрачной комнаты. Он поправил на мне платок и, глядя в лицо, стал произносить такие слова, которых я никогда в жизни не слышала. Мне казалось, что сердце мое вот-вот расколется — так сильно оно стучало.

— Кандолат, любимая, мы будем жить вместе и никогда не расстанемся. Может, рано об этом говорить, но через несколько дней я отбываю в Ташкент. Давайте поедем все трое: я, вы и отец. Я хочу, чтобы вы вместе со мной поступили учиться...

Я молчала. Он тихо отстранил меня и вышел. Я пошла за ним. У самой калитки он неожиданно обернулся и поцеловал меня в губы. Я рванулась, забилась, как воробышек в руках у мальчишки, и вбежала в дом. Мне казалось, что даже стены смотрят на меня с укором.

Придя в себя, я выглянула во двор. Пусто. Выбежала на улицу. И там никого. На миг мне показалось, что на всем свете я одна. «Обиделся... обиделся... обиделся», — стучало в висках.

В ту ночь я не спала. «В Ташкент... Учиться... Да я ни одной буквы не знаю? А отец? Вдруг он не согласится, чтобы мы были вместе? А вдруг я его больше не увижу? Боже, помоги мне!» От этих мыслей разболелась голова.

Весь следующий день я ходила сама не своя. И когда тетушка Кундуз позвала меня помочь ей стирать белье, я даже обрадовалась. Хоть развеюсь немного.

И правда, домой я шла успокоенная. Я свернула на нашу улочку и встретила его; от неожиданности вскрикнула и машинально закрыла лицо. А он тихо так засмеялся и отвел с моих глаз жакет.

Мы вошли во двор. Отец, заслышав шаги, вышел из дома, и я постаралась взять себя в руки. За дастарханом я даже сумела поддержать разговор.

Уже было поздно, и Холтой-ака остался ночевать у нас. Я постелила ему на веранде рядом с отцом. Отец всегда спал там, а я запиралась в доме.

В полночь сквозь сон я почувствовала, что кто-то прилег со мною рядом. Его руки все сильнее и сильнее стискивали меня. Я задыхалась.

«Как же?.. Как же так?» — мысленно спрашивала я. Потом он лежал рядом, гладил меня по голове, как маленькую. А я знала, что уже

взрослая. Я была счастлива, мне казалось, что все это сон, и боялась пошевелиться, чтобы не развевать его. Но мы не спали, и я слышала его глуховатый голос.

— Утром отец благословит нас. А перебьем бандитов, справим свадьбу, большую свадьбу, на весь кишлак.

Говорят, где молодость, там глупость. Мы оба были молоды. Я всхлипнула и прижалась лицом к его груди.

А утру, такому, о котором мы думали, не суждено было наступить.

Занимался рассвет. Небо окрашивалось в цвет пустыни. Мы не спали. Грохнули первые выстрелы. Потом они посыпались горохом по всей окраине. Я от испуга спряталась под одеяло с головой. Он вскочил и стал поспешно одеваться.

— Я побегу,— сказал он.— Кажется, опять прискакали эти шакалы. Меня бил озноб. Я плакала, умоляла, чтобы он не уходил.

— Холтой-ака, милый, не оставляйте меня. Я боюсь!
Всего боюсь!..

— Успокойся, девочка, я скоро вернусь.

Я бросилась за ним следом, но у порога остановилась.

Отец приподнял голову.

— Это ты, Кандолат? Что ты тут делаешь, дочка? — сердито спросил он и стал надевать халат.

— Папочка, пожалуйста, не волнуйтесь... Я сейчас лягу.

— Не выходи, дочка, по ночам. Что это опять творится?.. Стреляют. Помоги, аллах, хорошим людям.

Он лежал, прислушиваясь. В кишлаке поднялся переполох, где-то полыхало зарево, освещая наш двор, кричали люди, ржали кони. Стрельба, то стихая, то усиливаясь, гремела, пока совсем не рассвело.

Я дрожала весь день, как в лихорадке. Наступила ночь. Она была без выстрелов. Но мне казалось, что все вчерашние пули сидят в моем сердце.

Прошел второй день, третий. Я все жду чего-то и на что-то надеюсь, шепчу молитвы. Минули месяцы. Отец нет-нет да и спросит:

— Что с нашим джигитом? Неужто забыл про нас? Бог его простит, лишь бы басмачам проклятым не попался.

Одна ношу свое бремя, терзаюсь сомнениями. Неужели обманул? И у меня холодеет сердце. А может, убит в том бою? Мне хотелось рвать на себе волосы, кричать, призывая бога на помощь. Ночью кусала от

злости подушку, обильно смачивая ее слезами.

Я пожелтела и превратилась в сухую щепку. На исходе уже третий месяц, а я, глупая, все жду, томлюсь. Топот лошади любого проезжего заставлял замирать мое сердце.

. Все чаще стала кружиться голова. Хожу полуголодная, еду не могу видеть. Когда крошу для супа лук, стараюсь не дышать. Долго не могла понять, что со мной происходит. Без конца хотелось жевать серу. Я не вынимала ее изо рта. Если доводилось пройти мимо торговца, я покупала эту серу кусками с кулак.

Позже, чтобы окружающие ничего не заметили, затянула потуже живот. Прыгала с деревьев — тщетно. Я забивалась куда-нибудь в угол и, ужасаясь своей участи, давала волю слезам.

Наконец я решила разыскать Холтой-ака или же хотя бы что-нибудь разузнать о нем. Я отпросилась у отца, якобы пойти посмотреть, как тетушка Кундуз вышивает тюбетейки и поучиться у нее этому ремеслу. Накинула на голову жакет и вышла.

Направилась напрямик через барханы. Через несколько часов перешла вброд небольшую речушку и добралась до самого дальнего от нас кишлака, где, по слухам, должны были находиться красные.

Увидев меня, ко мне подошел один из красноармейцев.

Вежливый такой:

— Откуда, сестренка? — спрашивает. — Зачем к нам?

Сперва не решалась, а потом набралась духу и спрашиваю:

— Холтой-ака здесь, с вами?

— А он из этих мест? Из этого кишлака?

— Да, я его сестренка, хотела видеть...

— Так ведь он в Ташкенте.

— Как? И больше не приедет?

— Не знаю. Его в госпиталь отправили.

Слезы выкатились у меня из глаз, чиркнули по щекам, упали в пыль. Так я ни с чем и вернулась.

— А где вы живете? — окликнул меня красноармеец. Ему, видимо, стало жаль меня, и он хотел помочь добраться до кишлака. Я не оглянулась.

Я вернулась домой к вечернему намазу. Всю ночь молила бога послать мне смерть. Я опозорена. Муллы не простят мне моего греха. Они натравят людей на нас с отцом, и все будут бросать в нас камни, плевать нам в лицо. Они убьют нас обоих.

Я старалась избегать знакомых. Даже с отцом не хотелось разговаривать. Чем больше проходило дней, тем явственней становился единственный выход: мне надо уйти куда глаза глядят. Этим я уберегу отца от позора, от презрения священнослужителей. Ведь он не пропускает ни одного намаза, и если от него отвернется бог, это будет хуже самой смерти.

В Бухаре жила моя тетка. Она возила меня к себе, когда мне было девять лет. Я пробыла у нее целый год. И теперь решила отправиться к ней. Все, что у меня было — это два стареньких платьца и жакет. Завязав узел с платьями и лепешкой, я натянула на ноги облезлые ичиги, накинула на голову жакет и, подгоняемая страхом, выбралась из дому.

Пройду немного и оглядываюсь. Бедный отец... он сидит около колодца и ничего не подозревает, сидя на корточках, щупает вокруг чашки землю, отыскивая выпавшую монету.

Я заторопилась. А ноги подкашиваются, не слушаются. Представляю, что ожидает и меня и отца, если я останусь. Нет, скорее, скорее туда, где меня никто не знает!..

Ичиги натерли мне ноги, а горе разъедало сердце. Едва дотащилась до Коканда. Здесь каким-то чудом удалось протиснуться в поезд, и я отправилась в Бухару. Каких только людей не встретишь в дороге: некоторые приставали, кто насмешничал, а кто и жалел. Давали хлеб, угощали, чем могли. Полмесяца я добиралась до тетки. Когда же ее наконец нашла, сказала, что отец умер, а мужа убили. И тут я первый раз заплакала за все эти дни моих скитаний.

— Что ж, будешь моей четвертой дочкой,— сказала тетка и оставила меня у себя.

Прошло несколько месяцев. Родился Уринжан. Ой, не могу больше!..— всхлипнула Кандолат, зарываясь лицом в подушку.

— Так больше и не вышла замуж?— спросила я, едва удерживаясь, чтобы не расплакаться вместе с ней.

— К счастью, вскоре Советская власть пришла и в Бухару. Не то бы мы с сыном пропали. В нашей махалле организовалась швейная артель, и я стала там работать. А позже отдала ребенка в ясли и поступила в ликбез, там учили читать и писать. Через несколько лет закончила бухарский агрономический техникум. Увлечлась учебой, работой и о замужестве больше не помышляла. К тому же никого равного ему не встречала. Но я — дура!.. Дура!.. Я ошиблась в нем! Он не погиб. Сегодня

это был он... он!

Кандолат натянула на голову одеяло. Я же корила себя за неуместные глупые шутки, которые себе позволила.

— Ладно,— сказала я.— Не стоит горевать. Если оказался подлецом, твоего ногтя не стоит; зря ь депутаты выдвинули. А если он человек — сойдется. Главное, нашелся, а остальное я сама разужнаю.

— Нет, нет, душа моя, смотрите, не проболтайтесь! Я не хочу, чтобы об этом узнали люди.

— Зарядила: «Никому да никому!» Но ему, команди- ру-то твоему, я должна сказать?

— Что ты мелешь? Может, у него жена, дети!

— Хорошо, я выясню. Если семейный — молчим, если же нного нет — я ему все напомним...

На второй день после обеда я поехала в обком. Хотелось скорее попасть к Ниязову. А тут этот назойливый секретарь в приемной, мимо которого никогда нельзя проскочить незамеченной, стал рассыпаться в любезностях. Здороваясь, он стиснул мою руку и целую минуту не отпускал, пока я не вырвалась и не назвала его репьем.

Меня здесь все знали. Мне часто приходилось сюда наведываться по общественным делам: я ведь секретарь райкома комсомола.

Товарищ Ниязов встретил меня, как всегда, радушно.

— А-а, молодая смена, рад вас видеть.— Он встал и протянул руку. Поздоровавшись, я присела на краешек кресла, а сама мучительно думала, с чего бы начать. Сижу, хлопаю глазами.

— Ну, выкладывай, дочка, с чем пришла? Как идут дела?

Я вдохнула в себя побольше воздуха и давай тараторить без остановки:

— Обошла агитпункты. Избиратели до того активны, трудно представить. Хотят знать о депутате все до мелочей. И своими вопросами ставят часто в тупик агитатора. Люди спрашивают даже... даже о семье товарища Пулатова...— я запнулась. Щеки мои горели, будто их натерли перцем. Я отвела глаза и принялась чертить ногтем по столу. Ниязов взял телефонную трубку:

— Эх, дочка... Что ж, давай узнаем... Это вы, товарищ Пулатов? Здравствуйте. Вот мне то и дело звонят, спрашивают о вас, просят устроить встречу... Да, кстати, товарищ Пулатов, ваши избиратели интересуются не только вашей работой, но и семьей. Кто жена, сколько

детей?

Ниязов положил трубку и сказал:

— Можешь сказать своим агитаторам: жена его погибла, а детей у него нет.

Я встала и, поблагодарив, направилась к двери.

— И это все? — удивленно спросил Ниязов.

— Все,— бросила я, не оглядываясь, и выскочила из кабинета.

В тот же вечер между мной и Кандолат разгорелась война.

— Да, да, да! Вы должны ему написать! — настаивала я.

— Лучше б я умерла! Зачем вам рассказала? Не морочьте мне голову, не буду писать! Меня он знать не захочет теперь. Тогда я была девчонкой... А на что ему тридцатидвухлетняя женщина?

— Не забывайте, Милая, что и ему не двадцать.

Я подседа к столу, вырвала лист бумаги из тетради и взялась писать сама. Кандолат приумолкла и, пока я скрипела карандашом, не проронила ни слова. Только когда я стала заклеивать конверт, она приподнялась на локте.

— Не знает он моей фамилии. Напишите лучше имя,— сказала она, смягчаясь.

Я исполнила просьбу подруги.

Мы приехали в город и пошли в обком. Проходя мимо кинотеатра, в очереди за билетами встретили Уринжана — сына Кандолат — с ребятами. Он жил в городе и раз в неделю навещал мать, поэтому тут же подошел к нам.

И вдруг во мне стал нарастать страх. Добром ли закончится моя затея?.. Чтобы оттянуть время и поразмыслить еще немного, я сперва спросила о Ниязове. Оказалось, он уехал в район. Тогда, поколебавшись, я спросила о Пулатове. Секретарь кивнул на дверь кабинета Ниязова:

— Сейчас к нему нельзя, занят. Готовит материал для газеты.

Я взяла телефон и набрала номер.

— Что вы делаете?! — возмутился секретарь, хватая меня за руку.

— Лучше придем попозже,— сказала Кандолат, глядя на меня умоляющими глазами.

— Не мешайте, подружка, гениальные мысли приходят раз в несколько лет. Сейчас меня осенила именно такая мысль, а вы можете ее спугнуть.

— Я слушаю.

— Товарищ Пулатов?

— Да.

— Какой-то студент вам принес письмо и хочет передать. Говорит, срочный пакет.

— Пусть войдет.

Я вынула из сумки конверт и вручила Уринжану. Тот переводил недоуменный взгляд с конверта на меня, с меня на мать. Я подвела его к двери и втолкнула в кабинет.

Кандолат выбежала на улицу. Я вышла следом и, убедившись, что она остановилась у парадного, вернулась; на цыпочках подошла к двери кабинета и чуть-чуть ее приоткрыла. Уринжан стоял у стены. Пулатов читал письмо, то и дело бросая взгляды на Уринжана. Потом отложил листок, облокотившись о стол, подпер руками лицо и пристально посмотрел на юношу. С новой силой пронзила меня уже второй раз черная мысль: «А вдруг подумает, что его шантажируют? Вдруг отречется от того, что было?.. Что тогда?..» Я прильнула к двери, едва туда не ввалившись. Этого секретарь приемной уже вынести не мог, он швырнул на стол карандаш и вышел, хлопнув за собой дверью. «Ну и черт с тобой, завтра сам руку протянешь, да в кино приглашать начнешь»...

Не меня позы, Пулатов спросил:

— Ты один пришел?

— Нет, с мамой и с тетей Насибой...

Пулатов с шумом отодвинул кресло и направился к двери. Я бросилась наутек. Выбежала на улицу и, радостная, обняла перепуганную насмерть Кандолат.

— Идите! Идите скорее!..— выпалила я. Она побледнела, как полотно.— Ох, и сердце же у вас! — попрекнула я и подтолкнула ее к входу.

Оставшись на улице одна, я ходила по тротуару взад- вперед, как мятник, от волнения грызла ногти и воровато искала способ заглянуть в окно. Но тщетно. «Вдруг она выскочит сейчас в слезах, растрепанная, не оглядываясь, побежит по тротуару?.. Она возненавидит меня на всю жизнь!»

Наверно, прошел год, прежде чем вышел Уринжан. Он был сильно взволнован. Я бросилась к нему:

— Ну, что?

— Апа,— сказал он растерянно,— мой отец нашелся...

Этих слов оказалось достаточно, чтобы ко мне снова

вернулось мужество. Я, гордая, вошла в кабинет.

Моя подружка сидела на диване и утирала платком слезы. Пулатов стоял рядом и держал стакан с водой. Даже у красного командира глаза покраснели. Заметив меня, он поставил стакан на подоконник и подошел ко мне:

— Спасибо, сестренка,— сказал он и по-отечески поцеловал меня с лоб.

1938

Абдулла Каххар
1907-1968

ПРОЗРЕНИЕ СЛЕПЫХ

*Не вы ли Умар-мулла?
Не вас ли ждет кабанья стрела?*
Песня

Ахмад-палван ожидал казни.

Низенький, коренастый палач, один вид которого предвещал смерть, подошел и рванул Ахмада-палвана за плечи. Обессиленный трехдневными мучениями, Ахмад не удержался на ногах и повалился навзничь, на связанные за спиной руки. Боли он не чувствовал: руки, трое суток туго стянутые веревками, одеревенели. Поднявшись, палван пошевелил ими и убедился, что нет ни вывиха, ни перелома. Это его утешило, несмотря на то, что ему надо было подставлять голову под нож палача.

Посреди двора, на супа, среди цветника, на пуховых подушках возлежал безобразный, одноглазый курбаши - главарь банды басмачей. Один из его людей растирал ему ноги.

Возле курбаши сидели приближенные - улем, лекарь. А позади примостился бай - хозяин дома.

Курбаши опять заревел на Ахмада-палвана.

- Эй, несчастный, только раз живут на свете... Укажи своих сообщников.

Улем закивал в знак согласия. Трусливые собачонки обычно лают из-за хозяйской спины, так и бай что-то выкрикивал из-за спины курбаши, поминутно поглядывая на своего покровителя.

Лекарь, считавший себя визирем курбаши, не спеша, внушительно увещевал Ахмада.

Вина Ахмада - велика. Он лишил курбаши его правой руки: убил эфенди Исхака.

Эфенди Исхак и сам бы умер от потери крови, но палван добил его. Зарубил самым обычным топором, каким рубят дрова.

В бою под Алкаром эфенди Исхака ранило пулей. Курбаши подхватил его и унес на своем коне. Ночью банда проезжала кишлак, где жил Ахмад-палван, и эфенди Исхак умолил курбаши оставить его

здесь и спрятать в доме какого-нибудь бедняка, который не вызовет подозрений красноармейцев, преследующих басмачей.

Таким бедняком оказался Ахмад-палван. Он взял к себе эфенди Исхака, но не успели басмачи покинуть кишлак, как тут же зарубил его топором.

- Мой бек,- медленно ронял Ахмад слова.- Я зарубил вашего эфенди за то, что вы сейчас хотите убить меня. Больше мне нечего добавить! Но очень хочется перед смертью совершить доброе дело. Не ради вас, а ради всевышнего. У меня два глаза. Если я лишусь их, вы ... прозреете. Я думаю, более богоугодного дела быть не может.

Курбаши воспринял это как издевательство. Брызгая слюной, изрыгая ругательства, он обрушился на пленника. Но как ни велика была ярость курбаши, подвергнуть Ахмада большому наказанию, чем смерть, он не мог.

- Не гневайтесь, мой бек,- Ахмад прервал поток ругани и, обращаясь к лекарю, продолжал: - Вы поймете меня. Я хочу исцелить курбаши.

Лекарь растерянно взглянул на бранившегося курбаши и что-то сказал ему. Бек замолчал. Присутствующие внимательно смотрели на новоявленного лекаря, Ахмада-палвана.

- Хаким, пусть бек соизволит закрыть здоровый глаз, а вы надавите пальцем на его веко,- попросил Ахмад.

Курбаши расхохотался. Потом повернулся к лекарю, закрыл здоровый глаз и велел ему приложить палец. Тот исполнил приказание.

- Что вы видите? - спросил Ахмад.

- Ничего,- ответил курбаши.

- Сильней надавите, хаким. Мой бек, не закрывайте глаз плотно, глядите вниз. Теперь видите огненный шарик?

- Вижу.

Лекарь тут же закрыл свой глаз и надавил на веко. Это же проделали улем и все остальные приближенные, сидевшие на возвышении.

Раздались голоса:

- И я вижу...

- Я тоже...

- Правильно, вы видите огонек потому, что у вас оба глаза здоровые...

Лекарь заволновался. Его интересовало не столько излечение курбаши, сколько тайна врачевания слепых. Если бы курбаши

отказался от лечения, лекарь готов был сам ослепнуть, лишь бы заставить Ахмада показать свое искусство. Он что-то сказал курбаши. Все притихли. Курбаши велел начинать лечение.

Ахмад потребовал яйцо, два финика, ползолотника тмина, пять незабудок и ложку меда. Хозяин был богатым человеком и быстро принес требуемое. Лекарь осмотрел снадобья и задумался. Улем волком смотрел на палвана. Ахмад велел сложить принесенное в медную посуду, налить туда одну пиалу воды и вскипятить. Ему повиновались.

- А теперь установите свечу на заборе,- приказал Ахмад,- против курбаши.

И это тоже было исполнено.

- Ты уже помог кому-нибудь прозреть? - спросил лекарь.

- Нет,- ответил Ахмад, с разрешения курбаши опускаясь на корточки.- Одного слепого исцелил мой учитель, но после этого сам ослеп и умер через одиннадцать дней. Имя учителя я назову после. Ему было восемьдесят три года.

Один из басмачей помешивал ложкой варево. Ахмад-палван издали наблюдал за тем, как готовилось зелье. Потом велел загасить огонь и найти камень, которого не касалась вода. Его приказания исполнялись быстрее, чем повеления самого курбаши.

Кто-то принес в поле халата целую грудку камней. Ахмад осмотрел каждый из них и заявил, что они непригодны. То же самое он сказал и о второй грудке. Принесли новые. Ахмад выбрал камень весом в семь-восемь фунтов, велел тщательно обтереть и обтесать с одной стороны. Когда камень стал похож на железный сошник, Ахмад велел обмазать его снадобьем.

Мазал лекарь, а Ахмад указывал ему, как это делать. Но лекарю никак не удавалось точно выполнить его указания. У курбаши лопнуло терпение, и он велел развязать пленнику руки. На Ахмада-палвана тотчас же со всех сторон уставились дула винтовок, а над головой навис блестящий клинок палача. Ахмад обмазал камень и положил его возле себя для сушки.

- А теперь мне нужно полпиалы человеческой крови...- Помолчав, Ахмад поднял голову.- Думаю, что тот, кто согласился отдать зрение, немного потеряет, если у него возьмут еще и полпиалы крови. Мой бек, прикажите отрубить мой палец...

Улем, не выдержав, встал и ушел. Лекарь взглянул на бека. Хозяин дома, склонившись к курбаши, толкал его в бок. Палач приготовил

клинок. Ахмад-палван положил мизинец на пенек и закрыл глаза. Палач со свистом опустил клинок, по земле покатился обрубок мизинца. На лбу Ахмеда выступили капельки пота. Когда из раны натекло полпиалы крови, лекарь быстро присыпал ее порошком и остановил кровь. Спустя некоторое время Ахмад-палван медленно открыл глаза и влил кровь в варево. Затем велел зажечь перед беком пук соломы и свечу на заборе. Пламя свечи заколыхалось от ветра. Повалил, закружился густой сизый дым от соломы. Когда Ахмад встал, на него опять навели ружья, а над головой навис клинок палача.

- Мой бек,- сказал палван, с разрешения курбаши приближаясь к супа,- я отдал палец, а теперь собираюсь отдать и зрение. Но у меня к вам просьба.

- Ты хочешь, чтоб я сохранил тебе жизнь?

- Нет, мой бек. Зачем бедняку жизнь, когда он ослепнет? Напротив, я прошу, чтобы вы не раздумали и не оставили меня в живых. Я боюсь, когда вы прозреете, а я лишусь зрения, вы не станете меня убивать.

- Убью!

- Я боюсь вашего милосердия, бек.

- Можешь не бояться.

- И все-таки я сомневаюсь. Я дрожу при мысли, что мое доброе дело перекроет мой дурной поступок. И тогда...

- Ладно. Что ты хочешь?

- Хочу, чтоб вы не раздумали меня убить, как только исцелитесь. Я хочу разозлить вас. Чтоб вы разгневались так, что дай я помимо зрения еще сто лет жизни вам, вы все равно бы убили меня. Хочу разгневать вас словами.

Лекарь с нетерпением ждал момента исцеления, поэтому понукал курбаши принять любое условие палвана. Курбаши согласился.

- Словами? - криво усмехнулся бек.- Хорошо, говори.

Ахмад-палван медленно повернулся спиной к курбаши и обратился к басмачам, стоявшим с поднятыми винтовками.

- Джигиты,- начал он,- не удивляйтесь, что я отдаю врагу свое зрение и палец. Оглянитесь лучше на себя, вы отдаете врагу своих отцов и детей, братьев и сестер, разоряете свои кишлаки. Вы стреляете в самих себя. Если, вы считаете мой поступок безумием, тогда мы все сумасшедшие. Разница лишь в том, что я знаю, для чего это делаю, а вы нет. Я открою вам глаза, даже если соскоблят мое мясо с костей, а кости перемелют железными жерновами... Я сейчас умру, но перед смертью

хочу узнать, ради кого вы скитаетесь с оружием в руках? Сравниваете с землей кишлаки? Ради кого обрекаете на мучения своих братьев? Ради кого вы стали басмачами? Неужели не скучаете по своим плугам?..

Хозяин дома, прятаясь за спиной курбаши, нетерпеливо заерзал. Улем вытянул перед собою руки и что-то сказал курбаши. Тот хотел прервать палвана, но Ахмад продолжал, и каждое его слово было нацелено в сердца джигитов.

- Баи боятся лишиться богатства... А чего боитесь вы?

Палач саблей плашмя ударил Ахмада и заставил его замолчать. А курбаши, поднявшись стегнул Ахмада два раза плеткой и обрушил на него злобные ругательства.

- Мой бек, вы ведь сами разрешили... - склонился перед ним Ахмад.

- Не надо мне лекарств, увести его! - рявкнул курбаши.

Но лекарь настойчиво зашептал беку на ухо.

- Приступай к делу! - крикнул тот, недобро глядя на Ахмада. Палван попросил курбаши наклониться над густым дымом, а лекарю подал обмазанный снадобьем камень.

- Держите камень острием к глазу бека и, когда я скажу, начинайте его покачивать.

Курбаши наклонился над дымом.

- О повелитель правоверных, как бы он не повредил вашему глазу, забеспокоился хозяин дома.

- Какой вред, можно причинить незрячему глазу? - возразил палван.- Если опасаетесь за здоровый глаз, завяжите его.

То же самое посоветовал лекарь, курбаши снял тубетейку и завязал глаз шелковым платком.

Лекарь держал камень острием к слепому глазу курбаши, но никак не мог понять, как надо покачивать.

- Не так! - раздраженно говорил палван.

Курбаши чуть не задохнулся от дыма и, закашлявшись, крикнул:

- Хаким, передайте камень ему!

Вначале все напряженно следили за Ахмадом, ожидая, когда же он начнет слепнуть, но вскоре их внимание приковалось к свече, горевшей на заборе. Она как будто не участвовала в лечении, однако палван то и дело поглядывал на нее, боясь, чтоб не погасла.

- Вы, хаким, следите за свечой, если погаснет, скажите мне...

Сам он наклонился к курбаши и в густом чаду принялся раскачивать камень перед глазом курбаши. От его резких движений

солома еще больше разгоралась, и дым повалил всюду. Сквозь густой дым едва виднелись головы курбаши и Ахмада-палвана.

От ветерка язычок пламени заколыхался, и люди напряженно смотрели, ожидая от нее чуда.

Ахмад-палван вдруг громко крикнул: "Свеча!" - и вонзил острие камня в висок курбаши. Десятник, сидевший справа от курбаши, тремя выстрелами из револьвера уложил Ахмада-палвана. Но в ту же минуту ударом приклада десятнику раскроили череп. Поднялась стрельба, продолжавшаяся до вечера. Потом вспыхнул большой пожар, над домом бая встали огромные столбы сизо-багрового дыма.

1934

СТРАХ

Ничего-то вы, доченьки мои,
не знаете о бывлой женской доле,
а рассказать вам — н не поверите!..

Матушка Турахон¹

Вот уже две недели бушевал колючий ветер поздней осени, завывая в голых ветвях деревьев, свистя под карнизами домов, стучась в плотно закрытые двери и окна... В такие вечера люди становятся молчаливыми и тихими, как овечки, сбиваются в группки и сидят тихо, чего-то ожидая.

Все семь жен Алимбека Додхо собрались вокруг сандала в комнате самой старшей из них, Нодирмохбегим. Додхо после молитвы вернулся почему-то не в духе. Все жены при виде его вскочили. Одна сняла с его головы чалму, другая почтительно протянула руку к его чекменю, третья приготовилась стягивать с ног ичиги... Самая младшая, Унсиной из Ганджиравона, всего пять месяцев назад ставшая жилицей пышных хором Додхо, поднесла ему кальян. Только раз, но зато долго и протяжно, потянул Додхо из кальяна и, даже не пожелав позабавиться проказами своей любимицы — обезьяны, прошел в передний угол,

¹ М а т у ш к а Т у р а х о н , или, как ее зовут в народе, Турахон-ойе,— одна из самых светлых личностей в истории современного Узбекистана. Первой из узбечек она вступила в Коммунистическую партию и сбросила паранджу и чачван. Вела активную борьбу за раскрепощение женщин. Встречалась с В. И. Лениным.

приоткрыл окно и одним глазом взглянул во двор. Ветер бесновался: то завывал шакалом, то протяжно мяукал, как кошка. На дворе была непроницаемая темень.

Плотно прикрыв окно, Додхо уселся на свое обычное место и начал перебирать четки. Пальцы его быстро и ловко пересчитывали отполированные камешки, он прислушивался к вою ветра и думал: «Как, должно быть, страшно теперь на кладбище!»

Кладбища и так неприглядны, а еще столько страшных небылиц, жутких историй рассказывают в народе про них. У любого, кто вспоминает в такие неуютные вечера про кладбища, особенно у таких, как Додхо, давно пережившего возраст пророка и хранившего в сундуке для себя саван,— даже на кончике языка выступает холодный пот при одной мысли... Нет, даже не о смерти, а о том, что ему предстоит переселиться туда!

Чтобы отогнать эти мрачные мысли, Додхо отложил четки и заговорил о том о сем, но женщины его не поддержали, и слова повисли в воздухе.

Вдруг порыв ветра сильно ударил в окно. Что-то, царапая стекло и цепляясь за раму, медленно поползло вниз. И все, кто сидел в комнате, не смея вздохнуть, испуганно посмотрели друг на друга. Чтобы успокоить жен, а еще больше себя, Додхо поднялся и снова приоткрыл половинку окна. От ветра, ворвавшегося в комнату, закачалась висячая лампа. Додхо высунул голову, посмотрел вниз и обрадованно проговорил:

— Циновка это! Оказывается, циновка!

Сорвавшаяся циновка почему-то напомнила ему носилки с мертвецом, которые он видел вчера, а вспомнив их на плечах людей, снова представил себе кладбище, и в его памяти ожили все страшные рассказы о склепах и мертвецах, запомнившиеся ему еще с детства. Чтобы преодолеть страх, Додхо заговорил именно о них и, скорее перед собой, чем перед женами, стал расхваливать свою неустрашимость и храбрость.

Старшая из жен, Нодирмохбегим, тоже рассказала одну историю:

— Девчонкой я еще была. Собрались как-то у нас друзья отца, полная комната гостей. Был вечер, такой же вот ветреный. Кто-то из гостей спросил: «Кто из вас может отправиться сейчас на кладбище и вонзить нож в могилу Аскара-палвана?» Один из гостей достает нож из ножен и говорит: «Я могу!» Поспорив на одного барана, смельчак

отправился. Ждут друзья, ждут, а его все нет. Утро настало. Пришли к нему домой, и там его нет. Приходят на кладбище, а он лежит мертвый, возле самой могилы Аскара-палвана. Оказывается, он, бедняга, вонзил нож в могилу и нечаянно прихватил и подол своего халата.

Женщины поежились. После долгой паузы Унсиной прошептала:

— Глупый он был, этот человек. Из-за одного барана... Было бы за что погибать... я бы пошла...

Слова ее, услышанные Додхо, задели его самолюбие. Как эта девчонка смеет говорить: «Было бы за что... я бы пошла...», когда у него, Додхо, начинают трястись колени при одном упоминании о кладбище, когда он не смог бы пойти даже в том случае, если бы ему посулили ханский престол.

И Додхо, раздраженный, начал насмехаться над ней:

— Вот так дочь мельника, а? Какова? Целого барана ни во что не ставит, видали? А сколько баранов ты бы хотела? Ей-ей, я тебе дам десять баранов. Пойдешь ты вонзять нож в могилу? Сто баранов, половину своего богатства — отдам, пойдешь?

Медленно перебирая пальцами монисто, Унсиной ответила:

— Не надо мне никакого богатства...

Эти слова Унсиной еще сильнее задели Додхо:

— А что же тебе надо?

Унсиной промолчала. Однако нельзя, невозможно было оставлять вопрос Додхо без ответа, поэтому другие жены, боясь быть избитыми за проступок Унсиной, начали дергать, шпынять и толкать ее со всех сторон:

— Отвечай же, чего молчишь?

— Язык, что ли, у тебя отнялся?!

Унсиной подняла голову, поглядела на Додхо, не отрывавшего от нее глаз, и ответила:

— Если позволите... Я вернусь в Ганджиравон... Я бы не только в одну могилу, в десять могил всадила бы десять ножей!

Все жены Додхо хорошо поняли замысел самой младшей из них, один только Додхо понял ее по-своему.

— Опять в Ганджиравон! И месяца еще нет, как ты возвратилась оттуда!

Нодирмохбегим, вытянув под сандалом руку, ущипнула Унсиной за ногу и сделала ей знак глазами: «Слава богу, он не понял! Ну и довольно об этом, помолчи!» Но Унсиной, как человек, отчаявшийся вконец,

смело и безбоязненно глядя на Додхо, проговорила:

— Нет, я хочу сказать — насовсем... Если бы вы разрешили, я бы совсем уехала...

Женщины низко опустили головы, согнулись, словно тяжелая ноша легла на них, хотя дерзкие слова были произнесены одной лишь Унсиной. Но, к удивлению и вопреки ожиданию всех, Додхо не схватился за камчу, не крикнул в гневе: «А ну, покажи, где у тебя зачесалось?!» Напротив, он заговорил спокойно и даже мягко, хотя в голосе его звучал едва скрытый сарказм:

— Вот как? Ну что ж, пусть будет по-твоему.— И, немного подумав, не скрывая раздражения, он продолжал: — Но на кладбище пойдешь не с ножом, а с кумганом, и у самой гробницы святого Онхазрета вскипятишь чай, заваришь его в чайнике и доставишь сюда. Ладно?

— Ладно, ладно!—ответила Унсиной, глядя на него вдруг загоревшимися глазами.— Но... Лишь бы вы не отреклись от своих слов...

От гнева Додхо чуть не задохнулся: то, что какая-то жалкая нищенка так рвется из его почти царского дома, показалось ему невероятным оскорблением. Теперь ни у кого из его жен, даже у Нодирмохбегим, которая сидела сама не своя от терзавшего ее страха, так как была уверена, что Унсиной не вернется живой с кладбища, и у той не осталось смелости, чтобы вымолвить прощение для молодой женщины.

Длинная, седая борода Додхо затряслась, задрожал и голос:

— Хорошо, я сдержу слово! Чтобы ты успокоилась, сейчас говорю — ты мне чужая! А когда вернешься с кладбища, станешь трижды чужой². Бери же кумган — и отправляйся!

Тут же, закрыв рукавом лицо от Додхо, Унсиной выбежала из комнаты. Нодирмохбегим поняла, ничего она не в силах сделать для спасения женщины, но хотела выбежать вслед за ней, чтобы приободрить, утешить, однако не смогла этого сделать: одним лишь сумрачным взглядом Додхо приковал ее к месту. Остальные жены одна за другой тихо, на цыпочках, покинули комнату.

Унсиной накинула на себя паранджу, надела чиммат, набрала в кумган воды и, насыпав в чайник щепотку чая, пустилась в путь. Тускло

² По шариату, мужу достаточно сказать: «Ты мне чужая!» — как женщина теряет права жены. Но она может стать женой — при повторном бракосочетании. Если же муж трижды сказал: «Ты мне чужая!» — то разрыв окончательный.

и сумрачно светила луна. Край неба походил на грудку грязно-желтых тряпок. В грязновато-тусклом свете мрачно выступали из темноты дома и сгибающиеся на ветру тополя. Порывы бесновавшегося ветра каждый раз сбивали Унсиной с дороги. Она свернула паранджу и чиммат, сунула их под мышку, и ей стало немного легче идти.

Все, что слышал Додхо про кладбища, слышала и Унсиной. Если в такую злую ночь кладбище наводило на Додхо невыразимый страх, то и на Унсиной оно наводило не меньший ужас. И все же кладбище мертвых казалось ей менее страшным, чем кладбище живых, где она жила. К тому же ни о чем другом она не думала, не мечтала, как о том, что вот завтра возвратится в свой родной Ганд-жиравон, свидится с отцом, матерью, подружками.

Она чувствовала себя сейчас совсем маленькой — девчонкой, получившей от отца праздничные деньги и отправившейся на базар за покупками, и шла быстро, почти бежала навстречу ветру. Только изредка, когда порывы ветра бывали сокрушительны, она шагала, полуобернувшись к нему. Но вот она свернула в переулок, ведущий к самому кладбищу. Сердце у нее екнуло, когда под мерно раскачивающейся старой, почерневшей от времени чинарой она увидела смутно белеющие гробницы. Перейдя мостик, над арыком и сделав несколько шагов, она остановилась. Страх сковал ее, мысли о возвращении в Ганджиравон, о свидании с родными и подружками исчезли, ей вдруг показалось, что вокруг могил и гробниц бродят призраки, закутанные в белые саваны. Ей даже показалось, что волосы у нее на голове поднялись дыбом и приподняли платок. Она невольно отступила назад, но потом, словно пытаясь убедить кого-то в своей смелости, дважды прокричала в темноту: «Мертвые — мертвы! Мертвые — мертвы!» — и ринулась вперед. Остановилась она лишь у громадного корявого ствола чинары, под которым возвышалась гробница Онхазрета.

Кумган и чайник Унсиной опустила на землю, паранджу и чиммат кинула в сторону и потом радостно подумала: «Вот и ушло большее, осталось меньшее». Но радость ее была преждевременной: все она захватила из дома, не было только самого необходимого — дров! Забыла! Мысль

о том, что надо собирать дрова на кладбище, снова заставила ее похолодеть от страха — ей показалось, что из каждой гробницы поднимается рука мертвеца, из каждой могилы раздается зов. Она

снова начала выкрикивать: «Мертвые — мертвы!» — и эти возгласы несколько успокоили ее, придали ей силы. Она бродила в темноте меж могилами и гробницами, водя руками по земле, обшаривая камни, куски глины, подбирая все, что попадалось, и опускала в подол платья сухие былинки, шуршащий камыш, верблюжью колючку, которой так богаты кладбища. Не ощущая боли в окровавленных руках, Унсиной наконец развела костер. В один миг вспыхнул яркий огонь, затрещала колючка, пышно пламеня в красноватом отсвете пламени, сквозь ключья колыхающегося на ветру ды ма из темноты выступали бугры могил. Чудилось, что они вдруг ожили, пришли в движение, словно их обитатели пытаются пробить головами крыши своих темниц.

Унсиной снова и снова уходила на поиски дров, и каждый раз, когда сухая трава с треском разгоралась, молодая женщина страшилась, что этот шум и треск огня разбудит дремлющие призраки.

Вода в кумгане закипела. Унсиной торопливо заварила чай, затоптала огонь, чтобы не занялась сухая трава на кладбище, и пустилась в обратный путь, держа в одной руке чайник с горячим чаем, в другой кумган,— шла ощупью, ослепленные ярким огнем костра глаза ее долго не могли привыкнуть к темноте. Вдруг под ней провалилась земля, и левая нога ушла куда-то вниз. Она почувствовала, как кончики пальцев ноги коснулись чего-то мягкого. Не переставая повторять заклинание: «Мертвые — мертвы!» — она гнала от себя страх, но стоило подумать, что, может быть, наступила на мертвеца, по телу ее пробежала дрожь. Унсиной рванулась, вытянула ногу из ямы, оставив в ней кавуш. Доставать его оттуда у нее уже не было сил, так и пошла она: в кавуше одна нога, в мягком ичиге — другая. Пройдя несколько шагов, она вдруг вспомнила, что паранджу и чиммат оставила возле гробницы, и остановилась. Вернуться за ними Унсиной была не в состоянии, сейчас она боялась не только возвратиться туда, но и обернуться назад: ей чудилось, будто мертвецы смотрят ей вслед, высунув головы из своих могил и гробниц. Так она и стояла, не зная, что делать дальше, как вдруг не то из гробницы, не то откуда-то сверху раздался странный голос, и через секунду на плечи ей взобралось какое-то чудовище. Чудовище протянуло к ее горлу длинные, обросшие шерстью лапы. Унсиной закачалась, как бы от сильного удара в грудь, и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, как чудовище, оставив ее, медленно заковыляло прочь и исчезло за гробницей. Унсиной поняла — это обезьяна. Обезьяна Додхо! Разумеется, не сам Додхо привел ее

сюда, он прислал ее с кем-то из своих людей. Бог мой, есть ли еще кто на свете, кто мог бы сравниться с Додхо в бессердечии и жестокости!

Унсиной теперь несколько успокоилась: каким бы безжалостным и жестоким ни был этот человек, все же он находился где-то поблизости.

Покинув кладбище, она выбралась на большую дорогу. Пройдя полпути, Унсиной почувствовала боль в левой руке, а боль эта напомнила про кумган. Где же кумган? Ведь она несла его в левой руке! Остановившись на миг, она прижала обеими руками к груди горячий чайник и ускорила шаги. Но, как это часто бывает во сне, ей думалось, что она топчется на месте и чайник становится все тяжелее и тяжелее.

Унсиной едва добралась до массивной двери комнаты Нодирмохбегим и с трудом открыла ее, переступив порог и сделав несколько шагов, она в изнеможении опустилась на колени и поставила чайник на сандал, из носика чайника еще вилась тонкая струйка пара. И потом, словно достигнув исполнения самого заветного желания в жизни, упала и потеряла сознание.

Дремавший у сандала Додхо вздрогнул, открыл глаза и задвигал губами. Подняв голову, увидел Унсиной, и ему показалось, будто она умирает. Не отрывая от нее вытаращенных глаз, он медленно и осторожно поднялся и, словно убегая от смертельной опасности, одним прыжком перемахнул через сандал и выбежал вон.

Придя в сознание, Унсиной увидела, что лежит возле сандала, а Нодирмохбегим плачет. Правый глаз у нее распух, под ним расплылся синяк, а белый кисейный платок закапан кровью, Унсиной хотела было спросить, не отказался ли Додхо от своего обещания, но вместо этого тихо, почти шепотом, спросила:

— Что это с вами?

А произошло вот что. После ухода Унсиной на кладбище Нодирмохбегим обратилась к Додхо с мольбой сжалиться над юной Унсиной, вернуть ее домой. В ответ она получила страшный удар в лицо. Но Нодирмохбегим не стала рассказывать об этом, она только еще горше заплакала, поглаживая Унсиной по голове, прижимаясь щекой к ее щеке. Потом послала человека на кладбище за горстью земли и, когда принесли горсть земли, размешала ее в пиале с водой и протянула Унсиной:

— Испей, сердечко мое, испей. Ты испугалась... Тому, кто пережил страх на кладбище, нет лучшего лекарства, как испить воды с горстью кладбищенской земли.

Унсиной выпила мутную воду и почувствовала себя немного лучше.
— Господь бог отблагодарит вас за меня... Могу ли я теперь уехать в Ганджиравон?

— Можешь, можешь,— ответила Нодирмохбегим.— Вот придешь немного в себя — и отправишься.

В просветлевших глазах Унсиной заблестели слезы.

— Да я ничего, я здорова... До полудня совсем встану на ноги, а там можно и в путь... Только пошлите в Ганджиравон человека, отца и матушку порадовать...

Не страшась побоев Додхо, Нодирмохбегим тут же снарядила человека в Ганджиравон.

Но Унсиной не дотянула до полудня, скончалась...

В вечерних сумерках тело Унсиной завернули в одеяло и положили на арбу. По-прежнему ревел и бесновался ветер, воя и свистя в голых ветвях деревьев.

Из ворот вышла Нодирмохбегим в парандже, с небольшим белым узелком в руках. Она присела на корточки лицом к воротам, прошептала что-то, молитвенно воздев руки, потом, согнув их в кулаки, трижды ударила о землю, словно пытаясь вогнать в нее тьму, и самого Додхо, и его богатое обиталище. Затем поднялась резким движением: «Ноги моей больше не будет здесь!» — повернулась, вскарабкалась на арбу и села в изголовье покойной.

Арба тронулась, а когда она выбралась за городские стены, навстречу попался слуга, ходивший в Ганджиравон, чтоб обрадовать родителей Унсиной...

1961

Миркарим Асим
р. 1907

ТОМИРИС
(Исторический рассказ)

I

Кочевники-массагеты, властители пустынь, расстилавшихся от Укуза до Яксарта³, готовились к встрече невесты. Их стойбище ярко озарялось в эту ночь факелами и полыхавшими между юрт кострами. В небе сверкали звезды. Стар и млад, мужчины и женщины пребывали в радостном возбуждении. Ждали невесту. Из огромных медных котлов, в которых варилось баранье и сайгачье мясо, распространялся аппетитный запах.

Предводительница племени Томирис брала в жены своему сыну Сипарангизу красавицу Зарину из племени сак, или, как их еще называли, тиграхуд — по остроконечным войлочным колпакам, украшавшим их головы.

Расстелив на земле мягкий войлок, женщины хлопотали у котлов, украшали длинные крытые арбы, которые должны были заменить юрты.

Вдруг один из юношей, хлопочущий у костра, пристально вгляделся в тьму и замер, прислушиваясь.

— Скачут! Скачут! — закричал он.

И действительно, спустя несколько мгновений у самого костра осадил коня гонец.

— Едут, едут! — громогласно оповестил он, не слезая с коня.

Хотя все знали, что прибудет еще не сама невеста, а только сопровождаемые молодежью старцы и старухи, все становище заликовало. Еще бы! Невеста невестой, но именно после молитвы этих прибывших первыми старцев и старух, почитаемых не только за лета, но и за мудрость, могло начаться пиршество.

Как только гонец соскочил, его коня услужливо взял под уздцы, один из юношей и, отведя в сторону, привязал возле других коней к колышку, самого же гонца пригласили к старцам, сидевшим в кругу

³ У к у з и Я к с а р т — древние названия Амударьи и Сырдарьи.

рядом с большой юртой, освещаемой факелами на шестах и отблесками костров.

Все стойбище, кроме стариков, поднялось на ноги, чтобы встретить дорогих гостей. Спустя некоторое время раздался топот лошадиных копыт. Молодежь выбежала навстречу и, низко кланяясь, приветствовала:

— Добро пожаловать, дорогие, да будут благословенны дороги, приведшие вас к нам!

Поддерживая коней под уздцы, они помогали старухам и старцам сойти на землю. Молодые же, едва осадив коней, проворно соскакивали сами и передавали поводья юнцам. Ни для кого не было удивительно то, что на конях прискакали не только молодые, но и старики. В те далекие времена у племен массагетов и саков воистину было так. Младенцы, еще не научившись ходить, уже умели держаться на конях, и росли они, ползая меж ног жеребят, резвясь и играя с ними. Кони, чуткие животные, понимали каждое движение всадника, беспрекословно подчиняясь ему. От коня часто зависела судьба человека: преследовать ли врага или в критический момент спастись с женами и детьми, со стариками и старухами от набегов — тут конь становится единственным спасителем для массагетов. Одряхлев, кочевник едва держался на ногах, но скакать на коне мог. Он словно сросся с седлом и чувствовал себя в нем уютнее, чем на земле.

Гости поздоровались с поднявшимися навстречу им стариками племени, затем все расселись на пестрых войлоках. Вот мудрейшие, воздев руки, поблагодарили бога солнца Михру, без ведома и покровительства которого, как полагали они, не благоденствовало бы их племя в этих степях. На этом торжественная часть праздника кончилась. И только тогда, по чьему-то безмолвному знаку, молодые люди, заранее выделенные и считавшие для себя честью прислуживать на подобных торжествах, весело и лихо забегали, принося мясо на блюдах и крепкий кумыс в бурдюках. Начался пир...

Когда приезжие отведали всех кушаний и развеселились от крепкого кумыса, снова поднялся радостный переполох: прибыла невеста с целой свитой подруг, родственников, воинов и прочих сопровождающих. Сопровождать невесту мог любой желающий, и чем больше их было, тем считалось почетнее. Полагалось, чтобы каждый, подъезжая к становищу, ликовал, кричал — словом, производил как можно больше шума, дабы все видели, как велико уважение к невесте и

ее жениху.

Этот великий шум прибывших слился со свадебной песней хора джигитов и девушек. При свете костров, взметавшихся вверх языками пламени, начались пляски. Пир продолжался не один час.

Было уже далеко за полночь, когда жених и невеста уединились под пологом одной из богато украшенных арб. Но перед этим, по обычаю, они должны были побороться, так полагалось в те времена, когда женщины кочевых племен воевали наравне с мужчинами. Так что в силе и ловкости они подчас не уступали своим избранникам. Жених, поверженный невестой, краснел, но не более. Поражение мужчины в таком единоборстве вовсе не считалось позором. И то сказать, главой племени массагетов была женщина — Томирис, от руки которой пал в битвах не один враг.

Невеста Зарина — высокая, черноволосая, с нежносмуглым лицом и черными сверкающими глазами — выделялась своей красотой даже среди других красавиц степнячек. Но славилась она также и силой.

Выйдя в круг, она метнула быстрый взгляд на сидевших в стороне джигитов и девушек, точно желая угадать, как они отнесутся к ее возможному поражению. Ведь жених, по слухам, был не робкого десятка, сильный и ловкий. Низко поклонившись Томирис, сидевшей в окружении особо уважаемых стариков и старух, она обернулась к большеглазому и высокому Сипарангизу, который вышел в круг и стоял, готовый к борьбе. Зарина, уложив косы, крепко обвязала голову платком. Стан ее был туго опоясан кожаным ремнем. Догадываясь, что на разные приемы у нее не хватит сил, Зарина решила попытать счастье сразу. Как только сошлись вплотную, она в первый же миг молниеносным движением обхватила противника. Сипарангиз не ожидал этого. Не дав опомниться, Зарина, напрягши все силы, оторвала его от земли и попыталась опрокинуть. Коснись Сипарангиз спиной земли, она считалась бы победительницей. Джигиты и девушки со стороны невесты, гордясь ею, восторженно закричали, предвкушая победу. Но торжествовать было рано. Жених, оттолкнувшись от земли ногами, сумел перевернуться и выскользнуть из рук Зарины. Теперь они заходили по кругу. Каждый ждал подходящего для решающего броска мига. Зарине удалось, сделав обманное движение, дать подножку, что позволялось в борьбе. Джигит упал, но тут же вскочил, а Зарина отпрянула. На этом, кажется, удача покинула невесту. Сипарангиз, то ли задетый за живое, то ли в пылу азарта, заходил

вокруг нее так проворно, что Зарина едва успевала следить за его маневрами — за неуловимыми для стороннего наблюдателя наклонами, замираньями, движениями рук, головы, по которым боец должен мгновенно угадывать замысел противника. Зарина заметно утомилась. Синарангиз, почувствовав это, не замедлил перейти в наступление. Сделав обманный выпад влево он в тот же миг, изловчившись, схватил ее за правую руку, дернул на себя и, обхватив за талию, оторвал от земли. Опрокинуть ее на спину для него теперь не представляло труда. Все затаили дыхание. Ждали, сможет ли невеста воспользоваться последней возможностью и, оттолкнувшись, вывернуться. Как знать, отчаяние и самолюбие могут совершить чудо. Джигит, опытный боец, разумеется, учитывал это. Опрокидывая Зарину с правой стороны, в последнее мгновение он молниеносно взметнул ее вверх и положил с левой. Закричали, заулюлюкали соплеменники жениха. Это продолжалось всего „несколько мгновений. Как только невеста поднялась и, покрасневшая от смущения, поправила на себе одежду, жених, ласково улыбаясь, взял ее за руку. Их обступили женщины и повели под свадебный полог...

Веселье продолжалось недолго. Внезапно налетел ветер, начался песчаный буран, от которого прячется все живое. Прошло несколько мгновений, и звезд уже не было видно. Кочевники укрылись в крытых арбах, где они спасались от зноя песков, страшной черной пыли, сильного ветра.

«Не к добру это,— предрекали некоторые старухи,— быть беде».

На их слова не обратили особого внимания. Буря прекратилась так же внезапно, как и началась. Люди соскочили с арб, отряхнули войлок. Вновь запылали костры, вокруг которых, веселясь и беседуя, провела ночь молодежь.

На рассвете молодая чета с друзьями, по заведенному обычаю, отправилась на охоту. Степь, необозримая и цветущая, расстилалась у ног юной жены, точно радуясь ее счастью и восхищаясь ее красотой. Казалось, все вокруг ликовало солнцу в небе, травы в степи, звонкоголосые жаворонки.

Точно опьяненные солнцем и воздухом, носились ласточки, из густых зарослей высоких трав неожиданно появлялись и так же быстро исчезали длинноногие фламинго — птицы с оперением сказочной красоты, пугливые, нежно-розовые, грациозные...

Мимо кочевья то и дело проносились стада стройных сайгаков.

Копыта их высекали искры, звенела и гудела под ними земля. Казалось, мать-природа в это утро радовалась счастью молодых и благословляла каждой своей травинкой, каждым цветком...

Пока молодежь охотилась, в становище со сторожевых постов прискакал гонец. Он осадил коня у просторной арбы, накрытой ярким войлоком. Арба отличалась не только внушительной величиной. В ней жила предводительница племени массагетов — Томирис. Еще стройная и красивая, облаченная в златотканый чапан, Томирис, женщина лет сорока, сидела в окружении старейшин.

Гонец безо всяких церемоний доложил Томирис, что послы шаха Ирана два дня назад переправились через Укуз. Они вот-вот должны прибыть.

Томирис негромко ответила что-то, гонец поскакал обратно, а военачальники, энергично отдавая распоряжения, стали придирчиво осматривать воинов, постоянно дежуривших вокруг становища.

Наконец на гребне ближнего холма показались послы. Один из них, в богато украшенном халате, дородный и плечистый, с лицом мясистым, но волевым, — видимо, главный из послов, — медленно подъехал и остановил коня в нескольких шагах от роскошной арбы, где сидела Томирис.

Воин-богатырь, вооруженный саблей и луком со стрелами, степенно приблизился к послу и, взяв его коня под уздцы, придержал, пока посол не спешил. Две высокие девушки, вооруженные так же, как и мужчины-воины, быстро расстелили у самой арбы войлок и стали по сторонам, замерев в поклоне. Только после этого Томирис поднялась и, придерживая саблю, висевшую на золотом ремне, спустилась к послам. Тут же подошли две девушки с секирами и стали по обе стороны от Томирис.

Посол, опустившись на колени, поцеловал землю, затем поднялся и громко сказал:

— Наш великий властелин, шах Ирана Кайхисрав, кланяется вам, красавица царица. Он желает вам здоровья, могущества, несметных богатств и шлет в знак дружбы эти дары: златотканые, парчовые, шелковые одежды и драгоценности.

По его знаку приблизились двое из свиты и, низко поклонившись, положили у ног Томирис узлы и шкатулку.

Томирис в изящных и пышных словах выразила свою благодарность, пожелала здоровья, благ, могущества шаху Ирана, затем

пригласила послов сесть на тигровые шкуры, посланные поверх войлока.

Гости разместились на шкурах, против них расположилась Томирис. По правую руку от нее сели старцы, а по левую — воины — мужчины и женщины. Томирис справилась о самочувствии послов, о том, как они доехали. Глава посольства с учтивой улыбкой отвечал, что и положено отвечать в таких случаях: чувствуют они себя прекрасно, доехали очень хорошо. Затем перед гостями расстелили кожаные скатерти, одно за другим стали подавать блюда из рыбы, птицы, вареного и жареного мяса баранов и сайгаков.

Послы с любопытством посматривали по сторонам. Эти массагеты удивляли их. Они не имеют ни городов, ни даже кишлаков, кочуют с места на место, женщины у них воюют наравне с мужчинами. Удивляла и сама царица, ничем не отличавшаяся от соплеменников. Вот и сейчас джигиты, угадывающие по движению бровей Томирис все ее желания, вели себя просто — обслуживали без должного трепета, охотно и проворно. Словом, нетрудно понять, что в племени массагетов при известной простоте отношений между вождем и соплеменниками царит в то же время единство. И жизнь у всех одинаково трудная, суровая.

Посол, невольно сравнивая вождя массагетов с шахом Ирана, жившим в роскоши в великолепных дворцах, имевшим невольниц и несметное количество рабов, высокомерно думал про себя: «И она считает себя царицей! Сидит и ест вместе со всеми подданными, которые не испытывают перед ней ни страха, ни трепета. Подумать только, вон один из них, который сидит ближе всех к царице, то и дело чуть ли не из ее рук выхватывает куски жирного мяса. Ну и царица! Ни короны, ни трона. Только жалкая арба. И как дерзки и наглы у них женщины, едят всю, разговаривают с мужчинами как с равными, позволяют себе насмешки над ними. Мужья же этих баб, должно быть, совсем бесчувственные животные — даже не ревнуют своих жен. И где это видано, чтобы женщина носила оружие, была воином?! Жалкие, бедные люди, ни рабов, ни слуг, ни невольниц. Дикий, совсем дикий народ! Годятся только рабами быть!»

Кайхисрав, отправляя в путь послов, объяснил им свой замысел: «Если я возьму в жены Томирис, не понадобится вести с ними войну, отправляться в далекий, изнурительный поход по пустыням. Вы должны добиться согласия Томирис».

И сейчас, сидя напротив царицы массагетов, посол из кожи вон лез, чтобы выполнить наказ своего повелителя.

— Во всем подлунном мире ни одна женщина еще не правила столь великим государством, как ваше, ни одна страна не имела столь мудрой, справедливой царицы, как вы,— рассыпался он в похвалах.— Бог солнца одарил вас и красотой несравненной, и славой. Если бы вы, великая царица, соединили свою судьбу с судьбой великого шаха, то все другие цари мира склонили бы головы перед нашим могуществом.— Низко поклонившись, посол закончил: — Слава о вашей красоте и уме дошла до нашего великого шаха. Он полюбил вас. Я прибыл не только в качестве посла, но и свата.

Томирис, слушавшая посла чуть наклонив голову, при его последних словах выпрямилась:

— Что-о? Сватом?!

— Да, сватом,— повторил посол, приложив правую руку к груди и чуть поклонившись.— С той поры, как умер ваш муж, прошел год. Вы еще молоды, красивы. Только повелитель нашего великого и необъятного царства может быть достойным мужем для вас.

— А что, у него все жены поумирали? — сухо спросила Томирис.

— Нет, все его жены здоровы. Но если вы станете женой шаха, то все другие его жены будут вашими рабынями.

Лицо Томирис помрачнело, она нахмурила брови. Царице все уже было ясно. Кайхисрав, прославившийся своей жестокостью в войнах, которые он вел непрерывно, прославившийся своей алчностью, предлагает ей стать его женой. Но ведь и глупцу ясно, каковы истинные намерения шаха. Как нагл и самоуверен, однако, этот Кайхисрав! Нет, при всем уважении к миссии послов они должны получить недвусмысленный ответ. Принять его предложение — значит отдать в рабство свой народ. Томирис с внутренним содроганием представила себе жалкую участь, ожидающую ее соплеменников. Насмешливо взглянув на посла, она холодно и твердо сказала:

— Ваш шах влюблен не в меня, а в мою страну, в наши богатства. Ему нужна не я, а мой изобильный край. Вы, уважаемые послы, передайте своему повелителю: я решительно отвергаю его предложение. Я не желаю быть его женой, не желаю отдавать в рабство свой народ.

Не лучше ли было вам, прежде чем отвергать предложение нашего великого шаха, посоветоваться со своими полководцами, с мудрыми

старейшинами,— произнес с заметной иронией посол, бросая взгляд на тех, кто сидел рядом с Томирис.

— Тут нечего голову ломать,— сказал сурово один из старцев.— Наш мудрый вождь словно угадала наши мысли: Томирис не быть женой иранца, нам не быть рабами твоего повелителя. Так скажет тебе каждый массагет. Если шах прибудет к нам гостем, мы примем его. Придет с войной — истребим всех его воинов и их же кровью напоим вашего Кайхисрава.

При последних словах посол побагровел от возмущения и ярости, но сдержался и промолчал. Глаза сидевших против него воинов и старцев сурово и прямо смотрели на него. И в ответ на эти невидящие взгляды посол заговорил вновь:

— Мы еще никогда не слыхивали подобной дерзости. Шах Ирана послал нас с добрыми намерениями, желая осчастливить вашу царицу и ее народ. Могущество подарено ему богами, и он должен использовать его на благо всех в подлунном мире. Жаль, очень жаль, что вы не понимаете этого...

— Не стоит продолжать,—довольно бесцеремонно перебила его Томирис,— знаем мы, что это за благо. Хоть золотом осыпьте нас с головы до ног, и тогда не променяем нашу волю на ваше покровительство.

В этот момент издали донеслись возгласы молодых людей, возвращающихся с охоты. Посол, и без того уже начавший испытывать некоторую опаску перед этими влюбленными в свою свободу людьми, увидев скачущих, почему-то испугался. Томирис бросила насмешливый взгляд на посла.

Не бойтесь,— сказала она,— мой сын Сипарангиз со своей молодой женой и друзьями возвращаются с охоты.— Она усмехнулась и добавила: — Хорошо, что он не слышал вашего предложения, сын мой молод и горяч — несдобровать бы вам.

Через несколько мгновений в сопровождении джигитов и девушек подскакали Сипарангиз и Зарина и бросили к ногам Томирис несколько туш кийиков — степных оленей. Заметив послов, которые поднялись с мест, молодые, догадываясь, что гости, наверное, прибыли издалека, соскочили с коней. Томирис представила им послов. Сипарангиз и Зарина поклонились гостям и сели рядом на тигровые шкуры.

Зарина то и дело почтительно поглядывала на мужа и молчала. Так уж было принято среди массагетов — пока муж не заговорит, жена не

должна была начинать беседу первой. Через несколько мгновений Сипарангиз, отдавая дань приличию, осведомился у послов об их самочувствии, о том, как доехали, затем с живым огоньком в глазах, с откровенным любопытством стал расспрашивать о жизни во дворце Кайхисрава: сколько там сокровищ, и правда ли, что кроме большого количества жен он содержит еще красавиц невольниц. Расспрашивал о нравах и обычаях чужой земли.

Посол, поглаживая свою крашеную бороду, вежливо улыбался и обстоятельно рассказывал о придворной жизни, подчас привирая, считая, видимо, что чем сильнее будет искушение, тем лучше. Молодежь действительно слушала его рассказы о несметных сокровищах шаха, о прекрасных невольницах, о роскошных пирах и празднествах с неподдельным изумлением. Послы же, поглядывая на их лица, снисходительно и хитро улыбались, что не ускользнуло от внимания Томирис.

— Приглашенные на пиры знатные люди царства в золототканых одеждах,— продолжал посол,— молодые люди в шелках, послы, прибывающие из дальних и ближних стран, сперва низко-низко кланяются солнцеподобному шаху, затем садятся на мягкие одеяла и облокачиваются на пуховые подушки. И тут же слуги начинают разносить и ставить перед каждым самые разнообразные кушанья и яства. На самом видном месте, танцуя, изгибаются полуобнаженные красавицы невольницы. Гости, любуясь ими, пьют из золотых чаш шароб. Шароб,— как-то значительно повторил это слово посол,— подносят им кравчие, мелодично позвякивая бубенцами, которыми увешаны их шелковые пояса. А с другой стороны — музыканты...

— Простите, вы сказали — шароб, а что это такое? — перебил посла один джигит, особенно внимательно слушавший его.

— Шароб готовится из сока винограда, удивительно приятный напиток, выпьешь его одну чашу — и на душе становится легко и весело.

— Легко и весело! — восхищенно повторил джигит.

Томирис сидела, бросая исподлобья взгляды на посла.

Сипарангиз заметил это и, кажется, догадался, что в его отсутствие произошло нечто, что вызвало гнев матери. Вот потому-то, наверное, она хмурится и молчит. Замолчал и Сипарангиз. Скоро послы удалились в отведенную для них юрту.

Что послы не могли явиться просто так, нетрудно было догадаться,

поэтому Сипарангизу нельзя было не рассказать о цели их миссии.

— Добровольно сдаться в рабство?! — воскликнул юноша, выслушав рассказ матери.— Надо отрезать им уши и носы и отправить восвояси! — произнес он гневно.

— Не по своей воле они пришли,— возразила Томирис.— Послы пересказали нам только то, что влил в их уши шах. Вернем им дары и отпустим. Уже это будет оскорблением для шаха!

II

Кайхисрав, захватив Согдиану, подошел со своим войском к левому берегу Укуза. Белый шатер шаха, необыкновенно высокий, просторный внутри, был установлен на высоком холме, в некотором отдалении от берега,— на расстоянии, недостижимом для стрел с противоположного берега. Выслушав послов, возвратившихся от Томирис, он помрачнел, долго думал, взвешивая все обстоятельства, и только тогда признался себе, что сватовство к Томирис было легкомысленной затеей. Ну конечно, как он мог предположить, что гордая царица массагетов пойдет к кому-то в добровольное рабство,— нет, только силой оружия можно покорить массагетов.

Как и ожидала Томирис, через несколько дней после отъезда послов гонцы донесли, что войско Кайхисрава, готовясь к переправе, сооружает на том берегу Укуза огромные плоты. Томирис созвала на совет опытных военачальников и мудрых аксакалов. Один из стариков — морщинистый, со шрамами на лице, в прошлом военачальник — предложил разбить врага при переправе, где он будет в невыгодном положении. Массагеты — искусные стрелки — могли поражать цель с дальнего расстояния, попасть же в человека, плывущего на плоту через Укуз, мог бы любой из них. Надо попросту осыпать врага градом стрел, и если даже не удастся разбить войско шаха, то урон ему будет нанесен огромный.

Старику решительно возразил Сипарангиз:

— Если мы так поступим, что скажут про нас хорезмийцы, дай, геты, что скажут саки⁴, кочующие за Яксар- том? «Массагеты, боясь сразиться с иранцами, только издали пускали в них стрелы на переправе». Это же позор для нас! Я предлагаю отправить посла, чтобы

⁴ Названия племен, населявших Междуречье.

прямо сказать им: «Переправляйтесь беспрепятственно, мы мешать не будем. Но когда вы переправитесь, мы будем бороться за нашу землю и истребим вас всех!»

— Но мы можем переправиться к врагу и сами помериться с ним силой в открытом бою! — горячо поддержал Сипарангиза какой-то юноша.

Старики неодобрительно, а иные и насмешливо взглянули на него, но промолчали, ждали, что скажет Томирис, которая сидела, погруженная в глубокое раздумье. Не разумом, а чувством руководствовался ее сын. Молодой Сипарангиз не знал, что между племенами не было единства. Старик прав: стрелять, стоя на берегу реки, по тем, кто плывет, куда удобнее, чем биться на равнине. Но, независимо от исхода боя, над таким «сражением» долго злорадствовали бы в других племенах. Томирис не могла не думать о чести своего рода и племени. Будучи мудрым вождем, она предвидела, что можно применить и другую тактику: завлечь врага в глубь пустыни, измотать его, а потом, навязав бой в выгодном для себя месте, разбить наголову. Но, видя, как рвутся в бой молодые воины, она пока не стала говорить о своих замыслах. Сдержанно поддерживая сына, только добавила:

— Да, мы будем биться за нашу землю, но главный бой дадим врагу там, где пожелаем сами.

Старцы, словно угадав замысел вождя, поддержали Томирис.

— Мы с основными силами уйдем пока в глубь пустыни,— твердо решила Томирис, зная, что против мнения большинства старцев никто не станет выступать.— Л ты, сын, со своим отрядом встретишь врага.

Сипарангиз согласно кивнул.

Не знал, не ведал юноша, сколь дорого обойдется ему его собственная неопытность и горячность...

Кайхисрав со своей конницей и тяжело вооруженной пехотой беспрепятственно переправился через Укуз и сразу же пошел походом к стану массагетов, туда, где были приняты его послы. Но он не обнаружил массагетов ни через два дня, ни через неделю похода, хотя передовые отряды-разведчики рыскали во всех направлениях. И тут-то Кайхисраву стал ясен замысел массагетов: заманить его войско в глубь пустыни, истощить и, внезапно напав, разбить. Уже сейчас его войско начало страдать от недостатка еды и воды. А ведь лето только начинается, степь желтеет, скоро выгорит совсем, на чахлой траве

недолго продержится его конница.

Кайхисрав созвал совет.

— Эти проклятые массагеты чувствуют себя в пустыне как в собственной арбе,— начал посол, побывавший в стане массагетов.— Пустыня для них — мать родная, а для нас — мачеха злая. Они знают свои потайные колодцы, а мы ни одного не можем отыскать...

— Что же вы предлагаете? — неторопливо перебил его Кайхисрав, сидевший в глубине шатра.

— Их можно легко разбить, но для этого надо употребить одну хитрость. Пусть третья часть нашего войска, которую мы в изобилии снабдим водой, едой, а еще больше вином, отстанет от нас...

Шах внимательно слушал своего многоопытного посла, уже не раз оказывавшего ему неоценимые услуги. «Что ж, если эти простаки массагеты позволили нам беспрепятственно переправиться через реку, то, вполне возможно, могут попасться и на эту хитрость...» — думал шах, основавший деспотическую державу персов и не гнушавшийся в достижении цели ни коварства, ни вероломства,— именно так покорил он Иран, Египет, Согдиану, всю южную часть Средней Азии.

Коварный план старой лисы — посла — шах одобрил. Отставший от основного войска отряд, разбив шатры и вырыв в земле глубокие очаги, как будто начал готовиться к пиршеству.

Томирис, проведав об этом через своих быстрых как ветер конных разведчиков, решила разбить отставший отряд птаха. Именно это дело она поручила Сипараигизу.

— Если тебе удастся истребить отряд,— наказала она сыну,— то следуй по пятам за Кайхисравом. Мы же, как только узнаем о твоей победе, с основными силами нападём на Кайхисрава, ударим по его войску в лоб. Ты нападёшь сзади. Их станет к тому времени меньше: истощенные, они не выдержат битвы. Мы окружим их и разобьём. Ты готов исполнить свой долг?

— Готов!—твердо ответил Сипарангиз.

— Иди, мой сын, да поможет тебе бог солнца!

Когда конный отряд массагетов напал на отставший отряд шаха, воины-пранцы, уже вынув мясо из котлов и разложив его по дастарханам, собирались развязать полные вина кожаные бурдюки. Они не успели это сделать... Застигнутые врасплох, они подняли шум и суматоху, которая длилась несколько мгновений, а потом обратились в бегство. Кони их почему-то стояли наготове... Массагеты взяли в плен

только небольшую группу воинов, не ведая, что те сдались намеренно, хотя могли бы уйти со всеми остальными.

Один из пленников обратился к Сипарангизу:

— Да, видно, ты великий полководец, налетел как ураган, застал врасплох, а мы, думая, что ты далеко, собирались попить, помянуть шароба,— При этих словах пленник точно невзначай взглянул на горы мяса и на бурдюки с вином, невольно обратив на них внимание и Сипарангиза, потом как ни в чем не бывало добавил, вздохнув: — Все это теперь достанется вам...

— Нам некогда распивать твой шароб,— нетерпеливо ответил Сипарангиз, хотя задержал взгляд на бурдюках с вином, вспомнив рассказы посла об этом волшебном напитке.

— Джигиты проголодались, устали, надо дать передохнуть и коням,— сказал один из воинов.— Поедим и поскачем дальше.

— Да, да, не мешало бы подкрепиться,—поддержали его и остальные.

Сипарангиз заколебался, затем, ища хоть какой-то повод отказать от соблазна отведать живительного зелья, спросил у пленного иранца:

— Эй ты, а этот твой шароб и еда не отравлены? Смотри, головой отвечать будешь...

— Неужто мы будем отравлять то, что собирались есть и пить сами? Не враги же мы себе! Клянусь богом над всеми богами Ахурамаздой, что нет в них никакого яда. Ешьте, пейте, только, умоляю, сохраните мне жизнь!

— Если твои слова правдивы, то...— Сипарангиз, взглянув на пленников, повелительно кивнул им в сторону дастархана.

Пленники сели за дастархан и стали уплетать мясо, не забывая то по делу опрокидывать в себя чаши с вином. Прodelывали все это они с большим аппетитом. Воины Сипарангиза, с завистью следя за пирующими пленниками, ждали только разрешения вождя. Наконец он подал им знак. И вмиг все они расселись за дастарханы, оттеснив пленников. Первым делом выпили по чаше желанного шароба, затем принялись за еду. Напиток — удивительное зелье — теплом разливался по телу, веселил душу, делал все вокруг радостным и необыкновенным. Они пили и пили, желая продлить и усилить это чудесное состояние души, не чувствуя, что теряют власть над собой, потешаясь друг над другом. Опьянев окончательно, они послали мясо и

несколько бурдюков вина сторожевым постам, проявляя заботу о своих товарищах...

Воины Сипарангиза, намеревавшиеся только утолить свой голод и скакать дальше за врагом, забыли обо всем на свете, потеряли счет времени. Не ведали они, что Кайхисрав, который рассчитывал именно на это, притаился недалеко со своим войском, ожидая лишь сигнала.

Никто не заметил, как один из пленников поднялся, выбрал облюбованного заранее коня, отвел его в сторону, вскочил и помчался ветром в степь.

«Опьяневших воинов сторожевого охранения перебили, как беспомощных младенцев. Ни один из воинов отряда Сипарангиза не мог оказать сопротивления. Те, кто заметил мчавшихся во весь опор воинов Кайхисрава, не сразу даже могли сообразить, что происходит. Когда же опомнились, было поздно. Большинство, пытаясь подняться, тут же падали пронзенные стрелами. Жалкими выглядели и те, кто, добравшись до коней, успели взобраться на них. Они забыли о том, что, желая дать отдохнуть и коням, ослабили подпруги. Едва успевали сесть, как седло начинало крениться и, теряя равновесие, не владея собой, воины обрушивались с коней на землю. Не представлял опасности даже тот, кто успел обнажить сабли. Какая спяну битва! Словом, весь отряд Сипарангиза во главе с ним был пленен. С завязанными за спиной руками предстали они перед Кайхисравом. Воины Сипарангиза, только теперь отрезвев, испытывая боль и позор, стояли опустив головы. Шах с торжествующе- снесным видом долго оглядывал их, затем откровенно издеваясь над Сипарангизом, усмехнулся:

- Ну! Вспомни-ка, богатырь, что вы там говорили моему послу? Не будете моими рабами! Ха-ха-ха! Поглядите на него! — Вторя шаху, захохотали и его приближенные, но только шах оборвал смех, умолкли и они.— Скоро будет моей рабыней и твоя мать! Эх ты, сопляк, а еще хотел воевать со мной, отряд мой уничтожить.

Сипарангиз вскинул голову, с презрением уставился на шаха.

— Да, я хотел сразиться с тобой, но, увы, не выпало такое счастье на мою долю. По неопытности поддались мы на твою хитрость, на твое коварство. Если б ты, бесчестный...

— Замолчи, глупец! — крикнул стоявший рядом с шахом военачальник и плеснул на грудь Сипарангиза чашу горячей воды.

Сипарангиз вздрогнул. Кайхисрав захохотал, желая еще больше унижить гордого воина. Шаха поддержали и его приближенные.

Сипарангиз, овладев собой, выпрямился и взглянул на врагов с таким бесстрашием, с такой холодной ненавистью, что смех умолк.

— Недолго вам смеяться, — произнес Сипарангиз так хладнокровно, точно не он, а иранцы были его пленниками. — Теперь-то вы не проведете нас. Живым из наших степей никто из вас не выберется, шакалы, напялившие тигровые шкуры...

И вновь его заставили замолчать, окатив грудь горячей водой. На этот раз Сипарангиз даже не поморщился. Приближенные выжидательно уставились на Кайхисрава: может быть, шах снова засмеется, надо успеть вовремя поддержать повелителя. Но Кайхисрав и не усмехнулся. Более того, лицо его вдруг преобразилось, стало едва ли не доброжелательным. Он, готовый казнить и истреблять непокорных, был одарен своеобразной проницательностью — умел угадывать, что именно могло причинить сильнейшую боль человеку. Он чувствовал сейчас и состояние души благородного, неопытного Сипарангиза, ставшего жертвой собственного неведения и молодой безрассудной отваги. Кайхисрав знал, что худшей казнью для Сипарангиза была бы его встреча со своими соплеменниками. Он хотел жестоко потешиться над воином. Снисходительно улыбнувшись, он обратился к Сипарангизу:

— Я верю, ты воин отважный. Люблю таких. Не хочется мне губить тебя. Да и мать твоя убиваться будет... Я отпущу тебя одного к своим, хочешь?

Сипарангиз, готовый мужественно встретить самую ужасную смерть, при последних словах Кайхисрава побледнел. «К своим! — с ужасом подумал он. — Как встретит меня мать? Что скажут в племени? «Погубил весь отряд и явился как загнанный степной волк?!» Нет, смерть лучше позора!»

— Ну? — насмешливо улыбнулся шах. — Хочешь?

— Развяжите мне руки, — тихо попросил Сипарангиз.

По движению бровей шаха один из воинов подбежал и освободил Сипарангизу руки. И прежде чем кто-то успел шевельнуть рукой, Сипарангиз выхватил из-за пазухи маленький острый кинжал и, вонзив его себе в грудь, рухнул замертво.

Персы остолбенели. Был поражен и шах.

— Он предпочел смерть позору! — медленно произнес Кайхисрав и, помолчав мгновение, dokonчил: — Истинный воин... Что ж, пусть и эти, — он указал на пленных, — отправятся за ним...

III

При известии о гибели Сипарангиза и всего его отряда в сердце Томирис и ее соплеменников точно вонзились стрелы. Истощенный, разрывающий сердце вой носился над становищем массагетов. Билась и рвала на себе одежду обезумевшая от горя Зарина. Ветер уносил в пустыню разноголосы и женский вопль.

Томирис не плакала. Уставив в одну точку неподвижный взгляд, она сидела не шевелясь и только одну глубокую, смертельную усталость ощущала в сердце. Душа ее словно онемела и замерла, не в силах преодолеть страшную боль...

Завывал ветер, шелестела сухая трава.

Под вечер Томирис очнулась, вышла из арбы, зорко взгляделась в просторы пустыни и вдохнула всей грудью горячий воздух. Мщение! Только мщение может исцелить ее душу...

Томирис собрала на совет старейшин, военачальников и бывалых воинов. Молодежь рвалась в бой с врагом немедленно, казалось, одного их гнева достаточно, чтобы разбить врага.

Томирис обвела суровым взглядом согбенных стариков, рвавшихся в бой молодых и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Отцы, матери, сестры и братья, всем вам ясно, зачем мы сюда собрались. Коварная персидская собака, заманив в ловушку наших джигитов, предала их всех смерти. Теперь только бой, только святая месть, только победа может вернуть нам надежды, желание жить. Что нам надо предпринять, чтобы истребить врагов,— об этом я хочу посоветоваться с вами.

Заговорил сидевший на почетном месте белобородый старик с пронизательным взглядом:

— Во многом виноваты мы сами. Видели, но не обращали внимания на то, что наши молодые воины беспечны. Оставили их без надзора. За это и покарал нас бог солнца и воды, бог всего сущего — Михра. Если бы отряд, которому поручили разбить врага, возглавил не двадцатилетний Сипарангиз, а более опытный военачальник, и будь в этом отряде больше бывалых воинов, мы не лишились бы наших отважных джигитов...

— Верно вы говорите,— невольно вздохнув, перебила его Томирис.— Видно, я без меры возгордилась своим сыном, он только

начал оперяться, а я, ни с кем не посоветовавшись, поставила его во главе отряда. Дорого мы заплатились за это...

Томирис взглянула на старика в шрамах, который некогда предлагал разбить врага при переправе, и кивнула ему, предлагая высказаться. Он с глубоким сочувствием взглянул на Томирис и сказал:

— У нас есть еще опытные воины, достаточно сил, чтобы заставить врага покинуть нашу землю. Пусть немощные старики и женщины угонят скот в глубь пустыни. Мы же, маскируясь в песках, должны навязать врагу бой в выгодном для нас месте. У нас есть преимущество,— закончил старик,— которое поможет нам. Мы как свои пять пальцев знаем расположение всех потайных колодцев. В пустыне, сами знаете, утоливший жажду вдвоe сильнее. Мы навяжем бой именно в тот момент, когда сами освежимся водой, а они будут изнурены жаждой.

В тот же день старики, женщины и дети угнали стада, а воины начали приводить в порядок свое оружие. Каждый, кто сражался в первых рядах, кроме лука и стрел был вооружен еще двумя копьями и выпуклым щитом. За поясами у них висели короткие мечи — акинаки. Остальные воины к тому же были вооружены еще и секирами — сагариями. Воины в большинстве были одеты в длинные чапаны без ворота и в шаровары, заправленные в высокие сапоги, на головах у них были шапки с остроконечным верхом из плотного войлока.

Когда все было готово к походу, Томирис обошла свое войско, проверяя оружие и одежду воинов. После этого взошла на холм, сняла с себя щит и меч и, положив их на землю, обратилась с мольбой о победе к богу солнца — Михре:

— О солнце, создатель земли и небес, огня и воды — всего сущего! Ты откроешь глаза — светло и ярко становится в мире, закроешь — все погружается в тьму. Ты наполняешь наши стада, силой твоей наливаются колос, рождается обильный урожай! О творец, единственный и всемогущий, не допусти, чтобы мы стали рабами персов! Сделай могучими наши руки, бесстрашными души, поддержи священный огонь мести в наших сердцах! Пусть наши стрелы, копья, мечи и секиры поразят всех врагов до единого!

Окончив молитву, она снова наценила на пояс меч со щитом и спустилась вниз. Сев на белого коня, который нетерпеливо ржал и бил копытами, она, обратись к своему выстроившемуся войску, сказала:

— Братья и сестры, близится бой, который решит судьбу

массагетов. В душах наших пылает священный огонь мести. И как бы ни был силен враг, в ярости ему не превзойти нас. Мы победим! Верю, среди вас не найдется ни одного, кто струсит перед врагом. Мы победим!

— Мы победим! Мы победим! — мощно и гневно разнеслось над пустыней.

Томирис взглянула вверх — высоко в небе, раскинув крылья, парил могучий орел. Это было добрым предзнаменованием. Орел, провожающий войско в поход, считался предвестником победы.

— Это пророчество богов, мы победим! — громко воскликнула Томирис.

— Мы победим! — мощно отозвался многотысячный глас.

Кайхисраву, опьяненному легкой победой, казалось, что войско Томирис, не слишком дисциплинированное, а значит, небоеспособное, потеряв один из своих отборных отрядов, и вовсе пало духом. Надо скорее настичь и разбить его. И Кайхисрав сразу же после победы над Сипарангизом помчался во главе своего войска туда, где должны были находиться массагеты. Желание персов разделаться с кочевниками-массагетами, захватить их стада и устроить многодневное пиршество, желание потешиться над их женами и сестрами было так велико, что Кайхисрав, если б и захотел, не в силах был сдержать свое войско, рвущееся к добыче и насилию.

Но когда персы прибыли к месту предполагаемого становища противника, массагетов и след простыл. Во все стороны расстилалась необозримая, бескрайняя степь. Шах ощутил в себе бешенство хищника, упустившего добычу. Снова надо было разведывать, куда направилось войско Томирис. Многие отряды, отправившиеся на поиск, исчезали бесследно. В ожидании вестей томился шах, томилось изнывающее от жажды войско.

Через несколько дней гонцы донесли, что войско Томирис находится неподалеку. Тут же выступили в поход, но уже без прежней надежды застать противника врасплох. Они напали на горячие следы... Измученные, изнывая от жажды, голодные, вконец обессиленные, они прямо-таки наткнулись наконец на войско Томирис. Высланный вперед отряд не вернулся, — видимо, был перехвачен массагетами. Оставалось только принять бой. Тем более что войско массагетов преградило им путь. Повернуть назад значило посеять в войске панику, которой немедленно воспользовался бы враг, оказавшийся не только хитрым,

ловким, но и обнаруживший большое военное искусство маневрирования.

Бой завязался у подножия холма. Солнце, катившееся к закату, освещало только головы и спины массагетов и в то же время, ударяя в глаза воинов шаха, ослепляло их. За холмом по обе стороны притаились в засаде конные отряды массагетов.

Персы численно превосходили массагетов, поэтому они решили сблизиться с врагом как можно стремительнее, не дав возможности использовать массагетам свое испытанное и славившееся в их руках оружие — лук и стрелы. Но стремительного, молниеносного налета у изнуренных жаждой, голодом и усталостью персов не получилось.

Массагеты же стреляли необычайно метко. Лучники выстроились в несколько рядов. Первый ряд, расстреляв все свои стрелы, поворачивался; остальные ряды расступались и пропускали их назад. В бой вступал второй ряд лучников. Таким образом, массагеты вели сражение, непрерывно осыпая противника градом метких стрел. Персы заматались при виде павших товарищей, их обуял страх, еще до рукопашной они понесли огромный урон. Уже начало боя определило поражение персов. К моменту сближения лучники, расстреляв все стрелы, пустили в ход копыя со щитами и мечи-акинаки. В бой вступили воины, вооруженные мечами и алебардами.

Каждый перс знал, что, отступая, непременно наткнется на копыя своих же, которые не пощадят,— поэтому воины прилагали отчаянные усилия, чтобы остановить наступавших на них массагетов. Скоро войска сошлись вплотную. Люди бились насмерть. Невообразимый хаос царил на поле битвы и длился до вечера. Каждый массагет дрался, отстаивая жизнь своих детей, свою землю и волю. Ярости их не было предела, и персы, по мере того как затягивалась битва, все более теряли надежду.

Неожиданно с левого фланга на них налетела конница Зарины. Иранцы начали отступать. Но тут во главе отборного отряда конницы с саблей наголо поскакал вперед сам Кайхисрав, до этого наблюдавший битву с небольшого возвышения.

Бой разгорелся с новым ожесточением.

И в это решающее мгновение Томирис, все время наблюдавшая с холма за битвой, во главе отряда из самых отважных джигитов ринулась туда, куда Кайхисрав ввел новые силы. Носившиеся по полю конные массагеты из резервного отряда превосходили врага в

стремительности, сеяли смерть и ужас среди врагов. Последний отряд Кайхисрава не смог переломить ход битвы. Его самого на всем скаку пронзил копьем воин из отряда Томирис. Массaget налетел на него с такой молниеносной стремительностью, что никто не смог, не успел преградить ему путь. Увидев, что пал их шах, персы в смятении обратились в бегство. Массagetы поскакали в обход и истребили большинство бежавших. Оставшиеся, побросав оружие, сдались в плен. Массagetы ликовали. Теперь жизни их -жен и детей были спасены. Они сдержали свою клятву. Дорогой ценой, потеряв почти половину своего войска, победили они...

— Кайхисраву отрубите голову и принесите мне! — приказала Томирис, разгоряченная битвой.

Чтобы исполнить приказ Томирис, воины бросились искать тело Кайхисрава. Кто-то из массagetов знал Кайхисрава в лицо, и потому опознали его быстро. Отрубили ему голову и принесли Томирис.

— Теперь наполните кровью бурдюк!

Воины исполнили приказ вождя.

Томирис взяла голову за бороду. Забрызганная грязью и кровью, с разинутым ртом, в котором было выбито большинство зубов, и с вытекшим глазом, мертвая голова шаха выглядела не столько страшной, сколько отвратительной.

— Эй, Кайхисрав, всю жизнь ты жаждал крови, всю жизнь истреблял людей. Так напейся же теперь их крови досыта! — воскликнула Томирис и бросила голову в наполненный кровью бурдюк, верх которого тут же скрутили жгутом и крепко связали.

Под одобрительные крики победителей бурдюк зарыли глубоко в землю, словно навсегда запрятали там семя войны, зла и насилия.

Томирис воздела руки к небу и возблагодарила бога Михру за дарованную победу:

— Отныне земля наша свободна, но пусть стрелы и копья наши, о воины-массagetы, будут всегда наготове, чтобы никогда над нашей степью не заходило солнце свободы.

Юлдаш Шамшаров
р. 1908

ВЕЧНАЯ ПЕСНЯ

Памяти Туйчи хафиза

I

Хотя лишь вчера поднялся после тяжелой долгой болезни, он чувствовал себя достаточно бодро, был весел, шутил, разговаривал с сыном и внуками.

А к вечеру ему захотелось уединения. Он медленно прогуливался во дворе, окутанном сумерками, иногда останавливался, как будто что-то вспоминая или к чему-то прислушиваясь, и пробовал вполголоса напевать какую-то мелодию.

Жена, появившаяся во дворе, обрадовалась, увидев мужа в хорошем настроении; она набросила ему на плечи халат и хотела было предложить, чтобы он отдохнул, но хафиз, словно угадав ее намерение, улыбнулся и шутливо сказал:

— Чтобы болезнь ушла, надо гнать ее. Тень муаллима Навои овевла меня, и грех не воспользоваться этой минутой наития. Принеси-ка мне танбур.

Он уселся на сури, скрестив ноги; с помощью надетого на палец медиатора стал настраивать танбур. Жена удалилась в дом, чтобы заварить чай.

Пальцы хафиза, перебиравшие струны, слушались плохо, они будто одеревенели. «Неужели болезнь все-таки успела сделать свое черное дело? — подумал он с беспокойством и решительно отогнал эту мысль.— Нет, я не сдамся!» Он помассировал пальцы, провел ими по струнам, снова помял их, и танбур наконец зазвучал в полную силу. Аккомпанируя себе, он запел, и недовольно поморщился: голос его не потерял своего чарующего тембра, но был еще слаб, хафиз чувствовал, что не дотягивает до той высоты, какая требовалась при исполнении ма- кома, сочиненного им на газели Навои «Черные глаза». Вздохнув, он замолк и задумался.

Любовь к газелям пробудил в его сердце, как утверждал сам хафиз, великий Навои. И впервые он спел «Черные глаза» еще молодым,— он

тогда был охвачен пламенем любви и полон сил и уверенности в себе.

Те, кому довелось услышать проникновенное, берущее за душу звучание его танбура и его бархатистый, завораживающий голос, искренне восхищались: «Молодец, джигит! Эту газель исполняло множество сладкоголосых хафизов, но только теперь она наконец нашла своего певца».

Слава хафиза росла, у него становилось все больше поклонников и в родном краю, и за его пределами, песни, которые он создал и исполнял, были записаны на пластинку в Москве.

О хафизе распространялись легенды — были среди них и такие.

* * *

Это случилось еще до революции.

Однажды к нему подошел грузчик и смущенно, нерешительно проговорил:

— Не считите за дерзость, но я хочу попросить вас... Загляните завтра в наш дом, осчастливьте нас своим искусством...

У хафиза посветлело на душе, он пообещал грузчику, что придет, и в этот момент к нему приблизился на холеном коне посланец одного городского богатея. Конь поражал своим роскошным убранством: попона из шелка, седло расшито серебром. Не удосужившись слезть с седла, всадник передал хафизу, что хозяин приглашает его на свадьбу — украсить ее музыкой и пением. Окинув взглядом коня, хафиз усмехнулся краешком губ и вежливым тоном произнес:

— Уверен, при одном виде такого коня любой хафиз, кланяясь, поспешил бы к дому уважаемого бая. Но, к сожалению, я уже заверил вот этого бедняка, что завтра буду у него. Так что вы извинитесь за меня перед своим господином; надеюсь, он великодушно простит меня за то, что я вынужден был отказаться от высокой чести...

И он дружелюбно кивнул грузчику: вы, мол, идите и ни о чем не беспокойтесь.

На следующий день хафиз щедро одарил гостей бедняка своим искусством, а на обратном пути завернул к богачу — на свадебный той. Приглашенные на свадьбу уже разошлись, — какое же это торжество без песен? — и опустевший двор выглядел унылым. Бай, восседавший в одиночестве за пышным дастарханом, хмуро глянул на хафиза.

— Ты зачем явился? Только тебя тут и ждали.

— Так ведь вы сами позвали меня на свадьбу,— лукаво улыбнулся хафиз,— вот я и приш.ел.

— Позднее — не мог?

— Петь никогда не поздно.

И хафиз заиграл на танбуре, и, как чистый родник, зажурчал в вечернем сумраке его пленительный голос. На звук этого голоса стали стекаться отовсюду люди, песни лились до утра, и до утра длилось застолье; люди покинули двор вместе с хафизом. Бай, считавший, что все можно купить за деньги, был очень удивлен этим.

А спустя несколько дней за хафизом пришли слуги эмира и, не спрашивая его согласия, повели во дворец к властелину.

Эмир восседал в центре просторного зала, с украшенными искусной резьбой стенами и потолком, в окружении верных приспешников.

Хафиз, сохраняя гордую осанку, поздоровался с эмиром легким наклоном головы, чем поверг всех присутствующих в изумление и растерянность.

Лишь эмиру не изменило самообладание; снисходительно улыбнувшись, он бросил находившемуся рядом с ним густобородому визирю:

— Ничего, необъезженного коня постепенно приучают к седлу. Послушаем-ка его пение,— так ли уж оно восхитительно, как говорят?

Хафиз, заняв место среди других музыкантов и певцов, затянул один из своих любимых макомов; голос его, сильный, глубокий, нежный, заполнил собой весь зал; эмир, заслушавшись, не отрывал глаз от хафиза; с трудом овладев собой, он устался в пол и с тревогой подумал: «Нет, не так-то просто будет надеть седло на этого гордеца».

Всех заворожило пение хафиза.

Песни сменились танцами. Эмир находился в приподнятом состоянии духа. Густобородый визирь объявил хафизу его повеление:

— Повезло тебе, братец. Твое пение пришлось по душе его величеству. Ты удостоен чести — с сегодняшнего дня услаждать досуг его величества.

— Я надеюсь,— почтительно наклонив голову, громко сказал хафиз, — его величество простит меня, если я отклоню эту честь.

Все были ошеломлены дерзостью певца; эмир даже приподнялся, впившись в хафиза пронзительным взглядом:

— Я думал, ты почтешь за счастье — радовать нас своим искусством!

— Согласен, ваше величество,— это большое счастье. Но достойна ли его моя скромная особа? Боюсь, голос мой слишком слаб для дворцовых залов.

На лице эмира появилось гневное выражение.

А придворный певец, которому грозила нищета, согласись хафиз с предложением эмира, подумал с благодарностью и горечью: «Ну, молодец! Другой бы, будь ему такая милость, землю целовал, благодаря бога за ниспосланное ему счастье. Не завидую я участи, которая его ждет...»

Эмир встал, и все поднялись следом, но визирь, которому властитель что-то сказал, жестом руки повелел всем сесть и поманил к себе хафиза. Когда эмир вышел из зала, визирь подтолкнул хафиза в спину:

— Следуй за ним! И проси у него прощения, глупец!

Шагая вслед за эмиром, хафиз старался не думать о том, что его ждет.

В мрачном помещении с земляным полом эмир остановился и оглянулся на хафиза:

— Значит, дворцовые залы для тебя слишком просторны?

— Простите меня, ваше величество, но я был искренен с вами.

— Что ж, мы можем подобрать для тебя более подходящее место, где шея твоя согнется, как у всех, кто заточен в зинданы.

В помещении, которое эмир со зловещей усмешкой обвел рукой, царил гнетущая тишина. Хафиз вздрогнул:

— Так это тюрьма, ваше величество?

— Да, здесь в глубоких зинданах томятся строптивцы, не пожелавшие покориться моей воле.

— Неужели же в ваших владениях столько непокорных?

— В могилах — они уже покорные. Вот они,— эмир кивнул на невесть откуда взявшихся нукеров и тюремщика, теснившихся чуть поодаль,— опускают в зинданы живых и уносят отсюда мертвецов. Последних куда больше, чем первых, уверяю тебя.

Злобная усмешка исказила лицо эмира. Нукеры, казалось, только ждали повеления своего властелина.

Стараясь придать своему тону как можно больше естественности и непринужденности, хафиз проговорил:

— Вы не жалеете себя, ваше величество, обрекая на муки свою душу, свою совесть.

— Ты думаешь, невежественной черни так дорог мой душевный покой? — раздраженно произнес эмир. — Тебе, например, — дорог?

— Дорог, дорог, ваше величество, — поспешил заверить его хафиз, — Когда у властителя покойно на душе, всем от этого лучше, и ему самому тоже.

Эмир подвел хафиза к дыре, ведущей в зиндан; хафиз заглянул в черную глубину и, выпрямившись, подняв голову, спокойно посмотрел на властителя:

— Жизнь человеку дарована аллахом, уже поэтому надо ее ценить. — Он кивнул на зиндан. — Там, наверно, темно и сыро?

Эмир рассмеялся:

— Не бойся, этот зиндан уже занят.

— И кто же там заточен?

— Музыкант — вроде тебя.

— И вина его так тяжела, что ему нельзя было избежать зиндана?

У эмира потемнел взгляд:

— Он сказал в наш адрес оскорбительные слова.

Тут хафиз вспомнил, что уже слышал от кого-то о смелом музыканте, который до того был возмущен деспотизмом эмира, что назвал его «бешеным верблюдом». Эмиру донесли об этом, и смельчак угодил в зиндан.

С мягкой улыбкой хафиз заметил:

— Может, это была просто неудачная шутка?

Эмир насупился:

— Ты, кажется, хочешь добиться, чтобы и тебя сунули в зиндан?

— Я не достоин такой чести, ваше величество...

— А мне думается — более, чем достоин. В зиндане ты сможешь распевать свои песни, сколько душе угодно.

— Боюсь, песням в зиндане не уместиться, — и они вырвутся наружу.

«На что это он намекает? — подумал эмир, испытующе вглядываясь в открытое лицо хафиза. — Удивительно, он словно и не страшится того, что его могут бросить в темницу. Другой бы на его месте целовал мне ноги, моля о снисхождении, а он улыбается, как дитя. Может, он просто глуп? Да нет, не похоже. Или это певец черни, готовый на бунт, и так спокоен потому, что опирается на ее силу? Как бы не вспыхнули беспорядки, если я сгною его в зиндане. Все ведь сочтут его невинной жертвой! Ладно. Пусть пока разгуливает на свободе. Расправиться с

ним никогда не поздно».

И эмир сделал вид, что смягчился:

— Цени наше великодушие, певец, мы даруем тебе свободу, но советуем не злоупотреблять ею...

Благополучно вырвавшись из когтей эмира, хафиз задумался о причинах, заставивших жестокосердного властителя сменить гнев на милость. В ту пору в эмирате было неспокойно. Среди подданных эмира множилось число недовольных его правлением. Бунтари обосновались в горах, совершали оттуда набеги на города и кишлаки, захватывали в качестве заложников должностных лиц и отпускали их лишь в обмен на своих товарищей, брошенных в зинданы.

Хафизу дважды довелось побывать у этих бунтарей, взбодрить их сердца своими песнями. Тогда-то он и убедился, что вот эти люди, поднявшиеся против эмирского гнета, самоуправства, жестокости, и являются силой, которая держит тирана в постоянном страхе. Время от времени эмир пытался даже заигрывать с простыми тружениками, называя их в своих речах «моими возлюбленными детьми», «моим дорогим народом».

Когда хафиз вернулся однажды из дальней поездки, его друг, которого все именовали «аксакалом», сообщил ему, что эмир вознамерился устроить во дворце состязание певцов, пригласив на него известных своим мастерством исполнителей из всех провинций.

— Что ж,— сказал хафиз,— грех не принять участие в таком состязании.

— Ты сам лезешь в западню! — испугался за него ДРУГ.— Эмир не упустит случая упрятать тебя в зиндан.

— Что же мне — из страха перед зинданом расстаться со своими песнями? Нет, друг мой, танбур и песня — это оружие в моих руках, и я не собираюсь его сложить.

Во дворце собралось множество певцов, с иными хафиз даже не был знаком. Он выбрал свое среди них место, откуда его голос был бы хорошо слышен.

Эмир переводил испытующий взгляд с одного певца на другого: когда он увидел хафиза, в больших его глазах мелькнула усмешка. Хафиз же оставался спокойным, с любопытством наблюдал за гостями, прибывшими сюда и из окрестных селений, и издалека; его, казалось, не слишком-то заботила собственная участь, и он не думал о том, что сулит ему участие в состязании. Это его хладнокровие бесило эмира, не

терпевшего тех, кто в его присутствии держался свободно и непринужденно.

Начались выступления певцов.

Первый из них, в длинном камзоле, застегнутом на все пуговицы, в белой шелковой чалме, представ перед эмиром, отвесил ему низкий поклон, чуть не коснувшись своей чалмой пола. Затем, помолившись о благополучии эмира, он попросил у него разрешения — приступить к пению. Голос у него оказался довольно слабым, лишенным приятности, но мелодию он выводил с изощренным мастерством — и как только закончил петь, эмир одарил его покровительственной улыбкой и похлопал в ладоши. Все поздравили певца, густобородый визирь надел на него парчовый халат и вручил ему кошелек с золотыми монетами, а сам певец, благодарно кланяясь, пожелал эмиру долгой жизни на благо его подданных и вновь за него помолился.

После этого с места поднялся незнакомый джигит, стройный, чернобровый и черноглазый, с открытым, смелым выражением смуглого лица. Поклонившись эмиру, он ударил по струнам тара и запел высоким звенящим голосом; он пел, полузакрыв глаза, и в этот момент для него в мире не существовало ничего, кроме исполняемой им мелодии; он даже не сразу услышал сдержанные аплодисменты эмира и его приближенных, оборвавшие песню, а когда понял, что продолжения песни никто не ждет,— растерянно оглянулся по сторонам и, опустив голову, быстрыми шагами вышел из зала.

У хафиза защемило сердце. Он решил по-своему отомстить за оскорбленное достоинство певца-джигита,— показать, что такое настоящее искусство.

Грянули звуки танбура, словно вызывая всех на бой, и привольная песня взмыла под дворцовые своды, заставив всех притихнуть. Чарующий голос хафиза подействовал и на эмира, на лице его было написано блаженство, он чуть покачивался, и все присутствующие стали покачиваться в такт мелодии, подчинившись ее власти.

А хафизу чудилось, будто сам муаллим Навои стоит перед ним, опираясь на палку, и улыбается — поощрительно и вдохновляюще.

*О, черноглазая моя, не будь жестокой, снизойди
До мук моих и навсегда в глаза и в сердце мне войди.*

Когда отзвучала последняя нота — зал походил на огромную,

ритмично колыхавшуюся колыбель...

Первым пришел в себя эмир; все еще находясь в благостном состоянии, он хлопнул в ладоши; густобородый визирь, вскочив с места, накинул на хафиза парчовый халат, принесенный слугой, и насыпал ему с подноса в ладони пригоршню золотых монет.

Удивленный таким неожиданным для него оборотом дела, хафиз поклонился эмиру и, твердо, уверенно ступая по ковру, удалился из зала.

Он не слышал жесткого смешка, клокотнувшего в горле эмира.

Не успел он дойти до своего дома, как его нагнал посланный эмиром слуга и привел назад, но не в дворцовый зал, а в темницу, где хафиза уже поджидал властитель, стоявший возле одного из зинданов.

Встретившись с просветленным, искрящимся улыбкой взглядом хафиза, эмир удивленно поднял брови:

— С чего это ты так весел?

— А как же, ваше величество,— готовно ответил хафиз,— ведь бежали мои враги.

— Враги? Кто же это?

— Печаль и уныние, ваше величество. Их прогнала песня.

Кусая губы, эмир думал: «Может, он и вправду блаженный? Вот уж вторично стоит он у зиндана, на краю гибели, а выглядит еще более веселым и дерзким, чем в прошлый раз. Неужели он не ведает, что его ждет? А если догадывается, то почему не целует полы нашего халата, не молит о пощаде? Нет, он явно из бунтовщиков и надеется на помощь своих друзей».

Чтобы испытать его, эмир спросил:

— Скажи нам, хафиз, положи руку на сердце,— тебя н в самом деле не страшит зиндан?

— Вы, конечно, хотели бы, ваше величество, чтобы я боялся. Вам ласкают слух вопли и мольбы узников. Но я и в зиндане буду петь. Вот хотя бы этот маком.

И хафиз запел:

*О, друг, когда умру, омой
Мне тело розовой водой,
И саван на меня набрось
Из лепестков нежнейших роз...*

Стены темницы, казалось, расступились, давая простор легкокрылой мелодии, она свободно парила в затхлом воздухе, но эмиру сейчас не доставляла удовольствия, у него было такое ощущение, будто песня ястребом набрасывается на него, терзая ему сердце. Сам хафиз, стоящий перед ним, виделся ему дивом из страшной сказки; и, закрыв ладонями уши, эмир закричал:

— Уберите его прочь с моих глаз! В зиндан его, в зиндан!

Тюремщик мигом исполнил его повеление, но когда эмир отнял руки от ушей,— в них ударила мелодия, которая, чудилось, обрела еще большую силу; она нападала на него, жалила, как оса; она гналась за ним, когда он, снова зажав уши ладонями, бросился бежать из темницы.

С этой минуты эмир потерял покой и сон. Стоило ему задремать, как в ночных видениях являлся ему хафиз в образе дива и громко, торжествующе смеялся, и песня ястребом витала над эмиром.

В конце концов, он не выдержал и, призвав к себе визиря, приказал:

— Выпусти его из зиндана, и пусть убирается на все четыре стороны!

Густобородый визирь, вытащив из зиндана упрянца- хафиза, хмуро сказал:

— Прочь отсюда! И прекрати петь!

Хафиз засмеялся ему в лицо:

— Я же говорил, что песня не умещается в зиндане. И как я могу не петь, если песня — это свет, а свет нельзя погасить! Я пою не для вас, а для народа, которому песня нужна, как воздух.

К тому времени, когда хафиз снова очутился на свободе, здание старого мира уже трещало по швам, и достаточно было нового урагана, чтобы оно рухнуло, погребя под своими обломками деспотов и тиранов.

С гор спустились повстанцы, они штурмовали город; на помощь им пришли солдаты свободы — красные аскеры; город оказался в окружении; около недели длился жестокий бой, увенчавшийся победой народа, в руки которого перешли и город, и эмирский дворец.

Восторжествовали свобода и справедливость, и народ отметил это веселым празднеством, украшением которого были и песни хафиза.

* * *

Когда жена принесла хафизу чай, он сидел на сури, чуть покачиваясь, и вполголоса напевал что-то. Посмотрев на него с

сочувствием, жена сказала:

— Вы бы отдохнули...

Но хафиз, думая о своем, с воодушевлением произнес:

— Вот уж верно молвится,— нет худа без добра. Когда мы в последний раз виделись с эмиром, я, стоя у зиндана, запел «Черные глаза», и голос мой зазвучал неожиданно высоко; до сих пор удивляюсь, как это у меня получилось. Помню, эмир тогда вышел из себя. А мне стало ясно, что я еще не достиг нужного звучания этого отрывка. Сколько прошло уж времени, а я все продолжал искать нужную тональность. Вот, послушайте.

Он пробежал пальцами по струнам танбура, и нежной горлицей сорвалась с его уст песня, в которой слышалась мольба влюбленного, с тоской ожидающего свидания с любимой:

*О, черноглазая моя, не будь жестокой, снизойди
До мук моих и навсегда в глаза в сердце мне войди.*

— Подумайте,— продолжал хафиз,— сколько веков пленяет слух и душу человека эта газель, в которой представлен высокий образец любви к женщине, почитания любимой, верности ей... Какая тут чистота чувства, пронзительная нежность, совершенство формы...

Хафиз положил танбур рядом с собой, задумался о чем-то, и вскоре его сморил сон, он так и задремал с медиатором на пальце.

Жена улыбнулась и покачала головой:

— Боже, до чего неугомонный человек, все не может успокоиться, все думает, как принести радость людям...

II

Еще не ушла ночь, когда он попрощался с женой; и даже в эти последние минуты жизни не изменил своей привычке — шутил, бодрился...

И вот он лежит на супа, недвижимый, безгласный; на нем одеяние, в котором уходят в вечность, на голове новая тибетейка, сверху он накрыт бекасамовым халатом.

Во дворе толпится народ; многие подпоясаны бельбагами, опираются на палки; и все охвачены скорбным молчанием.

Только жена покойного все качает головой, словно не веря в

случившееся: как же, вроде здоров был, и вдруг...

В каком-то недоумении она рассказывает:

— Он попросил воды, я принесла, а он уже отошел, и на лице улыбка, тихая такая, светлая... Вчера еще был такой оживленный, все говорил и петь пробовал, и вот покинул нас, оставил — в слезах, в печали...

Когда пришли люди, которые должны были нести носилки с телом покойного, двор огласился плачем женщин и детей, но вдова жестом призвала всех к тишине; открыв лицо хафиза, она еле слышно заговорила:

— Перед смертью он успел сказать мне... Мол, прежде, чем меня похоронить, пусть мне дадут полежать на супа, в последний раз полюбоваться небом... И накажите всем, чтоб не плакали, а проводили меня в последний путь с песней. Он не любил, когда люди плакали...

Но сама с трудом говорила, слезы душили ее, горе переполняло ее сердце; она отошла в сторону, видно было, что она еле держится на ногах; поникшая, с опущенными плечами, она походила на бескрылую птицу; но, выполняя последнюю волю мужа, изо всех сил сдерживалась, чтоб не разрыдаться.

Хафиз покоился на супа, глядя в небо мертвыми глазами. Небо было чистое, прозрачное, и оттого казалось глубоким и бескрайним.

Внезапно зазвучала музыка, в небо взмыла песня, нарушив скорбную тишину и словно унося с собой в беспредельный голубой простор уныние и печаль, которые хафиз когда-то назвал своими врагами.

Лица собравшихся просветлели, и даже вдова хафиза невольно стала покачиваться в такт мелодии.

Песни следовали одна за другой, воспаряя все выше и выше, и когда похоронная процессия тронулась в путь, песни вскипали то в первых рядах процессии, то в ее гуще, то мелодию подхватывали шедшие последними.

Число людей, явившихся проводить своего любимца, все росло, вскоре уже казалось, что нет конца людскому потоку.

Лишь двое, имам и кари, брели в сторонке, а потом вообще отстали от процессии.

Имам, в недоумении пожимая плечами, осуждающе проговорил:

— О, господи, что же это творится! Одного из уважаемых наших аксакалов хоронят с песнями. Такого я еще не видывал за всю свою

жизнь. Не иначе, кари, как наступает конец света.

— Не понимаю вас, почтеннейший...

— Я хочу сказать: ведь он божий раб, и на его похоронах должно соблюдать религиозный обряд.

— А он вот пожелал, чтобы его похоронили по-нно-МУ<— возразил кари,— и, как знать, может, господь внушил ему это желание. Ведь верой покойного была песня.

— По-вашему, бог повелел мусульманам вместо того, чтобы творить молитву, петь песни? — Имам даже хихикнул, будто от щекотки.

А кари гнул свое:

— Я просто сказал, что на все божья воля.

Имам взглянул на него с удивлением.

А со стороны кладбища до них доносилась песня.

И пока совершался ритуал захоронения, в воздухе лились макамы, которые хафиз бережно собирал и искусно обрабатывал в течение долгих лет, и песни, сочиненные им самим.

Близкие, друзья, почитатели хафиза медленно расходились.

Один из стариков, вздохнув, сказал своему спутнику:

— Много же народу пришло проводить его. Не каждому выпадает такая честь.

— Хафиз заслужил ее всей своей жизнью. Он оставил нам песни, которым звучать — в веках.

А песня все рвалась в небо...

1950

Мумтаз Мухаммедов
р. 1908

ЖИЗНЬ – ЗАНОВО

Война кончилась, и вот я уже целую неделю дома. Как во сне, брожу по улицам родного Ташкента, не в силах поверить, что все страшное — ожесточенные бои, кровь, гибель товарищей — позади...

Вернувшись домой, я хотел переодеться в штатское, но оказалось, что в тяжкую минуту жена вынуждена была продать оба моих костюма, и теперь их носит один из тех, кто наживался на народной беде. Как описала мне его жена,— «мордастый такой, здоровяк, с румянцем во всю щеку». Он отсиживался в тылу, когда советские воины вели смертельную битву с фашистами... А, ладно, придет срок — мы еще прижмем их к ногтю. Если уж фашизм победили, то с доморощенными скорпионами как-нибудь справимся. А без костюмов пока можно обойтись. Что может быть дороже военной формы? Я разгуливал по городу в офицерском кителе, с которого были спороты лейтенантские погоны; на голове красовалась тубетейка. Китель, правда, был не новый, выгорел, полинял от времени, да что с того? Он за годы войны стал как бы частью меня самого, вместе мы мокли под дождями, зимой мерзли в окопах, прижимались к сырой земле, спасаясь от свинцового ливня, от осколков, с визгом проносившихся над нами... Какой солдат не гордится одеждой, в которой он прошел под пулями, снарядами славный боевой путь?

Жизнь моя походила на сказку. Как часто, в передышках между боями, мечтал я о той заветной минуте, когда перешагну порог родного дома, обниму жену и детей, напьюсь воды из арыка, журчащего в моем дворе. И вот все сбылось, и я шагаю по своей махалле, и соседи радушно приветствуют меня:

— Здоровья вам и благополучия! Да снизойдет на ваш дом божья благодать!

— Пусть судьба моего сына будет такой же счастливой, как ваша, уважаемый сосед!

Пожилая женщина, обращаясь к молодухе, сказала:

— Невестушка, дай фронтовику подержать внучонка,— и да вернется домой мой муж целым и невредимым!

Я взял мальчика, легонько подбросил его, с улыбкой пожелал:

— Пусть поскорее возвращается твой дед, малыш!

А вот еще двое ребятишек. Оба исхудавшие, в заплатанных штанишках. Присев на берегу арыка, они лепили из глины катышки, похожие на самсу, и, судя по голодному блеску их глаз, им очень хотелось бы, чтобы самса в их ручонках была настоящая.

У меня защемило сердце. Я знал их отцов, и знал, что малышам уже никогда их не дождаться. Мы похоронили обоих в чужой земле, на подходе к Одеру. Свежую могилу увенчала деревянная пирамидка с пятиконечной звездой. Бойцы батальона под командованием майора Абдурахманова дали из автоматов прощальный залп. А вокруг могилы отливала изумрудом первая трава, пряча под собой следы тяжелых танковых гусениц.

Сколько же я встретил в своей махалле женщин, одетых в черное! И я думал: изверги, обездолившие их, достойны самой страшной кары,— чтобы фашизм никогда больше не возродился!

Вдоволь набродившись, я поворачивал к дому... И его потрепали невзгоды военной поры. Дувал во многих местах обвалился, в крыше зияла дыра, словно раскрытый зев голодного зверя. Сад запустел: жене и детям некогда было ухаживать за виноградником, яблонями, айвой, урюковыми и персиковыми деревьями. Казалось, они тоже осиротели...

Своей запущенностью дом и двор напомнили мне разоренный немецкий фольварк, который весенним утром занял наш батальон. Мы сидели с майором на броне обгоревшей «Пантеры», вспоминали Ташкент. Я мечтательно проговорил:

— Дома-то сейчас такая красота! Теплынь, все цветет...

Абдурахманов с укоризной покачал головой:

— Скажете тоже! Красота... А вы представьте себе тРаУР на женщинах, чьих мужей мы похоронили за эти годы.. Вот и сегодня сколько бойцов погибло... Черные вести придут их женам. А сыновья их, вместо того, чтобы учиться, предаваться ребячьим забавам, от зари до зари работают на заводах, на хлопковых полях. Горькая для всех эта весна... П наш долг: сделать ее победной, поскорей покончить с войной.

Его подозвали к телефону; после короткого разговора он повернулся ко мне:

— Это насчет вас звонили, товарищ газетчик. Комдив приказал вам оставаться в моем батальоне до тех пор, пока мы не форсируем Одер. Чувствуете, как заговорило начальство? Форсировать Одер! Словно речь идет о прогулке по набережной Анхора. А что? И дойдем до

этой проклятой реки, и перемахнем через нее...

И мы дошли до Одера, оставляя на своем пути деревянные пирамидки с пятиконечными звездами,— как скорбные верстовые столбики...

Об этом походе и о многих других я рассказывал многочисленным гостям, заполнявшим по вечерам мой дом. Меня слушали, затаив дыхание, а при упоминании о пирамидках иные украдкой утирали слезы. Женщины плакали, не таясь.

Зная, как скромнен мой дастархан, гости приносили с собой продукты, полученные по карточкам: хлеб, слипшиеся конфеты, безвкусную халву. Я представлял себе, какие тяготы выпали на их долю: жили впроголодь, трудились, позабыв об отдыхе, отрывали от себя последнее, чтобы послать нам на фронт. Вот — подлинный героизм! А они глядели на меня, как на сказочного богатыря, и мне было совестно перед ними...

Помню, один из моих друзей, прощаясь со мной у калитки, сунул за голенище моего сапога небольшой плоский сверток и поспешно удалился. В свертке я обнаружил двенадцать сторублевок и записку: «Уж не сетуй на меня, дорогой, надо было бы в честь твоего благополучного возвращения с фронта закатить пышный той, но сам видишь, сейчас не до тоев. И пока не устроишься, воспользуйся этими деньгами, которые я копил специально для тебя; правда, хоть размер у ассигнаций большой, да цена им невелика. Все же купи себе что-нибудь на них...»

Это тоже был подвиг — подвиг доброты...

На первых порах мне действительно приходилось туго. Но больше всего я был удручен тем, что меня никак не хотела признавать младшая дочка. Оно и неудивительно: когда меня призвали в армию, ей было всего семь месяцев, а по возвращении я застал ее уже иятилетней. Не в пример старшей сестренке, она отличалась непоседливостью, шустростью; когда я посадил ее на колени, она принялась вертеть пуговицу на моем кителе; наклонившись к ней, я сказал:

— Что же ты не обнимешь своего отца, доченька?

Дочурка засмеялась; соскочив с колен, отбежала

в сторону и, тыча пальчиком в сестру, звонко крикнула:

— Вы ее папа! А я мамина дочка.

А ведь она так ждала меня!

Осенью 1944 года один мой боевой товарищ был откомандирован в

Ташкент, на юбилейные торжества по случаю двадцатилетия Советского Узбекистана. Я передал с ним немного продуктов для своей семьи. И вот что он потом написал мне: «Вашу Гульшан я встретил на улице, она с мальчишками, возрастом постарше, играла в войну. Я хотел подойти к ней, сказать, что я пришел от ее папы, но детвора опередила меня, мальчишки закричали: «Эй, Буденный, гляди, вон твой отец!» Девочка замерла на мгновение и вдруг кинулась ко мне со всех ног с радостным возгласом: «Папа, пана!» Что мне оставалось делать? Я обнял ее и не смог удержаться от слез. Тут, на счастье, появилась ваша жена, недоразумение разрешилось, но видели бы вы, какими глазами смотрела на меня Гульшан, с какой недетской печалью!»

Так бывало еще не раз: чужих мужчин в военной форме Гульшан принимала за отца. А вот настоящий отец первое время был для нее чужим.

Я огорчался, но утешал себя тем, что не пройдет и нескольких дней, как дочь привыкнет ко мне.

Почему-то мне припомнилась одна страшная сцена — там, на берегу Одера. Белокурая девчушка, прильнув к трупку молодой женщины, тихо, настойчиво звала:

— Муттер, муттер...

Как выяснилось, женщину расстреляли эсэсовцы за то, что она вывесила на своем доме белый флаг. А отец девочки погиб еще в дни боев на полуострове Контантен.

И рядом с этой бедой, одной из многих трагедий войны, мои огорчения показались мне пустяжными.

Гульшан и правда вскоре начала называть меня «папой». И однажды мы отправились с ней на базар. Какими запахами там веяло! Прилавки ломались от обилия овощей и фруктов. Рай, сущий рай! Только вот цены в этом раю были адские...

Я решил купить дочке полкило клубники. Торговка поинтересовалась, нет ли у меня с собой «тары», и когда я отрицательно покачал головой, взяла из пачки, лежавшей рядом с клубникой, лист бумаги и свернула из него кулек, сожалеюще приговаривая:

— Бумага-то нынче на вес золота...

Дома Гульшан набросилась на клубнику, красный сок стекал с ее подбородка на белое платье, вскоре по нему расплылись алые пятна, и мне это напомнило марлевую повязку на свежей ране... Я никак не мог

отделаться от сравнений и воспоминаний, связанных с войной!..

Теща, глядя на Гульшан, улыбнулась:

— И сладостна же ваша дочка! А клубника — любимое лакомство.

Я в это время машинально разворачивал опустевший кулек, весь в розовых разводах. На листке бумаги было что-то написано; правда, буквы уже поблекли, размазались. Но легко было догадаться, что это страница чьей-то рукописи. Я пригляделся внимательней — и остолбенел: как же я сразу не узнал свой почерк? И текст знакомый: перед войной я пять лет корпел над романом, но не закончил его, война надолго оторвала меня от работы. Но как попал листок из моей рукописи к рыночной торговке? И где остальные? Неужели в пачке, лежавшей на прилавке?

Видя, как я взволнован, жена встревожилась:

— Что с вами?

Я протянул ей листок, запачканный соком клубники:

— Моя рукопись... Помните, я роман писал? Листок — оттуда...

Теща моя, видимо, что-то сообразила, лицо ее сморщилось, на глазах показались слезы:

— Сынок... Уж прости меня, темную старуху! Моя, моя это вина!

Я посмотрел на нее с недоумением, а она принялась торопливо объяснять:

— Перед твоим приездом это случилось... Дочки дома . не было, а мимо проходила женщина с корзинкой клубники. Внучка как увидела клубнику, так в рев: бабушка, купи мне клубнички! Я ж говорила, как она охоча до этой ягоды. И уж так мне хотелось ее ублажить... А денег ни копейки. Тогда женщина и спрашивает: а нет ли у

вас ненужной бумаги? Я бы поменяла на нее клубнику...

— И вы отдали ей мою рукопись?

Я, видно, сорвался на крик,— жена взглянула на меня испуганно, а теща, всхлипнув, опустила голову:

— Да, сынок, попутал нечистый... Вспомнила я, что в подвале давно валяется связка бумаги, уж пылью успела покрыться. Я спустилась туда и...

Я только рукой махнул: мол, не стоит продолжать, все ясно.

На душе у меня кошки скребли... Надо ж стрястись такому! Сколько раз я думал на фронте: вот вернусь живым-здоровым домой и допишу роман. И перед моим мысленным взором возникал образ главного героя, замечательного человека, славного сына Узбекистана, настоя-

щего героя нашего времени — Мирзаджана. Когда я работал над романом, мне почти ничего не приходилось выдумывать: героя я взял из жизни, был близко знаком с ним, от него самого узнал его биографию. Закончив Ташкентский медицинский институт, Мирзаджан попросил направить его в глухой кишлак. Там он не только лечил людей, но и боролся за их духовное обновление, отважно воевал с мрачными предрассудками прошлого. И труд, и жизнь его были поистине подвижническими...

С героем романа я расстался, уйдя на фронт,— а с самим Мирзаджаном случайно встретился в одном из военных госпиталей, куда наведалься по заданию газеты. Он вышел из бревенчатой избушки, над дверьми которой была прибита дощечка с надписью: «Операционная». Лоб Мирзаджана был покрыт испариной, белый халат забрызган кровью. Мы поздоровались, и я спросил:

— Значит, и вы воюете, Мирзаджан?

Он только кивнул мне в ответ, в эту минуту ему, видно, было не до разговоров.

Позднее мне рассказали, что как раз перед нашей встречей Мирзаджан проделал уникальную операцию: из бедра раненого извлек... небольшую мину. Он передал эту диковину санитару, тот неосторожно встряхнул ее, и мина взорвалась у него в руках. Узнал я о Мирзаджане и многое другое, и мне уже рисовалось продолжение романа: знаменитый хирург — на фронте...

Вот тебе и продолжение... Нечего теперь дописывать: листки рукописи разошлись по чужим рукам. Не случайно мне, наверно, вспомнился эпизод с миной: один человек был спасен, другой погиб. Я жив, а роман мой убит войной. И на единственной оставшейся у меня страничке — алые пятна... Целых пять лет каторжного, но такого сладостно-увлекательного труда вырваны из моей жизни... Я разглядывал страничку, лежавшую передо мной на письменном столе и похожую на обрывок окровавленного бинта, и горло мне перехватила спазма, трудно стало дышать...

Но тут же я пристыдил себя. Опомнись, лейтенант! Что ты, как истеричная девица, оплакиваешь утерянную рукопись? Такая ли уж это невосполнимая потеря? Оглянись назад, в недавнее прошлое...

Мы шли к Одеру.

От лейтенанта Реброшвили, командира стрелкового батальона, командование требовало продвижения вперед, но гитлеровцы,

закрепившиеся на стратегически важной высоте, плотным огнем прижали батальон к земле. Над головами солдат свистели пули и осколки от рвущихся мин и снарядов. Все понимали, что до конца войны остается совсем немного, в весеннем воздухе уже чувствовалось пьянящее дыхание Победы. И так хотелось дожить до нее! Самому комбату не исполнилось еще и двадцати, у него был богатырский размах плеч — и совсем детское лицо. Но когда он получил приказ: любой ценой взять высоту, он поднялся во весь свой могучий рост и повел своих богатырей вперед — навстречу верной смерти. Они взяли высоту — ценой молодых своих жизней...

Мы шли к Одеру.

Майор Абдурахманов показал мне его на карте; проведя пальцем по голубой извилистой линии, которая бежала к Балтийскому морю, с какой-то яростью сказал:

— Вот он, проклятый.

Вскоре я увидел Одер воочию. Вечерний сумрак окутывал реку и высокие берега, легкий туман навис над водой, стояла тишина — грозная, зыбкая... Но вот ее распороли первые выстрелы, и в расположении нашей части начали рваться снаряды.

— Огрызаетесь, сволочи! — засмеялся один из солдат, веселый джигит из Шахимардана.— Стреляйте, стреляйте, все равно вашему Гитлеру — капут.

Фашистская гадина еще извивалась в смертной агонии, но на исходные позиции с грохотом выползали наши танки, саперы готовились наводить понтонные переправы, зарываясь в землю пехота — царица полей, многострадальная труженица войны — ждала своего часа. И час этот грянул — после того, как наша артиллерия обрушила на противоположный берег массированный огонь, советским войскам удалось переправиться через Одер.

Но этого уже не увидели ни веселый паренек из Шахимардана, ни многие его боевые товарищи. Чужая земля приняла их бездыханные тела.

Пирамидки, пирамидки...

Дорого мы заплатили за то, чтобы в мире восторжествовала весна...

Так какого же черта терзаюсь я над страницей из утраченной рукописи? Мы победили свирепого врага — это сейчас главное. Да и какой ныне прок от моего романа? Сама жизнь, беспощадный критик, перечеркнула его. Мой герой, Мирзаджан, изменился за минувшее

время, его характер и душа обрели новую красоту. И в его прошлом я наверняка найду важные черты, которые не заметил ранее. Ведь на это прошлое я взгляну с высоты сегодняшней, послевоенной, победной поры! Рукопись устарела, о Мирзаджане надо уже писать по-иному, садись за стол, лейтенант, и начинай все с белого листа.

Ведь и жизнь началась — заново.

Простая эта мысль потрясла меня.

За дело, лейтенант! Ты в неоплатном долгу и перед Мирзаджаном, майором Абдурахмановым, юным лейтенантом Реброшвили, джигитом-балагуром из Шахимардана, перед всеми, кто сражался с фашистами, не щадя ни крови, ни жизни своей. Ведь это благодаря им ты остался в живых, смог вернуться домой, чтобы вновь взяться за свой каторжный, сладостно-увлекательный труд...

И ты все должен сделать, чтобы никто не был забыт...

Я вышел из кабинета в общую комнату. Со двора доносился залиvistый смех Гульшан. Жена и теща поглядывали на меня с виноватым видом. И удивились, когда я с улыбкой сказал им:

— Не огорчайтесь, дорогие, ничего страшного не произошло. Жизнь только еще начинается...

И вот я снова — в пути.

Ведь что такое писательский труд? Это долгий нелегкий путь, с короткими привалами и передышками, с победами и поражениями, с глубокой разведкой новых слоев действительности, с атакующими рывками вперед, с радостными встречами — и горькими расставаньями... Как напоминает он мне наш поход к Одеру!..

1951

Ибрагим Рахим
р. 1916

УСЫ, НЕРВЫ И ШАГОМЕР

Когда закончилась уборка хлопка, то, как обычно, многие наши колхозники начали готовиться к поездке в Ташкент за покупками.

Дело в том, что в нашем кишлачном магазине есть товары из многих стран мира. Смекалистые люди из Ташкента и других городов специально приезжают к нам, чтобы купить сверхмодные плащи, пальто, платья, костюмы, обувь и так далее. Уж чем-чем, а модным ширпотребом наш кишлак обеспечен полностью. А вот некоторые очень популярные у нас товары — ну, там, красивый платок, яркий материал на халат, удобную, как говорится, на каждый день, обувь — попробуй, купи! И приходится ташкентским модникам ехать к нам, а нам — к ним. Ну, да мы не особенно сердимся на нерасторопных торговых работников — все-таки из-за них мы лишний раз в Ташкенте побываем, — а так, пожалуй, и не собрались бы.

Среди собирающихся ехать в Ташкент был и Таджибай; по прозвищу, «таджанг». Таджанг — значит нервный. Характер у Таджибая был очень вспыльчивый. У шоферов есть такое словечко — заводной. Таджибай заводился с пол-оборота, вспыхивая от одного слова, как сухая солома от спички. Хватался за свои усы (а они были красивые, он ими очень гордился), потом за сердце, начинал призывать аллаха, и далее в ход уже шли различные горячие слова и выражения. Теперь понятно, почему его прозвали «нервным»?

Так вот, Таджибай-таджанг собрал у себя дома общее семейное собрание по вопросу: кому что покупать в Ташкенте?

Семья у него была большая: шестеро детей, очень старая бабушка, племянница, оканчивающая институт в Москве.

Жена Таджибая, Хадича, в колхозе не работала: у нее и дома дела хватает.

— Если бы у меня, как у индусской богини, было восемь рук, — говорила Хадича, — то я, пожалуй, могла бы и в клуб ходить по вечерам, в кино и даже на танцы. Но раз у меня две руки, то придется ждать, когда младших ребят можно будет сдать в детсад, а старшие начнут помогать по хозяйству.

Это в городах, знаете, заведут себе двоих-троих детишек и уже

вздыхают: ах, как быть, ах, что делать, ах, как трудно! А у нас и десять детей не редкость, а никто не ахает и не охает.

Так вот, на общесемейном собрании Таджибай-таджанг принялся за составление списка покупок. Все шло хорошо до тех пор, пока речь не зашла о туфлях. Именно с туфель и начались необычные события, о которых мне хочется вам рассказать.

Хадича сказала так:

— Почему, дорогой мой Таджибай, вы хотите себе одну пару туфель и мне тоже одну? Тому, кто больше ходит, нужно купить не одну, а две пары.

— Молодец, женушка! — Таджибай от удовольствия даже свои замечательные усы распушил.— Я был уверен, что именно эти слова и скажешь. Конечно, теперь я со спокойной совестью куплю себе две пары туфель: одну — черную, другую... в общем, там видно будет.

— Э-э, Таджибай,— возразила Хадича.— Вы меня не поняли. Разве вы ходите больше меня?

— Как? Что ж, по-твоему, я...— Таджибай так удивился, что даже забыл возмутиться,— Да ты не заболела ли, Хадича?

— Спасибо, я здорова. Только любой скажет, что мне приходится за день ходить больше, чем вам.

— О аллах! — воскликнул Таджибай, начиная нервничать.— Эта женщина целый день дома, а я хожу по полям! И не на такси из конца в конец ежжу! Я, может, в день прохожу больше, чем солдат-пехотинец!

— Тогда ничего,— ответила Хадича,— ведь пехота вся теперь у нас механизирована.

— И как у тебя язык поворачивается сравнивать мою работу со своей!— вскричал Таджибай.— Я целый день на ногах!

— А я лежу, чай пью,— усмехнулась Хадича.

Но когда Таджибай-таджанг входит в раж, он уже никого не слушает, кроме самого себя.

«Я хожу меньше жены! О аллах! — он захохотал так, как хохочут в детских мультфильмах злые волшебники.— Это самое смешное, что я слышал за всю свою жизнь! Нет, я должен пойти в чайхану и рассказать этот анекдот всем друзьям. Уж и повеселю я их! Они меня будут целый месяц кормить пловом за такую шутку! Охо-хо-хо! Я мало хожу!.. Может, ты еще скажешь, что я вообще целые дни стою на месте? Что я совсем не двигаюсь?! Что я уже не человек, а столб? Ты это хотела сказать? Я столб! Спасибо, женушка! Подожди же!..»

Ну, действительно, что тут говорить — «таджангом» зря у нас в кишлаке не назовут!

После того, как вся семья целый час успокаивала Таджибая (ставила на проигрыватель его любимые пластинки, дочери танцевали; бабушка даже сказку начала сказывать), он немного остыл и, нервно поддергивая усы, молвил:

— Я все-таки должен рассказать об этом друзьям. Пусть и они повеселятся.

— А завтра с утра вместе со мной можете заниматься хозяйством и увидите, сколько я хожу,— сказала Хадича.

Таджибай ничего не ответил, только посмотрел на жену как-то странно: дескать, опять за свое, не заболела ли?

В чайхане друзья не спеша пили кок-чай, кричала перепелка в клетке («питпилдык, питпилдык»), местные острословы обсуждали взаимоотношения гангстеров и полиции в США.

Когда было выпито по одной-другой пиале чая и разговор перешел на воспоминания о тех днях, когда женщины кишлака снимали с себя паранджу, Таджибай, снисходительно улыбаясь, сказал:

— Э-э, почтенные, сейчас я вас повеселю. Как вы думаете, что мне сегодня сказала моя Хадича?

Догадки не заставили себя ждать:

— Что у тебя будет еще один сын!

— Что тебе давно пора сбрить усы!

— Что давно пора купить автомобиль!

Таджибай только посмеивался в ответ. А когда все предположения были исчерпаны, произнес:

— Она сказала, чтоб в Ташкенте я купил себе одну пару туфель, а ей две.

— Почему?

— Потому, почтенные, что она, видите ли, за день проходит значительно больше, чем я! — проговорил Таджибай.

— Недаром твою Хадичу считают большой умницей! — подзадоривая уже «заведенного» Таджибая-таджанга, сказал бригадир Гафур и подмигнул товарищам: — А вдруг она права?

Таджибай опешил, даже про чай забыл, стал перечислять все, что он делает за день (получилось, что он чуть не обегает дважды всю землю по экватору), и под конец заявил:

— Клянусь памятью моего отца: если выяснится, что я прохожу за

день меньше, чем моя жена, то сбрую свои усы!

Приятели зашумели:

— Бросьте пустые клятвы, почтенный!

— Кто же может в этом споре указать правого и неправого?

— Никто не может проверить, кто из вас прав.

— Почему? — спокойно произнес бригадир Гафур.— Проверить, кто сколько прошел за день, очень просто. Нужно купить шагомер. Это такие, вроде часов, приборчики, которые считают шаги. Шагомеры даже в нашем магазине продают — они лежат на верхней левой полке, рядом с консервами. Стоят дешево. Таджикибай купит шагомер — и все станет ясно.

Таджибай поклялся, что завтра же приобретет шагомер, и Хадича убедится, что ей за глаза хватит и одной пары туфель.

Ничего не говоря жене, он купил шагомер и весь день ходил с ним. Шла зимняя пахота (сельских работ в колхозе всегда хватает), так что к вечеру на шкале шагомера Таджикибай с удовольствием увидел пятизначную цифру, которую тут же и продемонстрировал в чайхане.

В воскресенье Таджикибай остался дома.

— Что с вами, мой дорогой муженек? Уж не заболели? — спросила Хадича, которую удивило, что Таджикибай никуда не пошел.

Но еще больше ее удивило то, что Таджикибай начал ходить за ней с самого раннего утра, не отставая ни на шаг. Хадича идет в сад — и он в сад. Она останавливает у тандыра — и Таджикибай остановится рядом. Хадича в магазин, и муж с ней шагает.

— Что с вами? Почему вдруг вас начали интересовать хозяйственные дела? — не переставала удивляться Хадича.— Или у вас других забот нет?

В конце дня она уже начала сердиться:

— Вы боитесь, что я сбегу от вас? Помнится мне, даже в молодости вы меня так не ревновали!

Таджибай бормотал в ответ что-то нечленораздельное, многозначительно вздыхал, хватался за усы, но не мог же он сказать жене, что проводит проверку. Попробуй скажи ей, она в два раза больше шагов делать будет.

Но Хадича ничего не подозревала — она ведь и о существовании такой штуки, как шагомер, не догадывалась.

Где-то во второй половине дня ноги у Таджикибая начали гудеть, как провода на ветру. Часам к шести вечера походка его начала

существенно меняться: ноги волочились, и попасть шаг в шаг с женой ему было очень трудно. Поскольку к восьми часам Таджибай уже не мог угнаться за Хадичой, то ему приходилось просто делать шаги на месте, благо шагомеру в принципе все равно: шаг вперед, шаг назад и шаг на месте — зачет одинаков. Дети удивленно смотрели на отца, который, следя взглядом за порхающей по дому матерью, топтался на месте, как дрессированный верблюд.

— Что с тобой, сынок? — спрашивала с тахты бабушка. — Что ты все время перебираешь ногами? Садись, отдохни.

— Производственная гимнастика... ох... считается лучшим средством... э-э... для сохранения бодрости... ох! — хватаясь за поясницу, отвечал Таджибай.

Когда после ужина встали из-за стола, то Таджибай еле-еле смог добраться до своей кровати.

Хадича же все еще хлопотала по дому, ее шаги слышались во дворе, в саду. Она успевала и телевизор посмотреть, и ребят уложить спать, и на завтра приготовить еду.

Таджибай уже не то что ногой, рукой не мог пошевелить. Едва-едва достал из кармана шагомер. Ого-го-го! Цифра шагов вдвое превышала ту, которую он с гордостью показывал друзьям!

Таджибай тотчас же перевел шаги в метры и ойкнул: получалось что-то вроде семидесяти километров! Расстояние от их кишлака до Ташкента? Хадича еще продолжала сноваť туда-сюда!

...Когда уже на заходе солнца Таджибай вернулся из Ташкента с покупками, то автобус, как всегда, остановился прямо против чайханы.

Пиалы замерли в руках приятелей, и недоуменные слова, как вздохи, вылетали из губ:

— Кто это? Вроде бы Таджибай!

— О аллах! Если это Таджибай, то где же его усы?

Зачем ему усы, когда у него шагомер есть? — усмехнулся бригадир Гафур. — Интересно, сколько же пар туфель он купил своей Хадиче?

Рахмат Файзи
р.1918

СВЕКРОВЬ

Тетушка Сабри прямо с поля зашла в детский сад. Она каждый день заходит за внуком. И всегда здесь шум и веселье. Девочки укачивают «дочек» и поют колыбельные песни. Мальчишки оседлали коней и скачут в неизвестность. А вот толстый шалун прицепил к паровозу вагоны, везет их вдаль и сам пыхтит рядом. Девочки прыгают через скакалку и, напрыгавшись вволю, берутся за мячи.

Тетушка Сабри видит все это ежедневно, и всю ее усталость как рукой снимает.

Она любит ходить сюда и раз навсегда договорилась с невесткой, что забирать внука из сада будет она, бабушка.

Воспитательницы приветливо встречают ее, приглашают посидеть. Тетушка Сабри садится и счастливо улыбается.

- Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Вот эта толстушка дочка Салтанатхон? Просто куколка, а сладкая какая! Дай бог здоровья. А наше детство...— Тетушка Сабри вздыхает.— Что мы видели? Кусок сухого хлеба, да и то не всегда. А кукол мы делали из тряпок. Каждый ребенок был лишним ртом в семье. Господи! Родила я своего старшенького, век не забуду. Мне же шестьдесят пять, а вспомню и сейчас плачу. Родила я его на рассвете. Бедная мама, всю ночь сидела около меня, она и приняла сына. Потом вскипятила самовар, налила мне чаю и достала из кармана кусочек пыльного сахара. Приберегла для меня. Свекровь вынесла две кукурузные лепешки. Мама, бедная, беспокоилась, меня нужно было накормить. Но говорить об этом она не решалась. А в доме у нас пусто. За день до родов я сама из остатков муки испекла кукурузные лепешки.

Я сильно ослабла. И тут пришел муж и принес что-то в беленьком мешочке. Отдал свекрови. Свекровь накинулась на него:

— Ага, для жены деньги нашлись, а я вчера попросила, так не было.

Муж молча вышел. А рассерженная свекровь принялась готовить мне жидкую затируху из пшеничной муки, которую где-то достал муж. Но разве я могла есть?— Тетушка Сабри вздохнула.— Вот так мы и жили.

— Ваша свекровь была такой жадной? — спросила молоденькая

воспитательница.

— Тогда и мне так казалось. Она все время была недовольна, ворчала, всего боялась. Сейчас я сама свекровь и понимаю: нельзя было ее винить. Все из-за бедности. Вот у меня не одна, а три невестки. Младшенькая со мной живет. Разве я могу пожалеть для нее что-нибудь, дай бог ей здоровья. У нас все есть, и в голову не приходит жалеть. Засиделась я с вами, пора домой,— сказала тетушка Сабри.

Она позвала внука.

— Домой, да, бабушка?

— Скорее, сынок.— Она взяла Кабулджана за руку и вышла на улицу.

И вот идут они — бабушка и внук. Бабушка моложавая, румяная, а внук, крепенький, смуглый, бежит впереди. И вспомнила тетушка Сабри детство своего младшего сына — отца Кабулджана. Уж очень похож мальчик на отца.

...Тетушка Сабри с четырехлетним сыном на руках шла на первое собрание членов колхоза «Солнце Октября». Собрание закончилось поздно, на улицах темно, а ей во что бы то ни стало нужно попасть домой. Ребенок давно заснул у нее на плече, а тут пошел дождь. Она пошла быстрее и попала в арык. Ребенок заплакал. Тетушка Сабри быстро подняла его,— слава богу, ребенок не ушибся. Она успокоила его, и Сабирджан, снова засыпая, все показывал на ножку. Оказывается, в грязи потерялась одна калоша. Она долго искала ее в темноте, но так и не нашла. До своего кишлака тетушка Сабри добралась далеко за полночь.

А до рассвета свекровь не дала уснуть.

— Конечно,— кричала она,—ты не зарабатываешь, поэтому ничего не жалеешь, разбрасываешься. Шатаешься всюду, рада, что муж умер.

Тетушка Сабри проплакала тогда до самого утра.

Сейчас она вспоминала ту ночь и жалела свекровь. Да, бедность и горе делают человека жестоким. А потом... Потом она вступила в колхоз и рastiла своих мальчиков.

Теперь вот внучек такой же точно, как Сабирджан тогда.

— Кабулджан,— позвала она внука,— что тебе папа обещал привезти из Москвы?

— Велосипед. И еще... самолет.

Дома тетушка Сабри лишь успела переодеть внука, вошла тетушка Рисолат.

— Добро пожаловать, Рисолат, что-то давно вас не видно.

— Нездоровится,— пробурчала вечно недовольная Рисолат.

— А у врача были?

— Была, да ничего не нашел врач. Здорова, говорит. А мне кажется, сглазили меня.

— Не верю я сглазу.

— Что это вы так наряжаете внука, думаете, он вам мраморный памятник поставит? — перевела разговор на другое Рисолат.

Тетушка Сабри рассердилась.

— Поставит или не поставит памятник, лишь бы был здоров. Проходите, садитесь,— добавила она.

Рисолат взобралась на широкую деревянную кровать посреди двора и уселась, а тетушка Сабри занялась самоваром.

Рисолат была женою брата покойного мужа тетушки Сабри. Не любила ее тетушка Сабри за болтливость и хвастовство.

Рисолат одевалась, словно молодая девушка, в яркие атласные платья, брови густо красила усмой и на руки надевала браслеты и кольца.

— А что это ваша Гульджахон всегда так поздно приходит?— спросила она тетушку Сабри, накрывавшую стол для гостыи.

— Да нет, не всегда. У нее нынче экзамены. Устает она. Да и шутка ли — механизатор и еще экзамены сдает.

— Экзамены?

— А вы не знали?

— Я думала, она на курсах.

— Нет. Заканчивает десятый класс. Теперь уже немножко осталось. Спасибо председателю, разрешил лишь присматривать за бригадой пока.

— Так ее сняли с бригадиров?

— Да нет, просто дали возможность сдать экзамены.

Тетушка Сабри заторопилась в кухню.

Спустились сумерки, и стало прохладнее. Тетушка Сабри зажгла свет во дворе и позвала внука.

— Гульджахон вернется поздно, давайте ужинать.

Тетушка Сабри подала плов и присела.

— Волнуюсь,— призналась она,— словно мне нужно сдавать экзамен.

— Да, повезло вам с невесткой,— сказала Рисолат,— а вот мне...

— А что вам, чем плоха ваша? Вежливая, хозяйка, красавица.

— Это так со стороны кажется, язык у нее поганый.

Я ведь знала вашу невестку еще девочкой. И зря вы ее ругаете, дорогая.

— Зря! Другая на моем месте давно бы сбежала от такой невестки, а я терплю, ради сына.

— Что опять случилось? — спросила тетушка Сабри.

— Позавчера утром поехала я в город. Невестка моей младшей сестры устраивала свадьбу. Ну и заночевала там. А вчера к вечеру возвращаюсь, моя невестка дуется. Я-то приехала усталая. Ну и расплакалась, пожаловалась сыну. А сын защищает ее. Обидно! Это она его ъаучила. Я начала плакать, собрались соседи. А Кара- мат, сестра тракториста, говорит мне: «Вы сами виноваты».

— Правильно, сами виноваты, Рисолат. Вы ведь моложе меня лет на восемь, а не работаете. Ну ладно, никто вас не заставляет. Так зачем же поднимать скандал и наговаривать на невестку? Вместо того, чтобы помочь ей по дому. Эх, Рисолат, Рисолат! Никак вы ничего не хотите понять.

Рисолат молчала.

— Вы извините,— продолжила тетушка Сабри,— но я люблю правду в глаза говорить. Ведь вы мне родственница, и я вовсе не хочу, чтобы над вами смеялись.

— Да,— задумчиво протянула Рисолат,— может быть, и правда, сама я виновата.

В калитку постучали. Тетушка Сабри бросилась открывать.

— Mamочка, дорогая, сдала,— закричала Гульджан и обняла тетушку Сабри,— На пятерку,— добавила она.

Тетушка Сабри тихонько вытерла слезы и заспешила к гостье.

1953

Хамид Гулям
р. 1919

НЕВЕСТКА

В кишлаке Шаханд волнение. У всех на устах имя Насибы. «Ничего себе невестка попалась бабке Хадиче — первая девушка в городе». «Счастливец этот Мамаджан — завладел сокровищем». «Счастье принесла в дом Насиба: овца бабки Хадичи окотилась двойней и облигация выиграла десять тысяч». «А как хороша — просто луна на четырнадцатый день». Но нашлись люди, которые позволили себе усомниться: «Бросьте хвалить эту невестку, еще и месяца нет, как приехала, а уже села на голову бабке Хадиче». — «Эй, Ахмадали, это ты, что ли, назвал ее сокровищем? Какая корысть бабке Хадиче от ее учености?» — «Счастье принесла... А что, без нее овца не окотилась бы двойней или номер облигации переменялся бы?» — «Красавица... Что, Мамаджану с ее лица воду пить?»

Нет дыма без огня. Появилась в кишлаке Насиба, да такая видная и пригожая, и в обращении ласковая, — почему же не поговорить о ней.

Еще два года назад, когда Мамаджан ездил на курултай, кто-то пустил слух, что вернулся Мамаджан из города влюбленный. Об этом узнала вся молодежь кишлака Шаханд, и озорники даже сложили частушки о любви Мамаджана. А когда Мамаджан уехал в Ташкент на курсы агрономов, некоторые девушки кишлака приуныли. И не зря. Все письма от Мамаджана бабка Хадича носила соседской дочери Кумри прочитать вслух с выражением, а на сей раз, читая письмо, полученное в начале августа, Кумри смутилась, стала заикаться, читать по слогам и без всякого выражения. Короче, Мамаджан сообщал о том, что женился на Насибе, что они устроили небольшую вечеринку для друзей Насибы — медиков, а настоящую свадьбу собираются справить в Шаханде. «17 августа, — писал Мамаджан, — мы будем дома».

Бабка Хадича не из тех, кто падает духом от радости. Она знает, как скромна ее Мамаджан, как не хочет он, чтобы беспокоилась и суежилась мать. Но не тут-то было: любимый сын с долгожданной невесткой едут домой, а бабка Хадича будет сидеть сложа руки?

— Сегодня какое число? — спросила бабка у Кумри.

— Семнадцатое.

Бабка Хадича натянула простенькое батистовое платье, надела

лакированные чувяки и заторопилась в колхозную контору. Девушки на хлопковом поле, мимо которого спешила бабка Хадича, переглянулись:

— Отдохните, тетушка Хадича. Что пишет Мамаджан?

Бабка Хадича помахала им рукой.

— Едет, едет с женой, выходите вечером к парому... Встречать...— прокричала она.

На ее счастье председатель, которого не так-то просто поймать, оказался в конторе.

Бабка Хадича влетела к нему пулей.

— Извините, помешала,— сказала она.— Мамаджан едет с женой, вечером выходите к парому: как-никак ведь он звеньевой, стоцентнеровик.

— Непременно,— сказал председатель, протягивая руку бабке Хадиче.— Поздравляю! На свадьбу приду. Если что надо — говорите.

— Да все есть, спасибо,— счастливо улыбнулась бабка Хадича,— но вот овца-то у меня котная, мне бы с фермы барана, да рису для плова и мешков пять муки. И еще... Я запасла невестке отрезы, так надо пригласить из района хорошую портниху, невестка-то городская.

— Идет! — весело сказал председатель.— Все сделаем. Ну-ка, Джурабай,— обратился он к шоферу,— отвези тетушку Хадичу куда ей нужно. Да вечером будь на берегу. Встретим Мамаджана.

Бабка Хадича влезла в «Победу».

Вечером на берегу Нарына был настоящий праздник весны. Машины, мотоциклы, велосипеды. Не только молодежь, но и старики вышли встречать невестку бабки Хадичи. Паром приготовлен и стоит на страже. Вот появилась шоколадная «Победа». Рядом с Джурабаем — председатель. А на заднем сиденье между сыном и невесткой сияющая бабка Хадича.

Все взгляды обращены к Насибе: в белом платье, с короной иссиня-черных кудрявых волос, Насиба держит букет цветов и улыбается. Хороша...

— Девочки, смотрите, Мамаджан чуб отрастил...

— Похудел!..

— А как же, он теперь агроном.

— Как ему идет чесучовый китель!

«Победа» въехала на паром, и на воде появились мелкие волны.

Зазвенели дутары, танбуры, флейты, запели свадебную песню.

Недаром говорят, что в кишлаках на берегу Нары- на все парни — певцы и все девушки — плясуньи.

Машина съехала с парома, девушки помогли выйти невесте. И здесь она сразу покорила весь кишлак: низко поклонилась всем. Бабка Хадича даже всплакнула от восторга.

С тех пор прошел месяц, и весь месяц не смолкают разговоры о невестке бабки Хадичи.

Перед свадьбой долго совещались в доме у бабки Хадичи все члены правления (ведь у Мамаджана нет отца, он погиб в борьбе с басмачами). Решили пригласить весь кишлак. Ведь свадьба бывает раз в жизни. А когда речь зашла о водке для мужчин и вине для женщин, подросла Насиба и попросила разрешения участвовать в совещании.

— Мамочка,— обратилась она к бабке Хадиче,— мы устроим свадьбу по-новому — и мужчины и женщины будут сидеть за одним столом. Ведь Мамаджан — передовой человек, агроном, вы — бригадир шелководов и жена погибшего красного командира, а я — лечу людей.

Обсуждение затянулось за полночь. А назавтра была свадьба, и молва о ней обошла все окрестные кишлаки.

«Рассудительная невестка попалась бабке Хадиче»,— говорили старики. «Столы-то как накрыла — загляденье»,— говорили девушки. «Водки маловато было»,— посетовал какой-то весельчак. «Но тебе-то хватило с лихвой, до сих пор не можешь проспаться»,— возразили ему.

Короче, с того самого дня парни и девушки стали мечтать именно о такой свадьбе.

Через несколько дней за завтраком Насиба обратилась к свекрови:

— Мы с Мамаджаном на выигранные деньги хотим купить мебель и приемник, а на остальные — мотоцикл. Мамаджан ведь ездит по полям, да и нас с вами подвезет.

Бабка Хадича одобрила предложение, но заикнулась о ковре, ведь он совершенно необходим для молодоженов.

— Ну зачем нам ковер, мама? — попробовал возразить Мамаджан.

— Мама права,— сказала Насиба,— ковер нужен, но его мы купим позже.

На том и порешили.

А доктор Насиба быстро подружилась не только с больными, но и со здоровыми. И даже соседская дочка Кумри, та самая Кумри, что читала когда-то бабке Хадиче письма от Мамаджана, сменила гнев на милость.

«Ну и что же, что городская»,— говорила она, словно возражая кому-то, и подробно рассказывала, как она заболела на поле и как доктор Насиба сразу же определила у нее малярию и трогательно заботилась о ней. А назавтра добилась того, чтобы с самолета протравили все поля — от комаров.

И где бы теперь ни зашел разговор о чуткости, доброте, красоте и внимании — все приводят в пример невестку бабки Хадичи.

Вот какая невестка попалась ей. Везет же людям!

1955

Саид Ахмад
р. 1920

САД

Кто бы ни взрастил этот сад — рукам его благословенье! Не забыл провести через сад полноводный канал. А когда вы подниметесь на веранду шипана, посмотрите на узоры, которыми там все изукрашено, — не нарадуется глаз.

Внизу, перед шипаном, квадратный пруд — хауз, в нем резвятся золотые рыбки. С одной стороны — посадки инжира, с другой — гранатовый сад. А вдоль аллеи высажена черная шелковица — шатут, плоды у нее нежные, сочные! Воробей сядет на ветку, вспорхнет — весь в алых пятнах сока...

До того как избрали Каюмджана председателем колхоза, он в этот сад, можно сказать, и не заходил. Когда ему было? Ранней весной его бригада выезжала в степь. Возвращались поздней осенью, после уборки хлопка и зачистки полей. Правда, довелось ему однажды участвовать в подготовке сада к зиме — прикапывать кусты инжира и граната, укрывать их от мороза. Да еще было заведено бригадирями — устраивать зимой в том саду угощение для своих. В той из комнат шипана, которая отапливалась, Каюмджан два раза угощал друзей пловом. А что бывает в саду летом, какие тут плоды вызревают, он и не ведал. Узнал о том, какое богатство есть у колхоза, лишь тогда, когда стал председателем.

В саду созрел инжир. Щедрое дерево два раза в год дарило людям урожай. А плоды шелковицы начинали созревать, едва солнце пригреет, и до первых заморозков все еще не иссякали, не кончались. Так же щедра была и малина.

Каюмджан полюбил этот удивительный сад, следил, чтоб ухаживали за ним. С ранней весны начинались работы каждое дерево окучивали, под ветви инжира подставляли подпорки. Бурно разросшиеся ветки арчи подстригали. Особенно бережно ухаживали за кустами смородины. Нет в мире запаха приятней, чем запах ее цветов! Вдохнешь один раз — всю печаль с души как рукой снимет!

Каюмджан радовался саду и думал так: «Кто-то для меня его разбил, вырастил, благоустроил! Так неужели же я не оставлю в саду и своего доброго следа?» Он поставил на берегу реки насос.

Заасфальтировал дорожки, установил вдоль них фонтанчики, разбрызгивающие воду. Съездил куда-то, привез четырех павлинов. Теперь сад выглядел как сказочный уголок.

Каюмджан ввел обыкновение устраивать в этом саду торжества по случаю свадеб и проводов в армию, выпускные вечера и чествования пенсионеров.

Колхозники любили свой сад. Сюда приходили вышедшие на пенсию старики — проводили чеканку виноградных лоз. Школьники рыхлили землю вокруг стволов, подметали дорожки. Все знали — нигде так не отдохнешь, не надышишься свежестью, как в саду...

Дни стали жарче. Начал поспевать ранний виноград — чилляки, на ветвях инжира словно золотые серьги развешены... А в поле наступила самая горячая пора. Хлопчатник ростом уже по колено, нужна обработка, нужны поливы. Каюмджану в такую нору не до сада, поле не отпускает.

Вот и в этот день он с самого утра был на полях. В середине дня, сидя на заднем сиденье машины, даже задремал от усталости. И вдруг тонкий запах защекотал ноздри. Проснулся, огляделся — рядом с ним на сиденье узелок, а в нем несколько круглых ранних дынь — хандаляшек...

Шофер не гнал машину, ехал осторожно, чтобы дать председателю хоть чуточку отдохнуть. Увидев, что тот проснулся, повернулся к нему, сказал, кивнув на дыни:

— Это Акбар-тога принес, сказал: «Ребятишек побаловать!» Напомнил, чтоб в сад заходили вы, шатут уже покраснелся.

Каюмджану расхотелось спать. Взяв одну хандаляшку, он с наслаждением вдохнул ее аромат. С утра пришлось понервничать, объясняясь с бригадиром, у которого сорняки чуть ли не забивают хлопок. На душе был осадок, а теперь все будто смыло напрочь, уж очень хорошо — летом и солнцем — пахла маленькая дыня...

Машина остановилась у здания правления. Каюмджан велел шоферу раздобыть что-нибудь из еды. «Пойдем в сад, вместе пообедаем».

В правлении секретарша сразу вручила ему телефонограмму. Сообщила:

— Товарищ Рузиматов три раза звонил. Может быть, вы ему позвоните?

Рузиматов — начальник областного ГАИ. Что же случилось?

Машины колхоза техосмотр прошли. Неужто кто-нибудь из шоферов угодил в аварию? И как там обошлось, нет ли жертв?

Каюмджан поспешил в свой кабинет и сразу же позвонил. Трубку взял сам Рузиматов.

— Каюмджан, вы? Куда это вы запропалились? Может, для того, чтобы вас повидать, нужно отобрать права у всех ваших водителей? — Он захохотал. - Послушайте, что я скажу! Инжир-то поспел, а? Что же не приглашаете отведать? Прежний председатель, чуть плоды пожелтеют, сразу сообщал...

Каюмджан немного успокоился — значит, аварии, слава богу, не было. Сказал со- всей любезностью:

— Инжир от вас не уйдет, товарищ Рузиматов! Прислать несколько ведер?

— Э, не-ет! — протянул Рузиматов.— Одним-двумя ведрами не отделаетесь! Еще и вареньем нас угостите. Да, еще вот что... К нам приехали из столицы несколько специалистов. Гостей надо как следует принять! Позаботьтесь — мы завтра явимся. Да от нас будет человек пять-шесть. В речке искупаемся, инжиром полакомимся. Договорились?

У Каюмджана внутри словно что-то оборвалось. Говорят: «Гость — божий дар». Да, если бы к тебе домой... Но сад-то колхозный! На счетах прикинул, во что обойдется угощение. Получалось недешево! Нажал кнопку звонка, вошла секретарша с бумагами.

— Позовите бухгалтера! — сказал он. И тотчас передумал: — Нет, не надо...

Секретарша молча вышла. Каюмджан подбодрил себя: «Неужто ты такой бедный, раис, что десять гостей принять не сможешь?!»

Вышел из правления, пошел в сад.

Шофер уже ждал его там. Обед принес из дома. Вместе поели, долго с удовольствием прихлебывали зеленый чай. Шофер пустил насос, установленный на берегу. Забили фонтанчики, вдоль дорожек встала прозрачной стеной мелкая водяная пыль.

Люди говорят: «Увидишь плохой сон — расскажи его воде». Каюмджан понял мудрость этих слов. Дождем сыплющиеся брызги смыли тяжесть с души. Он досыта надышался их свежестью, почувствовал покой, умиротворение.

В самом деле — гости так гости. Пусть поглядят, какой у нас сад замечательный. В конце концов, для чего он, сад-то? Чтобы люди им любовались!

Гостей приняли на славу. Прошло три дня. Позвонили из Сельхозтехники.

— Каюмджан, дружище, то, что вы просили, мы вам выделяем. Получите все! Сейчас наложу резолюцию. Что? Э, братец, устной благодарностью не отделаетесь! Тут без угощения не обойдется. Без инжира...

Каюмджан в письме, направленном в Сельхозтехнику, просил трактор, автокран, кое-какие детали. Узнав, что запрос их удовлетворен, он от радости аж со стула вскочил. Но когда услышал про инжир — ноги у него сами собой подогнулись, пришлось снова сесть.

А голос в трубке не умолкал:

— Слышите меня, Каюмджан? Чего замолчали? Э, приятель, инжир есть и на базаре, да что в нем? Вот когда сам с дерева срываешь, совсем другой вкус! Прежний председатель совсем ребят избаловал. Вот и жена тоже... Инжир, мол, поспел, когда съездим? Покоя не дает!

Каюмджан расхрабрился. Ответил:

— Халмирза-ака! А что, если вы в гости пожелуете ко мне? У меня на приусадебном участке тоже есть инжир. Сами сорвете, прямо с веток!

— Э-э, не-ет! К вам — не пойдет. У вас речки нет. А супруга уже купальник приготовила, ребята камеры надувают — поплавать хотят на них. Завтра в двенадцать. Идет?

...Да, положение! У Каюмджана сын из армии вернулся. Посватали за него дочь зоотехника. Сваты уже приходили, сговор был. Теперь как с этим быть?

Халмирза-ака — человек с гонором. Не любит тех, кто ему возражает. Со свету сживет! Так люди говорят. Если он обидится — не получит колхоз ни трактора, ни автокрана. А теперь еще минеральные удобрения — дефицит. Скажет этот человек: «Нет!» — и пригоршни препарата не получишь. Э, будь что будет, сватовство можно и отложить...

Назавтра семейство Халмирзы прибыло на двух машинах. В один миг мелюзга разбежалась по саду. Супруга оказалась женщиной в теле. Едва она появилась, облаченная в купальник, богобоязненный садовник Акбар-тога, отвернувшись, поспешил куда-то в глубь сада и больше не появлялся. Дочка оказалась капризной. Захотела — нарвала полный подол алых цветов граната, начала нанизывать их на нитку. Решила сделать себе бусы. Зять в одних трусах полез на дерево — собирать ягоды тутовника. Набрал корзину, руки стали красные, точно

у мясника.

Сам Халмнрза-ака, надев на голову капроновый колпак, похаживал среди кустов инжира — лакомился плодами. Потом кинул в рот ягоду шатута, сорванную зятем, заметил: «Хороша закуска!»

Каюмджан намек понял, выставил коньяк. Халмирза-ака повертел бутылку в руках. «Оказывается, не армянский!» Поставил...

Каюмджан промолчал. Гость все же налил в пиалу коньяка, выпил, закусил тутовником. Алым соком перемазал рот, подбородок. Немного ногодя, с губами, посиневшими от холода, явилась после купанья супруга.

— Эй, Ходжар, да ты совсем замерзла, дрожишь! — пожалел ее Халмнрза-ака.

Жена накинула халат. В это время по саду стрелой промчались голубые «Жигули». Затормозили у шипана, вышедший парень протянул Халмирзе бумагу. Оказалось — телеграмма. У Халмирзы руки в соке тутовника, из кармана белого кителя очки не достать, сказал зятю: «Читай!»

В телеграмме Халмирзе-ака предписывалось прибыть завтра на коллегия в Ташкент. Он засуетился.

— Поехали! Надо поспеть к вечернему поезду...

Вымыл лицо, руки, утерся полотенцем. Обратился к

Каюмджану:

— Инжир до завтра не испортится? Отвезу-ка я в Ташкент несколько ведер.

— В поезде сейчас душно, испортятся фрукты,— сказал парень, доставивший телеграмму.

Халмирза-ака нахмурился.

— Ничего, не испортятся... Эй, дети, одевайтесь, едем! Я вас еще в другой раз сюда привезу! Когда малина посияет. Малина — это же лекарство, верно, Каюмджан?

Председатель кивнул в знак согласия.

...Уехали гости. По саду страшно пройти — повсюду валяются сорванные и надкушенные недозрелые яблоки, груши. Под ногами — цветы граната, павлиньи перья.

Каюмджан сел на ступеньки шипана да так и замер, подперев подбородок. Подошел Акбар-тога, не глядя на Каюмджана, принялся подметать дорожки. Каюмджан боялся глянуть старику в глаза — стыдно! И что тут скажешь? Наконец спросил:

— Так что же мне делать, Акбар-тога?

Тот пожал плечами.

Чтобы поскорее выйти из неудобного положения, Каюмджан направился к воротам. Но как, оказывается, далеко эти ворота. Идешь, идешь, и никак не дойдешь...

Наконец вышел на улицу. Справа от ворот сада — парикмахерская, там всегда людно. Каюмджан почувствовал, что не может пройти мимо этих людей, не смеет. Смущается, словно женщина, впервые сбросившая паранджу. Ведь каждый из них вправе бросить упрек: «Что это ты творишь с нашим садом, председатель?»

Сад! Он был прежде радостью его и гордостью, отрадой и утешением! А теперь? Глаза бы на него не глядели, на этот сад!

Пришел домой — а тут жена набросилась с упреками.

— Как стали председателем, дом свой совсем забросили! Как дети учатся, что едят, во что одеты — вам и дела нет! Вы кто — председатель или заведующий столовой? Только и знаете — в саду принимать гостей! Единственного сына женить некогда... Чужие о его свадьбе хлопчут...

И ведь правду говорила жена! Стал председателем — свой дом оставил без хозяина. Затемно — дети еще спят — уходит в поле. Возвращается — они уже в постели. Мало забот, еще этот сад! Инжир этот, чтоб ему пропасть, перестанет когда-нибудь поспевать или нет? Да где там! К осени — его самое изобилие. Когда же начнет поспевать малина, это лакомство, это лекарство, вот тогда и начнется настоящее нашествие гостей! Пиалой чая от них не отделаешься. Им первое-второе поставь. Малина, чтоб ей иссохнуть, тоже дважды в год урожай дает! А там еще смородина... Нет, так дело не пойдет...

Каюмджан думал и не мог додуматься, как же ему быть. Даже и такое мелькнуло в голове: а не выкорчевать ли к черту весь сад и не засеять ли землю хлопком?

Нет... Озясь на блоху, не стоит жечь одеяло. А может, просто-напросто держать ворота сада на замке? Но каким образом? Тем, кто говорит: «Приеду!», отвечать: «Нет!» Ну да, попробуй, председатель! Ну-ка, скажи — «Нет!»

Каюмджан думал всю ночь — спать он не мог.

Долго ходил, мерил двор шагами. Потом зашел в дом, взял карандаш и бумагу...

Шли дни, прибывали гости. В сад приезжали из областного отдела

здравоохранения, с консервного завода. Гость — один другого дороже, попробуй не принять!

Каюмджан теперь сторонился людей. Стыдно было смотреть им в глаза. Благочестивый Акбар-тога мешками собирал в цветниках бутылки из-под спиртного и выбрасывал в мусорный ящик. За две недели большущий ящик наполнился доверху. За шипаном земля была усыпана павлиньими перьями: все четыре павлина лишились своих пышных хвостов...

Однако по виду Каюмджана можно было догадаться, что он не сегодня-завтра ждет каких-то перемен. В его взгляде светилась надежда. По утрам, войдя в кабинет, он прежде всего хватался за газеты. Просматривал, потом шел на поля. А там... куда бы он ни зашел, находил его посланец с вестью о прибытии очередных дорогих гостей. И Каюмджан возвращался в сад — встречать, принимать, угощать.

Шло время, Каюмджан, видимо, перестал ждать хороших вестей. Похоже, он во всем разочаровался. Лишь иногда задумывался снова: а что, если вместо ворот возвести бетонную стену? А где-нибудь в глубине сада устроить маленькую калиточку...

Как раз когда он раздумывал над этим, ему позвонил секретарь райкома:

- Каюмджан, как дела? Вы не упали духом?
- Отчего я должен упасть духом?
- Газету не видели? Там на вас фельетон накатали...
- Да нет, не успел... Сейчас прочитаю! А что пишут?
- Прочтите, потом потолкуем.

Каюмджан вызвал секретаршу, попросил сегодняшнюю газету.

Девушка покраснела.

- А... зачем вам? Ничего интересного. Можно и не читать...
- Врать-то вы не умеете, сестренка! Давайте газету! — рассердился Каюмджан.

Секретарша, вконец смущенная, принесла газету, положила на стол. И вдруг вскрикнула:

- Там... ложь! Это клевета! Они вас оклеветали!

Едва не заплавав, вышла. Каюмджан развернул газету. Фельетон оказался на четвертой странице. Вот черти, название-то какое нашли: «Гостеприимный председатель»... А дальше черным по белому было написано, что председатель колхоза Каюмджан Халилов превратил колхозный сад в гостиницу, сам только и делает, что принимает гостей, а

на дела хозяйства внимания не обращает. Перечислялись имена и должности гостей, указали и то, сколько было съедено, сколько выпито...

Фельетон иллюстрировала карикатура. Художник очень похоже изобразил Каюмджана: одна рука приложена к груди, другая широким жестом указывает на ворота сада, изо рта «вьется» слово «Пожалуйте!»

Каюмджан прочел фельетон и задумался.

Снова позвонил секретарь райкома.

— Прочитали?

— Прочитал.

— И что вы об этом думаете?

— И что тут думать? Все верно.

— Не может быть! — изумился секретарь. — Тогда вот что: обсудите фельетон на заседании правления колхоза!

Через три дня собралось правление, обсудили фельетон. Решили, что все факты в нем указаны правильно. Но никто не поднял вопроса о том, какие же меры нужно принять по отношению к председателю...

Секретарь партийной организации попросил слова. Начал "Издадека.

— По-моему, появление этого фельетона в газете и есть та мера наказания, которой достоин председатель. При предшественнике Каюмджана Халилова и при тех председателях, что были еще раньше, этот сад, по правде сказать, колхозникам был недоступен. Считался сад колхозным, а самим колхозникам туда было не попасть! Каюмджан-ака поломал такое положение. Все знают, мы стали проводить в саду наши торжества. Правда, под конец получилось нехорошо... Но я так думаю: после этого фельетона гости перестанут напирать. Сад останется в нашем распоряжении. Однако нашему раису тоже надо указать. Увлечся гостями, забросил поля. У меня есть одно предложение. Сад передать в ведение совета пенсионеров. Сами будут ухаживать за ним, сами будут и распоряжаться. И как прежде, наши свадьбы, гулянья, праздники будем проводить в саду!

Речь парторга одобрили все. Каюмджан отделался тем, что ему «поставили на вид». Сад передали в руки аксакалов.

...Обсуждение закончилось. Каюмджан открыл окно, чтобы проветрить комнату. Сквозняк подхватил бумаги, лежавшие на столе, рассыпал по полу. Председатель нагнулся, собрал их все до одной. Глянул на газету с фельетоном. Потом, смяв, бросил под стол, в

корзину.

А сработал все-таки его фельетон, который он сам на себя сочинил.

...Перед воротами колхозного сада теперь не толпятся машины. В саду тишина. Можно там встретить стариков, одетых в белые рубашки — яхтак. Одного, другого...

Печать — великая сила!

1980

Аскад Мухтар
р. 1920

КОРНИ

Они шли рука в руке по людному проспекту мимо Дворца молодежи. Стоял один из последних весенних дней, небо чистое, воздух прозрачный, приятно пахло цветущим тополем. Возле Дворца толпилось много нарядной молодежи, но прохожие задерживали внимание на этой паре. Оба высокие, стройные, статные: на девушке длинное до пят платье из белого шелка, синяя бархатная безрукавка красиво облегла ее высокую грудь; парень в элегантном сером костюме, черные волосы ухожены, каблуки модных туфель гулко отстукивали по бетону.

В молодости человек недооценивает таких счастливых минут, только в зрелом возрасте вспоминает о них с тоской. Но эта пара явно видела, что вызывает у всех восхищение тем, что они под стать друг другу, что счастливы. Это чувствовалось и в их непринужденной походке, в горделивом взгляде, которым они одаривали друг друга, по радостной улыбке, освещавшей их лица.

Когда они приблизились к Дворцу искусств, который сверкал на солнце, как многогранная хрустальная чаша, им встретился знакомый и пригласил в кино. Парень вопросительно глянул на спутницу. Она, улыбаясь, покачала головой, по плечам взметнулись две косы: «Нет!»

Разве им сейчас усидеть в темном зрительном зале?! Они так и светятся от счастья!

Держась за руки, они перебежали на другую сторону улицы.

— Мухсина! Неужели сейчас расстанемся! В такой-то день... Давайте хоть по глотку шампан...

— Ну вот! — шутливо-испуганно произнесла Мухсина, широко открыв глаза.— Так мы с вами не выдержим, испытания!

Они весело рассмеялись и вновь взялись за руки. Свернули на узкую улицу нового микрорайона. Здесь малоллюдно, с двух сторон посажены чинары, улица упирается в многоэтажные белые здания. Они шли громко смеясь и разговаривая.

— Испытательный срок... новость ветхозаветных времен! Есть поговорка: не зная броду, не суйся в воду. Но испытывать человека... К тому же любимого... Это же унижительно!

— Уж не боитесь ли вы, Марат-ака? — засмеялась Мухсина.

— Сами подумайте, испытывать любовь... Разозлишься тут!

— Нет,— ответила Мухсина, шагая с ним в ногу.— Я где-то читала: если любишь человека, то каждый раз открываешь его заново. Человек в основе своей — тайна. А любимый — особенно! Бесконечное — чудо!

— Это верно,— подтвердил Марат,— вот вы... испытывай вас, не испытывай, вы все равно — удивительное чудо! — Они пожали друг другу руки.— Но здесь другое дело. Испытание... разве месяца хватит? Вся жизнь — испытание, Мухсина!

— Вначале пройдите месячное испытание!

Они громко расхохотались.

— Пройду, пройду с успехом, Сина моя! — так Марат называл свою любимую тихо, шепотом, когда они оставались наедине,— В течение месяца я буду делать только добрые дела... Целый месяц буду почтителен и уважителен, на руках буду носить вас!

То ли в шутку, то ли всерьез, он попытался поднять ее.

— Ой, что подумают люди?!—отскочив от него, девушка погрозила пальцем.— Ох и хитрец же вы! Целый месяц почтения и уважения... а потом?

Марат посерьезнел.

— Вот видите?! Не знаю, кто придумал «испытание»?.. Очень глупое слово!

Мухсина капризно надула губки, выражая пренебрежение, но парень, воспользовавшись тем, что они очутились под деревом, обнял ее.

— Не испытывать надо, а любить!..— прошептал он.

Девушка выскользнула из его рук, но когда они вошли в подъезд и за ними захлопнулась дверь лифта, вновь очутилась в его объятиях. Своими горячими губами она ответила на его страстный поцелуй, первый раз дала волю чувствам, которые сдерживала до сих пор.

Вот и пятый этаж... Путь в один поцелуй...

Однокомнатная квартира Марата, можно сказать, почти пустая: у окна чертежный стол, новый диван, завернутый в трубки ватман — и все.

— В другой раз так не делайте, Марат-ака,— произнесла девушка и обиженно отвернулась. Когда они сидели на диване, она заметила пристальный взгляд Марата, вздрогнула и повторила: — Больше так не делайте! Испытание только начинается.

— Я подумал, что этот день нужно чем-то озаглавить, иначе не запомнится. Извините, Мухсина!

Они притихли. И вправду, ведь сегодня для них исторический день. Вдруг девушка встрепенулась и вскочила с дивана.

— Поставить чай?

— Кофе есть.

Мухсина прошла на кухню. Она уже была тут. Когда они познакомились, она приходила сюда, чтобы сделать ему чертеж. И они пили чай в этой кухоньке. Потом под каким-то предлогом Марат еще раз пригласил ее. Тогда он был взволнован, радостно возбужден, натянулся, опрокидывал и разбивал что-то. Сейчас он раздвигает шторы в комнате, хотя Мухсина его не видит, но чувствует, что он вновь взволнован. «Сейчас разобьет вазу»,— улыбнулась она. Нет, на этот раз все обошлось. Когда Мухсина внесла кофе, на чертежном столе, застланном ватманом, стояли нарезанный торт и два фужера, хозяин дома открывал шампанское. Мухсина поставила чашки с кофе на стол и закусила пальчик.

— Что случилось?— испугался Марат.

— Обожглась.

Марат подскочил к ней, приложил ее пальцы к губам, подул на них, вновь приложил к губам.

— В своих проектах я хочу на нет свести эти кухни и плиты! — заявил он, подводя девушку к столу. И стал разливать пенящееся шампанское.

— Как же так?

— Человек весь день на работе. Пусть дома отдыхает.

— Без кухни...

— Без кухни воздух в квартире чистый, хозяйке не надо жарить-парить, нет запахов еды. Внизу — ресторан, столовая, кафе. Зачем же строят эти красивые здания?

— Дома совсем другое...

— И там нужно готовить, как дома!

— Семья, дети...— Девушка смущенно опустила глаза.

— Речь идет о проектах будущего. Скоро в семье будет мало... детей. Свидетельство тому— статистика. В своих проектах я придерживаюсь современных требований, особенно техноэволюции. Давайте, Мухсина, выпьем.

В фужерах прыгали мелкие пузырьки. Мухсина берет фужер и

вновь ставит на стол.

— Техноэволюция-то техноэволюцией, но порой... Я, например, хочу, чтоб в семье было много детей...— промолвила она. Покраснела, опустила глаза. Марат засмеялся, взял ее за руку.

— Вы сами — ребенок, маленькая моя...

— Зря смеетесь, я говорю серьезно... Я не боюсь домашних забот...

— Пятьдесят лет тому назад великий Корбюзье сказал: в будущем всю домашнюю работу станут выполнять машины. Вот это время пришло. Даже в небольшой квартире трудятся самое меньшее двадцать приборов — стиральная машина, пылесос, кондиционер, фен, кофемолка, электробритва, соковыжималка, электрический утюг, электроплита...

— Говорите, облегчен? Думаете, это просто: купить, установить, починить? Тут нужно быть не домашней хозяйкой, а инженером, чтобы разбираться во всей этой технике! К тому же за каждой вещью нужен уход, место, ох-хо-хо... Как бы человеку не стать рабом этих вещей!

— Жизнь сама подскажет. Централизовали отопление — мы избавились от печек и дров. Освещение, газ, мусоропровод, другие коммуникации — мы опять освобождены от многих забот. Нужна горячая, холодная вода — пожалуйста. И дальше будут такие усовершенствования. Например, телевизор: экран прямо в стене. А вместо обычного холодильника — централизованная холодильная система. Многие вещи, загромождающие квартиру, перейдут в ведение службы быта.

— Книги...

— В библиотеке закажете книгу, в нужное вам время ее страницы возникнут на вашем домашнем экране. В доме будут не вещи, а кнопки управления... Понимаете? Такие проекты нужно разрабатывать!

Мухсина замороженно слушала, как он, сосредоточенно сдвинув широкие брови, уверенно излагал свою точку зрения. Подумав немного, она спросила:

— Почему же, Марат-ака, в таком случае, у вас так много противников?

— Разве легко понять новое?

— Вот и я не понимаю. Чувствую, что от ваших новшеств... ангел сбежит.

Марат захохотал.

— Вот тебе на, еще один противник! — Он поднял фужер.—

Давайте выпьем, Мухсина! Пусть все мои враги будут похожи на вас! — Он выпил, девушка чуть пригубила и отставила фужер. Ей хотелось сказать, что он во многом не прав, но она не могла подыскать нужных доводов. «Ангел...» — поистине смешной аргумент. А Марат вдохновенно продолжал:

— Если примут проект экспериментального микрорайона, у меня противников уменьшится вдвое! Однако в комиссии есть разные люди...

— Которые не желают жить в голых квартирах?

— Голая квартира?

— Голая и холодная.

— Мухсина, дорогая, тепло дает солнце. Мои дома будут полны солнца! Солнца и воздуха! Это — дома будущего! В них будут удобные предметы. Нужно уметь отказываться от старых, привычных вещей. Мы почему-то любим цепи на своих ногах...

— Люди, которые приходят домой только спать, не сочтут ли семью, личную жизнь, чувства за цепи?..

Марат, вскочив с места, подошел к девушке.

— Дорогая,— произнес он бархатным, ласковым голосом, который всегда завораживал Мухсину. Встала и Мухсина.— Если мои думы и надежды, связанные с вами, могут быть цепями, я готов влачить их всю жизнь. Однако... эти слова человеку, обещавшему вам вечную любовь... не к месту. А думы и надежды...— Он привлек девушку к себе, волосами щекотал ее шею, губами искал ее щеки, губы.

Девушка отстранилась и проговорила:

— Но если такой проект попадет ко мне, я не стану его чертить.— Она глянула на него с улыбкой.— Вы проводите меня?

Через два дня в тишине чертежного зала прозвучал телефон.

— Мухсина! — позвала дежурная.

Кто это мог быть? Мухсина удивилась. Марат обычно звонил в конце рабочего дня и шутил: «Соскучились по мне хоть немного?», «Не нужен ли вам провожатый?»

Не сразу она узнала голос Марата. Он показался ей чужим, недовольным.

— Что случилось? Вы откуда говорите? Из института? — Мухсина подумала: «Видно, неприятности с проектом». — У вас все в порядке?

— Порядок. Мне нужно съездить в кишлак. В Мирзачуль!

— А что случилось?

— Мама заболела. Придется ехать.

Наступило молчание.

— Марат-ака, и я поеду с вами,— решила Мухсина.— Когда вы уезжаете?

— Не-ет, я скоро вернусь, вы же знаете, проект на комиссии, мне нужно быть здесь... А потом... кто вас отпустит?

— Я вижу, мы не договоримся по телефону. Я сейчас приду к вам.

Она положила трубку, сунула под мышку сумку и выбежала из чертежного зала.

Проектный институт был рядом. Мухсина пересекла двор, прошла через служебный вход, по ступеням взбежала на третий этаж. Коридоры, застланные красной ковровой дорожкой, пусты, научные сотрудники приходят на работу позже, а дверь кабинета Марата открыта. Узнав Мухсину по шагам, он вышел ей навстречу. Он выглядел обескураженным и встревоженным. Мухсина никогда не видела его таким непричесанным, без галстука, таким «домашним».

— Что случилось? — с тревогой спросила Мухсина.

— Не знаю... вы оставьте свое «тоже поеду», я скоро вернусь

— Сейчас пойду и отпрошусь. Недели хватит?

— Зачем эти лишние хлопоты, Мухсина?

— Заодно представите меня маме, если понравлюсь ей, она быстро поправится.

Марат чуть не расхохотался от такой наивности.

— Вы обязательно понравитесь, Мухсина!

— Вот и хорошо!

— Везти на показ... Показывают вещи...

— Таков обычай... Давайте сядем,— И Мухсина первая опустилась в мягкое кресло.— Мать должна знать избранницу своего сына, Марат-ака.

— Это нужно было прежде: жилье общее, утварь, стол — общие. А в наше время... мы с вами любим друг друга — это главное.

— Родители растят детей в муках, а в результате — чужие... Представьте себя на месте отца.

— У меня только мать, вы знаете...

— Тем более, она вам и отец, и мать. В таком случае...

— При чем тут родители? Все дело в молодых, насколько они самостоятельны, насколько прочны их узы. Если хотите знать, шестьдесят процентов разводов происходит из-за скандалов невесток

со свекровью. Помните, вы рассказывали про свою коллегу... Умида, что ли? Муж поставил ей условие: «Или я, или твоя мать!» Когда она не выполнила его требования, он развелся с ней. Ну, знакомят со своими родителями, а живут хуже чужих.

— А по мне,— барабаня пальчиками по столу, задумчиво произнесла Мухсина,— невестка, ни во что не ставящая свекровь, и со своей матерью не считается.

Марат, взяв руку девушки в свои ладони, задумался. Потом сказал:

— Во всяком случае, любовь, мир и согласие должны быть между влюбленными. Третий человек, кем бы он ни был,— чужой.

— Мы говорим о матери, Марат-ака. Вы меня отговариваете от поездки... Так я вас понимаю?

— Если вы очень настаиваете...

— Вот вы знакомы с моими родными,— мягко продолжала Мухсина.— Они благословили нашу любовь. Желают нам счастья и добра. Это же так хорошо!

— Глупенькая моя,— произнес он, глядя в ее бездонные, как родник, загадочные глаза.— Неужели вы придаете значение всяким благословениям? Эх, если б счастье зависело от них!.. Ладно, идите собирайтесь!

Девушка просветлела, заулыбалась, чмокнула его в щеку и выскочила.

Прислонившись к двери, Марат прошептал:

— Сладкая моя...

Еще издали, от совхозного клуба, Марат увидел свой дом. У ворот их встретил высокий скуластый парень, который возился с красным «Запорожцем».

— Марат-ака! — закричал он и кинулся, раскрыв объятия.— Эй, кто там? Марат-ака! Марат-ака приехал! Эй...— заметив незнакомую девушку, покраснел, как мальчишка, степенно поздоровался с гостями. Потом кинулся во двор. Марат хотел остановить его:

— Латыф, погоди-ка! — но тот уже исчез во дворе.

Двор был большой, тенистый, как сад. У входа два

дома с айваном, дальше — сарай, летняя кухня, кладовая, склад для угля, хлев. А в глубине — еще небольшой домик, с застекленной верандой. Посреди двора сури, у арыка растет райхан. Мухсина разглядывала двор. Здесь все было ухоженным, таким основательным, словно прожило не одно поколение. «Когда же успели так обжиться в

Мирзачуле?» — подумала она.

Во дворе царила тишина. Видимо, шумная радость Латыфа не возымела действия. По дороге сюда Мухсина тревожилась: «Понравлюсь ли его родным? Как мне держаться, что говорить?» — из-за своих тревог она почти забыла, что едут к тяжелобольной. Когда никто не вышел им навстречу, Мухсина совсем растерялась.

Они стояли на дорожке, выложенной кирпичом, Марат вдруг крикнул: «Дядя!» — и подался вперед. Со стороны сури показался плотный усатый человек с седыми висками, поверх рубашки подпоясанный широким бельбагом, в старых сапогах, левая рука в черной перчатке — протез. Он степенно обнялся с племянником, почтительно поздоровался с девушкой.

— Очень кстати приехали. Благое дело сделали, Маратвой! Матушка-то молчит, но чувствуем, что ждет вас. А вы, доченька, не смущайтесь.

Мимо грядок, где кусты помидоров были прикреплены к колышкам, дядя провел гостей к колодцу с насосом. Накачал воды. В это время с айвана скатилась круглая женщина, жена дяди, с полотенцем на плече. Она радостно поприветствовала гостей.

— Да вы совсем помолодели, тетушка Файзинисо! — пошутил Марат, умываясь и разбрызгивая солоноватую артезианскую воду. Его шуточный тон не поддержали. После недолгих расспросов о здоровье, о городе, о том, как они доехали, тетушка Файзинисо прошла к очагу.

После того, как гости смыли дорожную пыль и освежились, дядя предложил:

— Идемте, вначале получим благословение вашей матушки.

Комната, большие окна которой выходили на айван, была прибрана (оттуда вышла тетушка Файзинисо), на стенах — гобелены, вышитые красными нитками. Больная лежала на кровати у окна, ее голова покоилась высоко на подушках. В глазах, устремленных на дверь, стояли слезы, видно, она была уже предупреждена о приезде сына. Ее бледное лицо, давно не бывшее на солнце, особенно тяжело подействовало на гостей. Марат встал перед ней на колени, взял ослабевшие руки матери и приложил их к своему лицу. Рядом стоял дядя, тетушка Файзинисо и Мухсина — у двери. Они с почтением смотрели на встречу матери с сыном.

У матери, истосковавшейся по сыну, исполнилось самое главное желание, и она, прикрыв глаза, лежала, умиротворенная. Вскоре она

открыла глаза и проговорила:

— Спасибо, сынок, что приехал. Сам-то здоров? Как друзья твои, работа?

Марат попытался улыбнуться, коротко ответил на вопросы и спросил:

— Мамочка, что у вас болит? Сердце?

— Старость, сынок. Не сердце, так другое. У нас, стариков, видно, участь такая. Ты лучше расскажи о себе.

Мухсина боялась, что мать выразит обиду: «Не заболей я, так и не проведешь». Нет. Наоборот, она виновато смотрела на приехавших.

— Кстати, мама...— Марат подошел к Мухсине и подвел ее к кровати,— вот Мухсина... работает чертежницей в нашем институте. Мы... подали заявление в загс.

Дядя с тетушкой Файзинисо уже раньше догадались об этом. А мать взволновало это сообщение. Когда она закрыла глаза, веки ее еще больше пожелтели. Спустя некоторое время она протянула обессиленные руки к девушке. Мухсина, веером распустив юбку, преклонила колени перед кроватью и приложила пухлые горячие губы к ее щеке. Глаза матери, устремленные на нее, наполнились слезами. Ее лицо, глаза и голос были так похожи на Маратовы, что больная показала Мухсине давней знакомой.

— Я тысячу раз согласна, если вы любите друг друга. Да прожить вам до старости вместе... Спасибо создателю, что дожила до этого дня.

Будущая невестка понравилась и дяде с тетушкой: не только лицом и станом вышла, но и учтива, и умница.

Больная от радости даже порозовела. Она была счастлива, только сил не хватало проявить свою радость. Она долго молчала. Потом бодрым, почти здоровым голосом, обратилась к снохе:

— Файзинисо, ты покормила гостей? Ухаживай за ними, пусть хорошо отдохнут...— и разрешила всем уйти. Остался ее брат, поправляя постель, он тихо сказал:

— Ну, сестрица, теперь вы встанете. Поздравляю с невесткой! Во!— и показал большой палец.

Впервые за последнее время больная почувствовала облегчение. Радость переполняла ее, она, блаженно улыбаясь, заснула.

Стемнело, во дворе запахло пловом. Донесся голос Латыфа:

— Давайте накроем на чорпоя, папа.

Когда дядя включил свет над сури, стало ясно, что тетушка

Файзинисо давно уже приготовила место трапезы: постелила новые курпача, скатерть красиво устала черешней и клубникой. Марат подумал: «Какой вечер, не будь тревоги за здоровье матери, ох и славно посидели бы!» Он вспомнил годы, когда был жив отец. Тогда дядя только что вернулся из армии, молодушка Файзинисо с Латыфом на руках, мать всегда готовила плов сама, и в их небольшом дворике, вот на этом самом сури, шли оживленные беседы до полуночи.

Не вернуть те дни. Мама, которая всем облегчала заботы, совсем плоха. «Словно исчез дух дома, словно чего-то недостает...» — думал Марат.

На сури долго дымился плов, который в большой чаше подал Латыф. Мужчины степенно расселись. Они молчали. Слышен был только голос Латыфа. Он приглашал к трапезе «гостью-апа». Тетушка Файзинисо осталась с больной, и Мухсина чувствовала себя неловко. Она сказала:

— Я... пройду в дом, — Перед глазами все еще стояла понравившаяся своей сдержанностью старушка.

— Что вам там делать, она спит,— возразил Марат, но дядя поддержал девушку:

— Да сон у нее как у птицы. Идите, там и тетушка Файзинисо, побудьте вместе с ней, дочка.

Плов им отнесли в комнату.

А на сури беседа не клеилась, да и плов совсем остыл. Все разговоры крутились вокруг больной.

— Что говорят врачи? — поинтересовался Марат.

Дядя почему-то не ответил. Латыф, обиженный тем, что плов, который он готовил с таким старанием, остыл, то крошил мясо, то пододвигал блюдо с закуской к гостю.

— Может, она в больнице быстрее поправилась бы,— вновь произнес Марат. Еда не шла ему в горло. Он не предполагал, что мать так плоха.— Доктора...

— Доктора согласились.

— С чем?

— Чтоб она лежала дома.

— Если ее время от времени класть в больницу, надзор врачей...

— Ее нельзя тревожить, сердце...

Марату показалось, что дядя что-то скрывает, избегает открытого разговора.

— Все-таки, что говорят врачи? — вновь спросил Марат.

Дяде и самому стало неловко, что он уклоняется от ответа.

— Они... они ничего не говорят.— Судя по его тону можно было предположить, что смысл ответа более глубокий.— Вот, племянничек, тебе мужской ответ. Живем надеждами, ведь, как говорится, только черту не на что надеяться. Ну, давайте примемся за плов.

Они изредка протягивали руку к плову, обменивались незначительными словами, замолкали на полуслове. Ночная тишина казалась какой-то пугающей, Марату было не по себе. Вот сидят родные люди, а говорить не о чем, и это было так мучительно.

Латыф, не выдержав тоскливого застолья, вскочил, заварил чай. После чая мужчины постелили себе тут же на сури, а женщины остались в доме. Мужчины лежали молча, возможно, они и не спали..

Утром, умывшись, Марат поспешил к матери. Женщины, видно, совсем не ложились, разговаривали, лицо больной было спокойно, в открытые окна врвалось пенье перепелки.

— Проходи, сынок. Как отдохнул? — бодро спросила мать.

— Благодарю. А вы как себя чувствуете, мама? — Марат сел на низкий табурет у кровати.

Файзинисо вскочила:

— Уже, оказывается, утро, а я сижу себе... Нужно вашего дядю проводить на работу.— И она торопливо вышла из комнаты.

— Мы тут так хорошо поговорили, сынок. Я и гостье не дала спать, да и сама устала,— произнесла мать,— ох и горели, наверно, у тебя уши!

Марат и Мухсина переглянулись, заметив его благодарный взгляд, девушка опустила голову.

— Я так соскучилась по тебе, сынок. Стоит наступить вечеру, так и стоишь перед глазами... Вот доченька Мухсина рассказала о твоих делах, я так рада за тебя. Теперь, сынок, я понимаю твои стремления...

— Вы много разговариваете, матушка, смотрите не переутомитесь,— промолвила Мухсина, поправляя подушки, между которыми лежал райхан.

— Пасть мне жертвой ради твоего язычка, который прознес «матушка»,— обрадовалась больная и взяла руки девушки в свои.— Дочка моя мне очень понравилась, сынок, да наградит вас господь взаимным счастьем.

— Мама, вы действительно много говорите сегодня. Вы выпили лекарство?

— Видеть ваше счастье и любовь для меня лучшее лекарство, сынок. Вы приехали, и мне совсем стало хорошо. Вот если б и дела Латыфа поправились... Файзинисо страдает, совсем извелась, бедняжка...

— Латыф? А что с ним?

— Оказывается, они вам ничего не сказали, а я проболталась...— И больная перевела взгляд в сторону. Справилась с дыханием.— И сама не знаю... Сыграли свадьбу...

— Латыф? Когда?— удивился Марат.

— Четыре месяца прошло. Невесту сам выбрал.

— И что же?

— Отправил назад. На другой же день...

— Почему? Не понравилась, что ли?

— Была что твой тюльпан. Из нового совхоза.

— Ах проказник Латыф, и молчит главное! Ладно уж, на свадьбу не пригласил, но ни слова ведь, вот скрытный! — Марат ударил себя по бедру.

— И нам ничего не говорит. В один день охладел, и все! Как же так, сынок? Ты, как старший, поговорил бы с ним по душам. Может, послушается тебя, придумаешь, как исправить дело. Ведь стыдно людям в глаза глядеть!

— Скажите, какая загадочная личность, наш брат! — засмеялся Марат.— Ох, тихоня! Конечно, поговорю. Вы в таком состоянии, а он... Кстати, а что дядя?

— Его отец — солдат. Он стойко все переносит. Нам, женщинам, трудно. Поговори, сынок, он же твой брат, направь его...

— Не волнуйтесь, все сделаю,—заверил Марат.

Он хотел сразу выполнить поручение матери, но Латыф был в поле. С нетерпением бродил Марат по двору. Когда Мухсина вышла, оставив заснувшую больную, он обратился к ней:

— Видали?! И они, конечно, прошли месячное испытание. А результат...— Он развел руками,— Сказал «люблю», уважай. И он — личность, а она — личность. Что значит — выгнал?

— Нужно узнать причину, Марат-ака...

— Причина! Причина — деревенщина!

Тут Латыф заехал во двор, вылез из «Запорожца» и, улыбаясь, направился к ним. Но, увидев хмурого брата, остановился, улыбка замерла на устах, и он пошел к кухне.

— Ну-ка, тракторист, пойдите-ка сюда! — И Марат кивнул в сторону нового дома.

— Очень есть хочется.

— Потом поедите!

Латыф нехотя направился за Маратом.

Мухсина осталась стоять под тенью урюка, уставившись на дверь, за которой скрылись братья. Марат старше Латыфа на шесть лет, конечно, имеет право выговаривать ему. Но как бы в таком щекотливом деле он, желая, как говорится, покрасить бровь, не выколол бы глаз.

«Переговоры» братьев длились долго. К счастью, перебранки не слышно. Хоть бы дело кончилось миром.

Только Мухсина так подумала, дверь шумно распахнулась, и выскочил Марат. Он был красный, нервно поправлял волосы и кричал так визгливо, что совсем не вязалось с его обычным интеллигентным видом.

— А еще тракторист! Механизатор! Ты, оказывается, арбакеш, а не механизатор!

— Но, ака...— Латыф вышел за ним. Марат перебил его:

— Еще оправдывается! Откуда ты в свои двадцать лет заразился дедовской ветхозаветной ересью? А? Послушай-ка...

— Предки здесь ни при чем. Они учат хорошему.

— Ты знаешь, в какое время живешь?

— Время хорошее, девушки должны соответствовать ему,— хоть и несмело, но все-таки отвечал Латыф негромким голосом.

— Да такому прожженному мракобесу, как ты, иметь жену? Что ж теперь, из-за того, что не девственница, выставлять бедняжку на позор?

— Ака, да поставьте себя на мое место,— начал Латыф, но, встретившись глазами с Мухсиной, замолк. Мгновение он смотрел на нее, потом закрыл рукавом пылающее, словно охваченное пламенем, лицо, резко повернулся и исчез в доме. Марат глянул в ставшие от возбуждения еще красивее глаза Мухсины и опустил голову.

— Что вы наделали, Марат-ака? Разве не видите, как он переживает? Ведь он любит ее. А вы...

Мухсина постучалась в дверь, за которой скрылся Латыф, неслышно открыла ее и вошла.

В это время вернулся дядя, посмотрел на Марата, затопал, чтоб сбить пыль с сапог. Потом накачал воды, здоровой рукой помыл лицо и спросил:

— Что случилось?

— Да ничего... Мы немного повздорили с Латыфом...

— И что же?

— Удивляюсь вам, дядя! Почему потворствуете зловредным предрассудкам?

Рукой в черной перчатке дядя повесил полотенце на дерево и хмуро глянул на Марата.

— Как чувствует себя ваша матушка?

— Видно, поступок этого мальчика явился причиной ее болезни.

Дядя спокойно поднялся на сури, взял чайник, который был накрыт полотенцем. Марат тоже присел на край.

— Так, значит, здорово перемывали нам косточки, мол, деревенщина, то, другое,—веско заговорил дядя.— Я и ругал Латыфа и уговаривал. Однако... Я считаю, что он поступил правильно.

— Вот те на! И это говорите вы — солдат, выдавший виды, побывавший в Европе!

— Мы в Европу рвались не за модами, племянник. Выпейте чаю,— И дядя протянул ему пиалу.

— При чем тут мода?

— Говорят же, мода такая... еще в средней школе...— Дядя не мог подыскать нужного слова.— Сохранить целомудрие до десятого класса, оказывается, считается отсталостью.

— Так рассуждают обыватели... Это не украшает вас.

— Возможно. Однако наша «современная» невестка, которую вы так рьяно защищаете, только что окончила школу.

— Вот видите, молодая! Возможно, ее обманули!

— Латыф прогнал ее не за то, что обманулась, а за то, что обманула.

— И вы поддерживаете такую жестокость?

— Жестокость... Да наши предки за такое камнями закидывали своих дочерей. Я, конечно, не сторонник этого. Но ценю предков за то, что они высоко чтить честь. Они с молодости берегли честь и совесть. Берегли, как умели. Мы уважаем хорошие обычаи наших предков. К тому же во всех книгах возвеличивают любовь, вы их читали. Мы не смогли получить образование, однако знаем, что значит любовь и в жизни и в бою. Святое, жгучее чувство. Разве девичье целомудрие не

входит в эту святость? Не с этого ли в жизнь молодых входит доверие и уважение?

— Ну... раз так вышло, что же делать? Обязательно опозорить на всю жизнь?

— Это щекотливая тема, племянник. Ее можно повернуть по-разному. Мы — скроем, другие — простят, а такой, как вы, скажет — подумаешь... И получится поголовное потакание безнравственности, так?

Дядя, представьте себе состояние ее родителей! Ваши сваты, в новом кишлаке...

Город ли, кишлак ли — нравственность одна. Роди телям тоже порой приходится держать ответ. Любовь сильное чувство, и обман в любви жестоко карается.

— Латыф... кажется, любит ее, и тот священный огонь, о котором вы говорили,— любовь — приносится в жертву.

— Если любит — поедет и привезет. Ведь влюбляются в женщину с пятью детьми. Если любит, пусть берет. Я — не ханжа. Но речь идет о нравственной чистоте, совести. Целомудрие — мать любви. Нравственная нечистоплотность не должна оставаться безнаказанной, я так думаю.

Я знаю: личные чувства — неприкосновенны, дядя. Грубое вмешательство в отношения между мужем и женой — это неуважение к личности. Нужно смотреть не в прошлое, а в будущее. Особенно в женском вопросе. Наказание, месть — все это пережитки.

— Эх, не сумел объяснить,— огорчился дядя, отодвинул чайник и пиалы. Он выглядел утомленным, на лице резко обозначились морщины.— Но и вы меня не убедили, племянник.

Как всегда спокойная и милая, вышла Мухсина.

— Салам алейкум, дядя, как вы себя чувствуете?

— Спасибо, дочка! Садитесь к чаю.

Поблагодарив за приглашение, девушка хотела пройти мимо, но Марат задержал ее:

— Вы поговорили с ним?

— Да...— ответила Мухсина.— Он совсем не такой, как вы говорили.— Дядя очарованно смотрел на нее.— Он так хорошо рассказывает. Он, оказывается, переписывается с филателистами из четырнадцати стран. Показал свою коллекцию марок.

— Значит, вы разглядывали марки? — съехидничал Марат.

— Да,—простодушно призналась она.— Он не деревенщина, Марат-ака. А вы знаете, что мировой океан бороздят два корабля с вашим именем? Я их видела на марках. Ну-ка, угадайте, чтр это за корабли?!

— Корабль имени революционера Жана Поля Марата...— насмешливо произнес Марат.

— А второй?

— Второй...

— Не знаете! Вы хоть и Марат, а не знаете. К сожалению, оказывается, есть корабль, названный именем убийцы Жана Поля Марата.— Мухсина по-детски радовалась, что поставила ему «мат». Улыбнулся и дядя, любовавшийся ее непосредственностью, и подумал: «Неужели и она так же, как и Марат, рассуждает о нравственности?»

— А-а... убийцу знать не обязательно,— отпарировал Марат. Он поднялся и пошел вместе с девушкой.— Ну, ладно, пошутили и будет. Что же мы ответим маме про Латыфа?

Они вошли к больной. Успокоили ее, мол, с Латыфом все нормально. Мать поняла их уловку, но промолчала.

Проведать больную приходит много народу. Все говорят утешительные слова, но состояние старушки не улучшается. На каждого, кто входит, она поднимает пожелтевшие веки, улыбается, но быстро устает, лежит, напоминая осенний листок, готовый вот-вот сорваться с ветки. Она всегда опрятная, причесанная, платок на голове выглажен, простыни и наволочки белые, как молоко. Рядом с ней лежит носовой платочек. За всем этим следит Файзинисо.

Чаще всего с больной днем оставалась Мухсина. Ей казалось, что старушка смущается, что доставляет столько хлопот окружающим, и желает только одного, чтобы создатель скорей забрал ее.

Видно, между людьми, когда они долго не видятся, возникает отчуждение. Сегодня уже пятый день, как он здесь, а Марат войдет к матери, посидит немного, но не знает, о чем говорить с ней. Не станешь же все время говорить слова утешения. И он уходит во двор.

Мухсина невольно следит за ним. Вот он устал бесцельно бродить по двору. Сел на сури. Раньше он не курил, а теперь берет сигареты у Латыфа. Скучает. Посмотрел на часы...

Мухсина удивилась: почему он смотрит на часы? Чего ждет?

Конечно, его можно понять. Ведь он приехал на день- другой. А тут... В городе его ждут дела, решается судьба проекта, его детища, а он здесь, как привязанный. Его можно понять. Однако... Почему он вновь

взглянул на часы... Чего он ждет?

Марат вновь стал расхаживать, заложив руки за спину.

— Скучаете, Маратджан? — спросила Файзинисо, направляясь на кухню.

— А? Не-ет...— Марат остановился и огляделся, точно желая выяснить, где он находится. Мухсина пыталась отогнать неприятную догадку, но вновь сжалось сердце: он ждет, чтоб скорей...

Прижав лоб к холодной стене, Мухсина прислушалась, как учащенно забилося сердце от такой догадки. А больная лежала высохшая, закрыв глаза, утонув в белых простынях, белых подушках. Всем существом Мухсина ощутила тишину в комнате, ей стало страшно, и она выскочила во двор. Подошла к Марату. Он обернулся. Девушка похолодела, прочитав в его глазах вопрос.

— Ну что там, Мухсина?

Его голос по-прежнему знакомый и дорогой. На душе, как всегда, когда она видела его, потеплело. Ей стало стыдно, что она могла так нехорошо подумать о своем любимом. Конечно же, и ему нелегко. Целый день слоняться без дела. Но все-таки... Почему это нетерпение, поглядывание на часы?..

— Да ничего, она спит...— И Мухсина сама услышала, как ненриязнен ее голос, и уже мягче добавила:— Ничего, по-моему, ей лучше.

Ей показалось, что они что-то скрывают друг от друга. Сегодня Марат выглядит особенно удрученным. Что же угнетает его больше: болезнь матери или невозможность уехать в город?

Наутро они долго сидели у постели больной. Мать с любовью смотрела на сына, на его невесту, даже тусклые глаза ее оживились.

— Как жалко... отец твой не увидел этого дня...— медленно, но внятно проговорила она.— Сегодня на рассвете то ли в дреме, то ли наяву явился он мне... видно, забрать хочет...

— Мама! — недовольно воскликнул Марат.— Скажете же!

— Молчу, сынок! Но смерть все равно не обманешь...— И она посмотрела на Мухсину.— Он... вернулся с войны с двумя осколками в теле. Когда мы переехали сюда, здесь кругом были камышовые заросли. Решили вывести камыш. Осенью он угодил в болото...— Мать надолго замолчала, заново переживая события тех дней.— Прележал только три дня. Тогда мы-еще не успели оживить эти степи. Кроме трех-четырёх шалашей, камыша и соленого ветра, ничего не было...

Какое там кладбище, даже бугорка нет вокруг. Не хотелось оставлять его на чужом месте. Похоронили в родном кишлаке. Там и лежит...

— Мама, давайте поговорим о другом,— вновь прервал ее Марат. Он всей душой желал переменить разговор, а сам сидел, насупленный, не зная, о чем говорить,— Вот вы встанете... и мы...

— Не обижай, сынок, мою дочку Мухсину, что бы между вами ни произошло... Почему я всегда вспоминаю твоего отца? Он зажег огонь в моей душе. Он начал дело, а мы завершили его. Теперь Мирзачуль не узнать. Я должна сказать ему об этом, успокоить его. Меня рядом с ним...

— Мама...— недовольный Марат вскочил с места.

Мать и в самом деле никак не могла отрешиться от своих дум, ее речь казалась нормальной и в то же время походила на бред человека с высокой температурой. Встала и Мухсина, поправила подушки, аккуратно пристроила между ними увядший, но пахучий райхан.

— Мамочка, я просил вас не думать о плохом,— Марат сел и просительным тоном стал успокаивать ее, как малого ребенка,— быстрее поправляйтесь, поедem в город, справим свадьбу...

Мухсина вздрогнула. Конечно, больных утешают, хотя порой утешения похожи на обман, но прервать завещание матери... Это покорило ее. Кто бы мог подумать, что упоминание о своей свадьбе ей будет столь неприятным.

Мать и тут смягчила обстановку.

— Кстати о свадьбе... дочка, откройте сундук.— Она указала на старенький сундук, стоявший около ниши, где высились сложенные одеяла и курпача.— На самом дне, в уголке есть коробочка...

Мухсина сняла с сундука поднос с самоваром и открыла крышку.

Из-под белой бязи, приготовленной для савана, полотенец, черного бархата, каких-то отрезков, старинной безрукавки, пропахших мятой, душистым мылом, достала крашеную жестяную коробочку, закрыла сундук и поставила ее на табурет, рядом с кроватью. Слабыми руками мать открыла коробочку, развернула платочек, вынула старинное ожерелье и долго любовалась им. Серебряное украшение было тонкой работы, но тяжелое, чернели резные цветы.

— Покойница свекровь, да пребудет ее душа в раю, в день никаха надела на меня. А ей подарила ее свекровь на свадьбу. Очень старинная вещь. Я хранила его всю жизнь, ни у кого такого украшения не видела.

— Ой, красивое! — невольно вырвалось у Мухсины,— Ох и шло, наверно, вам?!

— Очень. Все восхищались.

— Какая вы счастливая! — выдохнула Мухсина.

— Была счастливая...

Они не могли налюбоваться тонкой работой. Довольный тем, что мать отвлеклась от мысли о смерти, и Марат присоединился к ним, бережно притрагиваясь к тонкой цепочке.

— Ну-ка, дочка, наклонись...— Старушка надела на Мухсину ожерелье. Оно так ладно пришлось на высокую грудь девушки, так шло к ее стройной фигуре, к ее прямому стану, что мать не смогла сдержать слез. Видимо, вспомнила свою молодость.

И Марат с Мухсиной глядели друг на друга, на их лицах отражались смешанные чувства, и они почти забыли, где находятся.

— Это тебе на память обо мне, дочка,— проговорила мать,— это наша семейная реликвия.

— Ой, это мне?! — недоверчиво прошептала Мухсина, прижав руки к украшению.

— Будь счастлива, дочка!

Мухсина обняла старушку, поцеловала и испугалась: ей показалось, что прощается с ней навсегда. И Марат был взволнован. Девушка бережно опустила ожерелье в коробочку и стояла, прижав ее к груди, точно не зная, куда ее положить. Марат осторожно тронул ее за локоть.

— Мама устала, пусть отдохнет,— шепнул он.

Они вышли, а больная осталась лежать с закрытыми глазами. Трудно было сказать, бодрствует она или спит.

Как всегда, вечерний чай пили на сури, перепелка пропела и стихла. А они долго разговаривали, любовались украшением, передавая его из рук в руки. Сегодня не было того мрачного настроения, которое обычно царило, когда родные собирались вместе за трапезой. Тихий вечер сменился бездонной темной ночью. Женщины ушли в дядин дом, Марат с Латыфом — в новый дом. Только дядя долго еще сидел на сури, держа на коленях украшение. Потом встал, на цыпочках подошел к двери больной, прислушался, вернулся, хотел разбудить Файзинисо, раздумал и присел, прислонившись к столбу айвана. Растерянность в усталом облике старого солдата сменилась нестерпимым страданием, затем он почувствовал упадок сил. Над дверью тускло горела лампочка, под лестницей трещал сверчок. Тишина пугала солдата, и он вновь по-

дошел к двери сестры. Открыл, переступил порог, за ним бесшумно закрылась белая дверь...

На заре, словно все проснулись разом, двор быстро заполнился соседями. По двору несся женский плач. Дядя и молодые мужчины были заняты необходимыми приготовлениями, старики указывали им, что делать. Только пришибленный Марат стоял в сторонке. Никого не удивляло, что самый близкий человек покойной, ее кровинка, ничего не делает. Каждый понимал: нелегко потерять мать.

Марат сунул было голову в комнату, где только вчера разговаривал с матерью, глянул на желтое лицо, иссохшее тело и отступил назад. Он не смог войти. Мухсина подошла, накинула на него халат и встала рядом. Она хотела приободрить его и вместе с ним пойти в комнату к покойной, но Марат не двигался с места. Когда все прощались с покойной, он вроде решился, сделал шаг- другой, но не вошел. Он посишел, точно озяб. Мухсине показалось, что он готов бежать из этого дома.

Уже в полдень к нему подошел дядя, повязал бельбаг, подвел к воротам и сказал:

— Встречайте и провожайте людей, принимайте соболезнования.

Марат простоял так часа два.

Когда все приготовления закончились, на чорпоя присели отдохнуть два старика. Один был уважаемый аксакал кишлака, другой учитель — пенсионер. Позже к ним подсел дядя. Мухсина невольно слышала их разговор, который запал ей в душу.

— Да, такое дело... Хоть и знаешь, что умрешь, но смерть все равно неожиданна...— проговорил аксакал.— Не каждый умеет достойно встретить ее...

— Люди, что провожающие на вокзале... Пришли проводить в последний путь. Жалеют, плачут.

— Встреча со смертью меняет человека. Он становится непохожим на себя. Ему хочется скорее избавиться от несчастья... Что делать, живой думает о жизни...

— До сих пор помню один случай,— заговорил дядя.— Мы взяли деревню Хитово. Когда утром с командиром обходили дома, то увидели, что в сенях лежит мертвый старик. «Кто убил его?!» — спросили мы. «Да никто, сам умер»,— ответили соседи. Мы так и разинули рты. «Смотри-ка!» — удивленно произнес командир, словно позавидовал человеку, умершему своей смертью.

— То было на войне. А теперь...

— Теперь люди умирают от последствий войны, от несчастного случая, от болезней, от старости. Но все равно — смерть, уходит человек... Почему же мы стараемся отвернуться от смерти, стараемся скорей отделаться от всех погребальных забот?

У ворот началось оживление. Во двор внесли старый табут, ручки которого стали совсем гладкими. Мухсина с бьющимся сердцем пошла искать Марата.

Марат все еще стоял у ворот, приложив руки к груди, встречал у провожал соседей.

— Вы что, забыли,— спросила она, глядя в его бледное лицо. Марат не понял.— Ваша мама говорила же... Чтоб похоронить рядом с отцом...

Марат схватился руками за голову.

— Ну сказала... не усложняйте.

Оглянувшись, Марат отвел девушку в сторону. Он съезжился, посинел, глаза красные, небритый, непричесанные волосы падали на воротник.

— Какое завещание? Какое завещание?! Подумайте сами, сейчас в Мирзачуле не шалаши... Не засмеют ли нас люди?

— Я думаю, что, если бы вы исполнили ее волю, вам самим было бы спокойней...

— Какое спокойствие?! Да знаете вы, что везти покойницу в кишлак — это еще на три дня забот? И так...

Мухсина вздрогнула. «Покойница...» Только вчера еще была «мама». «Мама» — какое хорошее, теплое слово. Она вспомнила слабую улыбку, слова: «Дочка мне очень понравилась!» До чего безжалостна смерть!

Перед тем как нести табут на кладбище, несколько молодых людей тихонько ушли. Некоторые ради приличия вытирали глаза. Покойницу провожали в последний путь.

Конечно, каждый мыслит по-своему, два человека не могут думать одинаково. Да в такие трагические минуты трудно на чем-то сосредоточиться. С покрасневшими веками Марат, опустив голову, стоял среди стариков. Он почему-то подумал, что кладбище близко к совхозному поселку, потом вспомнил про свой проект. Где лучше отводить место для кладбища? Конечно, подальше от города. Люди должны думать только о жизни. Но Марату могут возразить: кладбище должно быть в черте города, чтобы живые могли навещать могилы, разводить цветы... Этот воображаемый спор помог Марату

отстраниться от внезапно раздавшегося горького плача. Он был так опустошен, обессилен, что не мог ничего делать. Когда он встал в ряд, чтоб сменить тех, кто нес носилки, Латыф проворно оттеснил его и встал сам, и сейчас Латыф взял у него лопату. Латыф попевал везде.

Бросив горсть земли на могилу матери, Марат вытер руку о полу халата и не смог заставить себя оглянуться на могилу. Почему-то вспомнились слова Мухсины: «Вам самим было б спокойней...» А зачем волноваться? Смерть есть смерть. Ее нужно воспринимать как естественную реальность, не окутывая в обряды и обычаи.

В дни тази они не подходили друг к другу. Это сочли бы неприличным. Но не в этом дело. Просто Мухсине не хотелось встречаться с Маратом. Она подсобляла женщинам, как могла, но вид у нее был такой удрученный, что женщины жалели ее: «Какая душевная девушка! Переживает, бедняжка, точно родной матери лишилась».

Они отметили «три дня» и собрались уезжать. Марат, точно только и ждал этого, с утра торопливо собирал вещи. У них общая сумка. Марат привез ее. Марат и увезет. Прижав к груди жестяную коробочку, в которой хранилось старинное украшение — подарок покойницы — подошла Мухсина и отдала ее Марату. Он взглянул на девушку, потом на коробку и положил ее в сумку.

— Мухсина — тихо проговорил он, не поднимая глаз. Он заметил отчужденность девушки, чувствовал себя виноватым перед ней.— Лучше бы я не брал вас с собой... Знай я такой исход...

— Ну что вы, Марат-ака... Разделить с вами такое горе — это нужно и для вас и для меня.

Потом они не обмолвились ни словом. До автобуса шли молча, безмолвно сели на места. Проехав половину пути, Мухсина внезапно спросила:

— А вы были на могиле отца?

Марат глянул на нее, потом, устремив взгляд в окно, долго молчал, точно любовался маками, которые не успели поухнуть, так как росли в тени висячих бетонных арыков. Затем, взяв руку девушки в свои, неопределенно ответил:

— Чем быстрее мы забудем про старые обычаи, тем больший простор для будущего.

— Ваш отец воевал. Он защищал и мою жизнь. Вы же любите меня...

— Слишком глубоко вы взяли. Такие мысли... Такой взгляд... И без того жизнь не легка...

Вот и весь дорожный разговор. Что поделаешь?! Даже нежные чувства цепенеют от тяжелой утраты. Так оправдали они свое нежелание разговаривать.

В город они прибыли в час пик. Стремительность городской жизни несколько оживила Марата. Только Мухсина оставалась безучастной ко всему. Обычно при встречах и прощаниях они, незаметно для окружающих, целовались. На сей раз расстались сдержанно: «Отдыхайте», «Созвонимся», «Встретимся».

Через два дня Мухсина пришла к Марату. Она похудела, большие глаза стали еще больше. На поцелуй Марата она не ответила с прежней страстью.

— Сина... что случилось? — удивился он.

— Ничего... — грустно улыбнулась она.

— Вам нужно отдохнуть как следует... Что читаете? — спросил он, увидев под мышкой у Мухсины книгу, и прочел: — Чингиз Айтматов. «И дольше века длится день». Хорошая книга?

Девушка пожала плечами, мол, не знаю еще.

— Расскажите мне, когда прочтете. Сейчас я в такой запарке, вздохнуть некогда. Комиссия заканчивает свою работу, и скажу вам: есть хорошие новости.

Из дорожной сумки Мухсина принялась отбирать свои вещи и вдруг стала лихорадочно рыться.

— Что вы ищете? — удивился Марат.

— Подарок вашей матери...

— Ожерелье?! — Марат махнул рукой. — Да я заикнулся было о нем в институте, драмкружковцы так пристали ко мне, что я отдал его. Мол, бесценный реквизит для историко-бытовых пьес!

— Но, Марат-ака... — Мухсина так удивленно посмотрела на него, словно впервые увидела.

— Что я мог поделать, хоть они и кружковцы, но один — кандидат, другой — докторант, так пристали... — И он замолк, глядя в побледневшее лицо девушки. Подошел к ней, обнял. — Мухсина, неужели вы обиделись? Разве бы вы его носили, точно ветхозаветная старуха... — Он захохотал, но смех прозвучал фальшиво, а побледневшая Мухсина медленно двинулась к двери. — Мухсина! Если вы хотите, я вам куплю золотое, самое дорогое ожерелье...

Держа под мышкой небрежно свернутые вещи, Мухсина печально молвила:

— Прощайте,— и ушла.

Марат выскочил за ней, но дверь лифта захлопнулась. Он вызвал второй, но тот как назло не шел. Тогда он понесся по лестнице с пятого этажа, выскочил на улицу и остановился в растерянности: куда идти? Мухсины нигде не было.

Странно, что произошло с Мухсиной? С каждым днем все труднее с ней разговаривать. Марат желал освободиться от пут прошлого, от установившихся обычаев и правил, но словно завяз на пыльной дороге, не мог сделать и шагу. Неужели подобные тревоги — неизбежные спутники любви? Неужели и она — тяжкий груз? Неужели нет истинной чистоты?

Сначала это мучало Марата, а потом споры, суматоха, волнения, как мощный поток, смыли все его любовные тревоги. Комиссия отбирала творчески оригинальные, своеобразные проекты для передвижной выставки, которую предстояло показать в крупных городах республики. Наконец стало известно, что в число отобранных проектов попал и «Микрорайон» Марата.

Все сомнения и страхи Марата развеялись, как туман, и он вспомнил, что давно не видел Мухсину.

Он влетел в свой кабинет и кинулся к телефону.

— Сина! Привет! Можете поздравить! А? Все, как я говорил! Порядок... Спасибо!.. Почему такой голос? Вялый, говорю. Давайте встретимся на площади? Да, сейчас!

Положив трубку, он схватил дождевик и выскочил на улицу.

Было пасмурно и душно. Видно, дождь собирался. Пусть хлынет, прибьет пыль, отмоеет листья на деревьях, и запахнет тополем, Мухсина так любит этот запах. Марат даже представил себе промытую дождем площадь.

Однако над площадью навис серый день. Чуть прогнутая синяя скамейка, у которой они обычно встречались, свободна, а Мухсины не видно. Марат вышагивал возле скамейки. Он был под впечатлением приятного известия. Это — большая творческая победа. Так кстати удача посетила его, как раз в те дни, когда у него не ладилось с Мухсиной. Теперь все встанет на свои места. Все его стремления, бессонные ночи, нетерпение, волнение — все было направлено на то, чтобы порадовать Мухсину. Вот и настал его день!

Мухсина шла медленно в синем комбинезоне чертежницы. Она, как всегда, была прекрасна. Тяжелые мужские наручные часы, даже

поношенная спецодежда не портили ее.

— Поздравляю, Марат-ака, — сдержанно проговорила она, подав руку.— Вот и сбылись ваши мечты...

— Нет, знаете, когда сбудутся мои мечты? — подхватив девушку под руку, Марат увлек ее. Он чувствовал, что Мухсина не слишком радуется его успеху, но извинял ее, думая, что это следствие их прошлых невеселых разговоров.

— Когда?

— Вы же знаете, это — от вас зависит, Мухсина.

Девушка промолчала. Она не хочет разговаривать.

С этим нельзя мириться. Ее нужно увлечь приятным разговором, который смыл бы неприятный осадок в ее душе.

— Я хотел разделить с вами свою радость, а вы молчите...

— Нет, почему же...

— Конечно, меня могут упрекнуть, мол, траур, а он...— начал осторожно, обычным приятным голосом Марат.— Однако мы можем стать выше предрассудков. Пусть наша радость множится радостью, Мухсина. Наше счастье, наше будущее в наших руках. Как только... пройдет испытательный месяц... устроим скромную, современную свадьбу... Есть такое предложение. Что скажете?

Мухсина шла, уставившись на кончики туфель. Почувствовав волнение державшего ее под руку парня, она заколебалась. Но испугавшись, что, если и дальше молчать, то будет поздно, произнесла:

— Марат-ака!.. Я... я забрала заявление. Простите... Я думаю, что это не повредит нашей дружбе.

Марат опешил. Опустив голову, остановилась и девушка. Все было ясно. Ни шутки, ни недоразумения. Только теперь он осознал, что все эти дни в каком-то уголке сердца таился страх услышать эти слова.

Мухсина... что вы говорите?! А прежние обещания?.. Я ведь люблю вас! — Он порывисто схватил ее за руки. Глянув в его побледневшее лицо, девушка мягко произнесла:

— Любовь... Марат-ака, это очень древнее слово. Старина. Не будущее, во всяком случае, не ваше... будущее.

Марат уловил безжалостную иронию.

— Что вы все упрекаете: будущее, будущее!.. Разве это вина? И дерево тянется к солнцу.

Корни дерева в матери-земле. Иначе не смогло бы оно тянуться. Марат не сразу нашелся, что ответить. Потом разозлился.

— Я-то не упрекаю вас в набожности... Да, не забудьте рассказать своему будущему жениху, как вы дарили мне свои поцелуи! — И он резко отвернулся.

Чтоб не показать, как он больно ранил ее, Мухсина весело произнесла:

— Вот и слова ваши и голос сразу стали другими.

— Неужели за эти три недели я так изменился, стал плохим?

— Нет.

— Что же тогда?

Они вернулись назад. Теперь уже не шли под руку.

— Вы... все тот же, Марат-ака,— произнесла девушка.— Не знаю, что изменилось... Я долго думала: в нашей жизни есть нравственные истоки, духовные ценности, доставшиеся нам от предков. Человек, топчущий их, не может быть добрым и отзывчивым. В той книге, которую вы видели, рисуется способ наказания. После него человек теряет память, забывает родину, свою землю, родных, даже мать не узнает. Таких называют манкуртами... Не хочу стать манкуртом...

Ее слова, сути которых он не понимал, молотком били по голове. Марат обомлел. Всего он ожидал, но только не этого. Он осознал, что Мухсина ушла, по удаляющемуся стуку ее каблучков. Точно сбросив с себя тяжкий груз, девушка часто взглядывала на часы. Откуда такая безжалостность в этой тоненькой фигуре, в этом нежном существе, которое было ему дороже жизни...

Словно придавленный чем-то тяжелым, Марат не мог сдвинуться с места.

Мама умерла.

Мухсина ушла.

От творческих радостей не осталось и следа.

Откуда падают эти удары — оглушенный Марат не мог понять. Голова горела. На площади душно, пыльно, нечем дышать. Дождь никак не может разразиться. Ох, если бы полил...

1983

Мирмухсин
р. 1921

КЛЮЧИ СЧАСТЬЯ

В пустынной степи, где веками топорщился только колючий кустарник, вырос рабочий городок. Дома в нем новенькие, ладные, издали казалось, что кто-то аккуратно расставил здесь множество белых коробочек.

Но, как говорится, в семье не без урода. У самого въезда в городок, возле широкого шоссе, торчала ветхая убогая мазанка, окруженная полуразвалившимся глиняным дувалом. Мазанку пришлось подпереть толстым бревном.

Мазанка разрушалась на глазах... Но, видно, дорога она была хозяину, потому что каждый год, осенью, он привозил на одnogорбом верблюде саман, смешивал его с глиной и, взяв мастеров, принимался латать крышу, стены, дувал... Жители городка с сожаляющим любопытством следили за его работой. А ребята, заслышав верблюжий рев, бросали гонять футбольный мяч и со всех ног неслись к мазанке, поглазеть на диковинное животное. У верблюда был такой смешной горб, и он так смешно подгибал колени, ложась на землю!..

Уж несколько лет минуло, а ветхая мазанка все торчала у шоссе, на виду у всего города. И каждый, кто проходил мимо, недовольно хмурился. У всех эта мазанка была, как колючка в глазу!

И не удивительно, что когда на заводском партбюро зашел разговор о строительных делах, вспомнили и об этой «колючке». Один из выступавших, Туляган Тураев, сказал, что старая мазанка — «это уродливое пятно на общем фоне нашего города», и предложил направить туда бульдозер, сровнять мазанку с землей, а проживающих там старика и старуху выселить из рабочего городка и дать им жилье в другом месте.

Во время этого выступления старый рабочий Андреев с мрачной яростью давил в пепельнице докуренную махорочную самокрутку. Наконец окурок перестал дымить. Андреев взглянул на выступавшего:

— Туляган Тураевич!.. Вы-то сами знаете этих стариков!..

— Вот они у меня где!.. — Тураев провел ребром ладони по горлу. — Еще когда шло строительство, мы пытались их выселить... Куда там! Но теперь мы примем самые решительные меры.

Андреев встал с места.

— Нет, товарищи, так не годится! О выселении стариков тут говорилось, как о каком-то пустяшном деле. А это большой, важный вопрос!.. Я хорошо знаю хозяев мазанки. Старик — Разык Ибрагимов — пенсионер. У него двое сыновей на фронте погибли!.. Он тут родился, прожил трудную жизнь, сердцем прирос к этим местам... Вы все о доме говорите: сломать, снести, с землей сровнять! А о человеке подумали?.. Дом-то сломать легко, как бы при этом чужую судьбу не покалечить!.. Да и какую ж чужую?!..— Андреев помолчал.— Конечно, жить в этой мазанке — тоже мало радости... Тут и я проморгал. Знал ведь, как им туго, и молчал... А теперь вот что хочу предложить: пусть им дадут квартиру в новом доме. Вот хоть восьмью, что на втором этаже!

— Позвольте! — вскинулся Тураев.— Мы собирались представить ее Исакову.

Андреев отчужденно покосился на Тураева:

— Исаков пока холостяк, подождет... А эту надо дать старику. Пусть хоть остаток дней проживет по-человечески!

— Верно, Андреич!— крикнул кто-то с места.— Поддерживаем!

Тураев покраснел, машинально сунул руку в карман, достал папиросу, закурил. Исакову тоже, видно, было неловко: он беспокойно заерзал на своем стуле.

На следующий день, прямо после работы, Андреев поспешил к старикам. Он остановился у глиняного дувала, постучал в покривившуюся калитку. Из-за калитки донесся стариковский вздох, спустя минуту она открылась, и навстречу Андрееву с радушной улыбкой шагнул сам хозяин,— сгорбленный, с морщинистым лицом и белой бородкой клинышком. Он подал гостю руку:

— Ассалам алейкум, Андреюп, добро пожаловать!.. Давно ты к нам не навевывался. Как здоровье, Разык-ата? — заботливо спросил Андреев,— Как ревматизм?.. Нашли медвежье сало?

— Нашел, нашел! — закивал старик.— На здоровье не жалуясь. Да ты заходи, заходи.

Они прошли к айвану. Андреев, скрестив ноги, уселся возле низенького столика. Сел и старик.

Жена старика, Джахан-апа, подала на подносе лепешки, сахар, конфеты. Разык-ата, прижимая левую руку к сердцу, протянул Андрееву пиалу с кок-чаем:

— Угощайся, Андреев!..

Андреев глотнул терпкого, обжигающего чаю, повернулся к Джахан-апа:

— Как ваше здоровье, апа?..

— Спасибо, милый, спасибо, грех жаловаться... А у тебя как?.. Здоровы ли жена, дети?

— Все в полном порядке! — Андреев с минуту помолчал, огляделся.— А дом-то ваш еле дышит... Вон, смотрю, и подпорку поставили!

Старик ничего не ответил, только сокрушенно вздохнул... Вот и еще один явился, пенять да уговаривать. Знали, кого прислать,— старого друга, Андреева!.. К Разыку-ата каждую неделю приходил кто-нибудь от строителей или завода,— дался же им его домишко!.. Зачем тревожат покой старого человека? «Дом пора на слом, вам надо переехать отсюда!» А если он не хочет переезжать? Прогнал он одного такого «уговаривателя». И вот новый... Андреев!..

Разык-ата молча, насупившись, отхлебывал из пиалы чай. Но только гость открыл рот, чтобы продолжить разговор, как старик отставил пиалу и сердито промолвил:

— Погоди, дай мне сказать!.. Ты, Андреюп, старый партиец. Знаю. А я старый член Союза Кошчи!..⁵ Почему меня не уважают?.. Тебе мой дом не по нраву?.. А я в нем всю жизнь прожил — и не хочу скитаться на старости лет по чужим краям!— Глаза старика гневно сверкнули.— Никуда я из этих мест не уйду. Это земля моих предков. Отсюда я сыновей на войну проводил!.. Нет такого закона — старость не уважать! — Чуть поостыв, смягчившись, старик продолжал: — Ты уж прости, Андреюп, на тебя-то я не в обиде... Видно, уж некого прислать, раз тебя прислали. Плохой человек прислал!..

Меньше всего ожидал старый Разык-ата, что в ответ на эти слова Андреев добродушно рассмеется. Он уже собрался было обидеться на гостя, но тот вытащил из кармана какой-то ключ и торжественно положил его перед Разыком-ата на столик. Старик озадаченно уставился на Андреева, потом ткнул пальцем в ключ:

— Что это?

— Ключ.

— Ключ?..

— Ну да. Ключ от вашего дома.

⁵ Кошчи — название Союза батраков и бедняков (1919—1930).

Старик совсем растерялся:

— Какого дома?..

— А вот пойдемте, покажу.— Видя, как разволновался Разык-ата, Андреев улыбнулся.— Да вы не бойтесь, никто вашего дома не ломает. Пусть только попробуют!.. Я старый партиец, вы старый член Союза Кошчп. Уж как-нибудь сумеем за себя постоять, верно?.. А пока пойдем новый дом посмотрим. Понравится — переедете, а нет — оставайтесь в своей лачуге. А тех, кто досаждал вам, мы уже призвали к порядку.

Они поднялись, вышли со двора. Новый дом был совсем рядом — через дорогу. Поднявшись со стариком на второй этаж, Андреев открыл дверь тем самым ключом, который принес Разыку-ата. Старик так и замер на пороге... Из передней видна была большая комната, залитая солнечным светом. Андреев провел в нее ошеломленного Разыка-ата, показал ему две другие комнаты. Старик даже зажмурился: так ослепительно сверкали окна, блестели полы. Андреев включил электричество — днем свет лампы был совсем бледным. В кухне, в ванной он открыл воду — пусть старик видит, какие блага сулит ему вселение в новую квартиру!.. Но Разыка-ата, видно, уже проняло, он шел за Андреевым как во сне: после тесной, темной мазанки новая квартира казалась особенно просторной и светлой, и старику просто не верилось, что это чудо будет принадлежать ему. Он шел молча, только губы его беззвучно шевелились, и щурились в улыбке глаза... Андреев оглянулся на него — ему почудилось даже, что старик стал выше ростом, стройней.

— Ну, как, нравится?..

— Да будет тебе во всем удача, Андреюп!

— Я тут ни при чем,— засмеялся Андреев.— Квартиру вам государство дает. А мне только поручили вручить ключ.

— Да будет во всем удача нашему государству!.. Пусть миллион лет живет наша партия! — В глазах у старика стояли слезы.— Позаботилась о старом человеке... Вон какой дом для него построила!..

— Вот и переезжайте.

Старик, робея, спросил:

— А когда можно... переехать?

— Да хоть сейчас. Это ведь ваша квартира.

— Вай!.. Удачи тебе, Андреюп!.. Счастья нашей стране!..

— Довольны?..

— Не то слово сказал, Андреюп!.. Вай, как доволен!..— Старик

сурово сдвинул брови.— Теперь я сломаю старую мазанку!

Андреев принял равнодушный вид:

— Ну, это уж ваше дело. Можете и не ломать.

— Сломаю!.. Сегодня же и сломаю!.. Ты мне не перечь, Андреюп. Ты старый партиец, а я старый член Союза Кошчи. Ты меня уважай!.. Моя лачуга в нашем городе, среди таких домов и садов,— как пятно на новом халате. Сломаю!.. Для такого доброго государства... ничего не жалко!

На другой же день старый Разык-ата перебрался в новую квартиру. А еще через два дня он появился у своей мазанки с кетменем в руках... Взобравшись на крышу, старик решительно взмахнул кетменем.

Весь город это видел.

Сарвар Азимов
р. 1923

РАДУГА

Саратан — время летнего солнцестояния.

День раскален. И почти каждый в большом городе нетерпеливо поглядывает на небо. Ждут вечерних сумерек. Может, повеет прохладный ветер с Зерафшана, пронесется по самаркандским аллеям, остудит пышущие жаром дома...

Но что поделаешь — ожидания не оправдались... Сумерки выдались душными, ночь — жаркой. Черный провал неба дышал истомой.

Словно в постель насыпали колючек. Профессор ворочался с боку на бок. Пробовал прикладывать ко лбу мокрое полотенце, накрывался влажной простыней,— облегчения не было. Томилось сердце, ныло усталое тело.

Но будто этого было недостаточно, пришли неотвязные мысли об одном давнем деле. Они точили и точили профессора, бередили старую рану.

«Ах, дур-рак этот доцент Каримов. Дур-рак! Ведь однажды уже попадал в переделку, сойдясь со своей же аспиранткой... В пятьдесят лет! Допустим, и у младенца может вырасти борода... Но семья, дети?.. Конечно, для чувств не бывает «рано» или «поздно». Чувства, и все!.. Ну, а исход? Какой это поганой соли съел, что стал горьким пьяницей?.. В стельку пьяный доцент шатается по городу. И еще удивляется, тарачит красные глаза...

Стоп! Допустим, что у человека большое горе. Эх, профессор, рассуждать-то легко, а вдруг ты ошибся?.. Год-полтора. как возвратился из Ленинграда... Новый институт, незнакомые люди... А того, непутевого, нет... Нет, не может быть ошибки! Тогда я не мог поступить иначе, как только настоять на исключении из партии и изгнании с кафедры. Он ведь сам испоганил и жизнь свою, и честь...»

Медленно в изнуряющей духоте летней ночи тянется время.

По комнате вышагивает человек, уставший от бессонницы. Вдруг раздается резкий телефонный звонок.

Профессор зажимает уши, но кто-то с упрямой настойчивостью продолжает трезвонить.

Профессор некоторое время стоит неподвижно, надеясь, что

перестанут звонить, но не перестают...

— Ах ты... упрямец!..— говорит хриплым голосом профессор, вынужденный поднять трубку.— Да? Кто это? Что-что? Слушайте, что вы там бормочете? Как? Поднялась с постели? Говорите, пришла в себя? Это точно Барно? Сейчас выхожу! Спасибо.

Профессор, поспешно одевшись, выходит из дому. Ни равнодушный серпик, плывущий в духоте неба, ни тяготы разбитой дороги, ни капли пота, сбегающие между лопаток, не мешают ему. Шагает как джигит.

...Барно Каримова — женщина около тридцати лет — год назад была доставлена в клинику. Положение ее было тяжелым. Если б, как многие больные, она несла несуразицу, если б кидалась на каждого встречного... Однако заболевание Барно Каримовой было иным. Она не обидела бы и голубя. Миндалевидные черные глаза ее были всегда опущены, и сама она предпочитала сидеть, тихо постанывая и раскачиваясь из стороны в сторону. В истории болезни записано: училась, вышла замуж, родила... И все...

Но для волнения профессора есть еще одна, особая, причина: при лечении Барно был применен новый, рискованный эксперимент: двадцать дней голода, двадцать дней диеты. В кругу специалистов все еще идет серьезный спор. И находятся такие, что поговаривают: «Когда ж потянет он сеть с уловом?»

«Поразительно!..— думает профессор.— Чего людям нейметя... Опять же взять историю Садыка Каримова... Стоп. стоп!.. Садык Каримов... Барно Каримова!.. Да нет... Совпадение. Конечно же, совпадение... Во всяком случае, в клинике бы знали...»

Больная поправилась. А спустя несколько дней у профессора состоялась беседа с пациенткой.

Возле широко распахнутого окна сидит Барно, ясная, как луна. В блестящих глазах ни крупницы безумия. В одежде — полный порядок. И в палате едва уловимый запах духов.

— Не знаю, как и благодарить...— говорит Барно, и от волнения голос ее срывается.— Тысячу раз спасибо, профессор!

— Ну что вы! Для меня нет большей благодарности, чем ваша улыбка.

— Да будет ваша жизнь долгой, как чинара, профессор!

— Допустим, Барнониса, матушка моя... Но у меня есть к вам одна просьба...

— Говорите, профессор!

— Превосходно! Видите ли, матушка моя... вам, должно быть, известно... как говорится, что тот, кто ступил на путь науки, должен выкапывать иглой колодец... Вот в этом смысле...— продолжает профессор.— Если, конечно, вам не слишком тяжело... мне хотелось бы узнать кое-что, касающееся вашей прежней жизни, матушка моя...

«И зачем ему это нужно?» — думает Барно. В глазах ее появляется сердечная боль, тень старой тайны, стыд и запоздалое сожаление. И, не сдержав себя, она воскликнула:

— За больное задели, профессор!

— Извините! Если мой вопрос тревожит вас сердце, можете не отвечать.

— Будь по-вашему, расскажу... Может, облегчу душу...— Пальцы Барно сжимаются, взгляд становится отрешенным.— История моя длинна... Отцовской любви я не знала. Могила его затерялась где-то на пологих склонах озера Халхин-Гол. Бедная мать души во мне не чаяла, старалась, чтоб я не чувствовала сиротства. Работала она ткачихой на текстильном комбинате, работала, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем.

Когда я кончила мединститут, меня оставили в аспирантуре. Сами понимаете, если у двадцатичетырехлетней девушки и есть какие-то способности, все же стать аспиранткой — нешуточное дело. Как мы радовались с мамой! «Не было пророков из женщин, так, может, явится из их числа светоч целителей — Ибн Сина. Что скажешь, моя ясная?» — говаривала мама. Иногда, глядя меня по голове, она долго смотрела мне в глаза, иногда же бросала странные намеки. «Барно моя,— говорила она,— ты помнишь, наверно, я рассказывала тебе, как меня выдали замуж в шестнадцать лет? А нынешние девушки, кажется, ни о чем другом и не думают, как об учебе...»

И действительно, я пропадала целыми днями в клинике или лаборатории, была занята мыслями о предстоящей сдаче кандидатского минимума. Ведь мой руководитель... Садык Каримович...

— Кто?! — вскрикнул профессор, у которого выступил холодный пот на лбу. — Садык... Каримович?..

— Да, доцент Садык Каримович был моим научным руководителем,— продолжает Барно, словно не замечая состояния профессора.— В один из дней свалилось тяжелое горе на голову доцента: скончалась его жена... Я очень сочувствовала ему, была при нем... в его доме... Вошла в его дом и обратно не вышла... Не прошло и

года, как мы собрали самых близких друзей и раскрыли им свою тайну... Расстроенная такой опрометчивостью, моя мать воскликнула: «Бедная моя головушка! Не девочку я растила, а выпестовала вдовушку, достойную пятидесятилетнего вдовца!..» Она отвернулась от меня.

И еще... Под тем предлогом, что совратил свою молодую ученицу, мужа моего обсуждали на собрании. Наказали. Меня же выставили из аспирантуры: для распушенной девицы Барно, видите ли, важен не муж, а его достаток...

Что поделаешь?.. Стал он выпивать... Л между тем ш^о время. Родились у меня близнецы — Тахир и Зухра. Стали они для нас нашей радостью и утешением. Я — мать, он — отец. И жизнь наша как будто бы вошла в колею. К монографии Садыка Каримовича стали прибавляться все новые и новые страницы. Я тоже стала подумывать о поступлении на работу.

Но я негодовала, когда Садык Каримович расхваливал своих новых аспирантов. Все он говорил: «Тулкынджан такой, Тулкынджан сякой... Если все пойдет нормально, без сомнения, станет академиком. Острейший ум...»

Я завидовала: ведь когда-то он и обо мне говорил так. Может, все мои способности исчезли после замужества? Эти мысли тотчас проходили, как только я видела веселого, крепенького Тахира и говорливую, как речные струи, Зухру. Я повторяла себе: «Они — моя радость, они — моя опора в горе...» Вы не устали, профессор? Может быть...

— Нет-нет...— произнес профессор, весь превратившийся во внимание.— Продолжайте, коль это вам нетрудно.

— Воля ваша... Была весна. В воскресенье после завтрака я решила, что погуляю с детьми в парке... Приглашала и их отца, но тот отговорился тем, что ждет Тулкына. Всегда стало так — и в понедельник и в воскресенье.

Работа и работа. Только работа... Детский шум ему не нравился, да и на меня перестал обращать внимание.

И вот умыла, причесала Тахира и Зухру. Да и сама вырядилась. Меня не кольнуло даже его слова: «Что, по- невестится захотелось?»

Только мы собрались выйти из дому, послышался звонок. Я открыла дверь. Передо мной стоял подтянутый, стройный молодой мужчина. Глаза его светились теплой улыбкой, а лицо показалось очень знакомым.

«Извините. Я не ошибся? Дом Садыка Каримовича?»

«Пожалуйста. Он ждет вас».

«Благодарю. Эти красавцы — его дети?.. Будем знакомы: меня зовут Тулкын...»

Сердце у меня екнуло и словно провалилось... куда-то в прошлое. Господи! Неужели это тот самый, давно позабытый озорник и непоседа Тулкын, который еще в школе житья мне не давал, дергая за косички?..

Я не помню, как вышла из дому, как провела время в парке. Мысли мои были в полном смятении. Словно кто-то ворвался в стаю мирных голубей и стал безжалостно их разгонять. Словом, хоть не возвращайся домой. Встретиться еще раз с ним у меня не было ни сил, ни желания.

«Ушел, наверное»,— думала я, направляясь домой. Только это и могло утешить меня. Нам открыл Садык Каримович и тут же скрылся в своем кабинете. Я прислушалась к голосам и догадалась: беседа в разгаре. Басовитый голос Тулкына... «Хорошо, что не ушел... Еще раз взгляну на него...» — думалось мне. Как говорится, свежерастопленная печь жжет сильнее. Взгляд этого человека поверг меня в странное состояние. Я сама себя не узнавала. Наскоро уложив детей, я собрала на стол и пригласила гостя в столовую. Сели за стол. Садык Каримович взглядывал на меня исподлобья, словно хотел спросить: «Что-то ты не в себе. Нездоровится?» А я прикидывалась, будто не понимаю его взглядов.

— Ушедший вернется. Не вернется порубленный, говорят, Садык Каримович — произнес Тулкын. Похоже, они продолжали начатый в кабинете разговор.— Сказать вам правду, я уж потерял надежду остаться в живых после этой солончаковой полыни.

— Что ж, Тулкынджан, очевидно, голова ваша оказалась твердой, как точильный камень брадобрея.

— Не знаю, Садык Каримович...

«Господи!— думала я про себя.— До чего же сильным может быть человеческое обаяние!» Мысль так и светилась в его глазах. Когда он произнес: «Потерял надежду...» — легкая улыбка прошла по его лицу. Какое-то издавна знакомое мне озорство мелькнуло в глазах, потонуло в ямочках щек... Я выронила нож...

— Врачи военного госпиталя,— продолжал гость, подняв с пола нож и взглянув на меня,— побороли смерть и поставили на ноги вашего ученика. Тогда-то родился заново на свет молодой солдат и поклялся, если хватит сил, посвятить себя делу врачевания. Нынче в

вашей воле сделать так, чтобы клятва моя не оказалась пустой, мой учитель...

Он склонил голову. Я смотрела на волнистую его шевелюру, и в памяти мелькнули слова поэта Джами:

*Бесплодный сук ввысь тянется кичливо,
А ветвь с плодом поклонятся учтиво.*

У меня не оставалось ни крупицы сомнения. Это он! Так и предстал перед глазами школьный двор; всполошив всех, с криком носится Тулкын: «Я поцеловал Барно!..» А я, догнав его, вцепляюсь в кудрявые волосы...

Я не знала, что делать: встать и уйти вроде неудобно, а остаться... Я еще никогда не испытывала подобного состояния, такого нагромождения самых разных чувств...

Он, видно, почувствовал это и тотчас поднялся с места.

— А Барно меня не узнала, учитель. Мы были одноклассниками...— сказал он, прощаясь.

У меня задрожали ноги, голова гудела, как мельничный жернов, на глаза накатила тьма — и... обморок. Когда я раскрыла глаза, увидела, что лежу в кровати. На глазах детишек слезы, муж хлопочет у моего изголовья. Разверзлась бы земля и поглотила меня, несчастную!..

Вот так ушел мой покой. Ночи бессонны, дни полны нетерпеливого ожидания. Из рук все валится, а слух ловит каждый шорох у дверей. Как говорится, дьявол тащил меня к Тулкыну, а стыд и совесть тянули в обратную сторону.

Наблюдавший за мной Садык Каримович однажды предложил:

— Барнохон, вы что-то очень сдали. Давайте поедем завтра... за тюльпанами?

— Как хотите...

— Отлично. И дети повеселятся.

Была весна. Кругом целомудренная чистота и ласка пробуждающейся жизни. Как же утешает человеческое сердце эта пора зеленеющих ростков!.. То плоская, то бугристая поверхность степи... И всюду природа украсила свой чистый ковер кроваво-рубинными тюльпанами. Пелл жаворонки, пьяные этой ворожкой, и казалось, что кричали они: «Не топчи траву, не трогай тюльпанов!..» А у детей глаза засверкали как звезды, и они раскрылись этой красоте. Садык

Каримович сел в сторонке и занялся просмотром какой-то книги.

Одна я пошла по степи. Тюльпаны словно тянули к себе. Высоко пели жаворонки. Я склонилась над тюльпаном, но сорвать его не посмела: в земляной ямке поместилось гнездо, вылепленное с тщанием ювелира. А в гнездышке лежали рябенькие яйца жаворонка... И почему-то именно в это мгновение я подумала о Тулкыне. Когда я подняла глаза, передо мной стоял он — то ли вынырнул из-под земли, то ли спустился с небес...

— Тетушка Барно, жаворонки тревожатся. Как бы не повредить их гнездышко,— сказал Тулкын, и в голосе его чувствовалась дрожь.

— Почему вы меня зовете тетушкой? Ведь мы же одноклассники?

— Почему? Да потому, что положение ваше обязывает!..

— Значит, говорите, постарела?

— Нет. Те же знакомые глаза... лишь более печальные... И те же косы...

— И вам не стыдно?

— Отчего же? Может, и стыдно... Конечно, уважать семью своего наставника — мой долг. Однако, если по совести, я хотел бы сказать...

— Видимо, в том нет надобности. Прощайте!

— Молю, послушайте!.. С тех пор как я побывал в вашем доме, я сам не рад себе... сердце мое в крови, как эти тюльпаны... душа моя беспокойна, как эти жаворонки...

— Благодарю за откровенность.— Я с трудом продолжала: — Мне нечего жаловаться на судьбу. Мое желание — пусть будут невредимы и гнездо жаворонков, и дом вашего наставника, и ваше сердце... Тулкынджан, во имя человечности... умоляю вас... обещайте не искать случаев для встречи со мной!

— Коль мой разум сможет победить сердце, пусть будет по-вашему, Барно,— сказал он и удалился.

Я заторопилась домой. Ночью не смогла сомкнуть глаз.

Назавтра муж вернулся из института расстроенным: Тулкын ушел из аспирантуры и отправился в дальнюю экспедицию с партией геологов. «Молодо-зелено... Отныне нет пути в мое сердце аспирантам...»—проворчал он обиженно и скрылся в кабинете.

Мои же мысли были противоречивы. То я преклонялась перед отважным сердцем и чистой совестью Тулкына, то в следующее же мгновение восставала против его поступка: мне начинало казаться, что он сбежал от меня. То я плакала, то утешалась... Отрава любви!.. В мои-

то годы — и впервые стать пленницей любви!.. То начинала жалеть мужа, то укоряла в том, что не сумел зажечь сердце жены. Во всем виноват он сам, твердила я.

Дни бежали. Прошло около года. И вот однажды вечером Садык Каримович не вернулся домой. Лишь перед рассветом позвонил по телефону.

— Барнохон, меня не ждите. Может, и сегодня задержусь допоздна,— сказал он.

— Что случилось? — вырвалось у меня, потому что сердце вдруг сжалось в предчувствии беды.

— Да вот... вчера доставили его на самолете.

— Кого — его?

— Как кого? Тулкына, конечно! — В голосе его слышались досада и печаль.— Сорвался камень под ногами, и он рухнул в пропасть. Голова разбита... большая потеря крови... без сознания...

— А есть надежда, что... выживет?

— Один шанс из тысячи. Положение тяжелое... Ладно, целуйте детей.

Жар бросился мне в лицо... Неужто же так безжалостна судьба, что, так поздно подарив мне, несчастной, чудесный цветок любви, тотчас торопится сорвать его?!

Вспомнила все, что связано с ним. То, как он вошел в наш дом... его слова: «Сердцу мое в крови, как эти тюльпаны...», его бегство, наконец, эта черная весть... Все это — одно... А Садык Каримович, семья, счастье детей — другое. Что же избрать? Конечно же второе. До любви мне теперь?! Ох, моя бедная головушка!..

...— Хватит... Достаточно на сегодня, матушка моя, вы устали,— глухим голосом произнес профессор. Он тоже переживал. Кто знает, может, сам испытал в молодости нечто подобное...— Выпейте-ка вот это, головная боль тотчас прекратится... 1

, — Воля ваша. Кажется, я напрасно рассказала вам свою историю. Утомила вас?

— Нет, нет, нет! Нисколько! Это именно то, чего я хотел... Однако, сдается мне, пламя прошлого жжет вам душу, причиняет мучения...

— Мучения? Вот здесь вы, кажется, ошибаетесь, профессор. Это не мучения, а память о сладостном и горьком, повесть о счастье и несчастье. Коль есть у вас терпение...

— Извольте! Слушаю вас, матушка моя...

— Словом... я и сама не помню, как добралась до клиники, как вошла в его палату и села возле него, разглаживая его сведенные брови. Ни стыд перед мужем, ни страх пересудов не могли заставить меня уйти из палаты. Я окружила его своей любовью, пытаюсь преградить дорогу смерти. Наконец он раскрыл глаза...

— Барно, вы?..

— Умоляю, не разговаривайте... Лежите тихо.

— Не сдержал я обещания... не показываться вам. Простите.

Я прижала его к груди, целовала и целовала в глаза... В них вдруг показались слезы. Вкус этих слез, обжигавших мне губы, приобщиал меня к тайнам настоящей любви, любви, впервые проснувшейся в моем сердце...

— Радуга!.. Барно, взгляните-ка, радуга!..— начал он вдруг бредить.— Когда Сырдарья и Амударья хотят соединиться, они перекидывают между собой радугу... Радуга взвилась из Сыр и упала в Аму... Я был тому свидетелем... Долго я искал эту радугу... Вас... Помните жалобы жаворонков? Вот... тюльпаны дарят свои краски радуге... Вы и есть моя радуга...

Растопил меня, несчастную, как воск... и скончался Тулкынджан. С криком я выбежала из палаты.

Его похоронили. И с тех пор каждый день... кладбище... букет цветов.

Садык Каримович, безмерно огорченный, пробовал меня увещевать — и безрезультатно. Пробовал лаской — не помогло. Тогда он запил с тоски. Детей отправил к родне. Благополучие покинуло наш дом. Каждый горел в своем огне...

Я и не заметила, как наступила новая весна, как оделась в зеленый наряд природа, принесла цветы на радость людям.

Всего лишь две весны, и между ними столько перемен!..

В сумерки я пришла на кладбище. Кругом тишина. Лишь внезапно поднявшийся ветер сушил мне слезы и словно толкал меня в грудь, приговаривая: «Уходи! Уходи!» Я плакала, утихала, снова плакала. Вспомнилась прошлая весна... зеленая степь... Опять в ушах моих зазвенел голос Тулкына: «Сердце мое в крови, как эти тюльпаны... Душа моя беспокойна, как эти жаворонки...»

Начинал брезжить рассвет, когда я вернулась домой.

Едва переступив порог, я подняла с пола записку.

«Барнохон, не корите меня. Потеряв вас, я потерял себя. Конец.

Теперь я никому не нужен — ни вам, ни друзьям, которые выкинули меня из своего круга. Может, они правы. Коль сам не ценишь себя, друзья и товарищи отвечают тем же. Бойтесь потерять достоинство.

Остаются малыши мои, Тахир и Зухра. Да не даст им почувствовать сиротство ваша ласка. Прощайте! В надежде, что простите меня. Ваш Садык».

Он покончил с собой.

«Помогите!» — крикнула я и метнулась на улицу. Больше ничего не помню...

Рассказанная история совершенно оглушила профессора. Плечи его согнуты, словно их давит камень. В глазах смятение. Дыхание рвется. Не простившись, он выходит из палаты Барно.

«Ах ты глупец!.. Черствый и жестокий,— шепчет он, по-стариковски тяжело ступая.— Вместо того чтобы протянуть руку дружеского участия, запетушился. Выгнали с работы, исключили из партии, а?! Это мой грех! И я должен рассказать обо всем товарищам. Да, дорогие, равнодушные — непростительный грех!»

Саида Зуннунова
1926-1977

РУКИ

На свадьбе было весело и шумно, но гости разошлись и весь двор и дом погрузились в тишину.

Все вокруг спали, устав от веселья и от хлопот. Не спала лишь одна Малика, хотя она устала, пожалуй, больше всех. Шуточное ли дело женить сына, накрыть стол так, чтобы никто не вспомнил, что у парня нет отца.

А теперь Малика бродила по двору, глядела на лампочки, развешенные на деревьях, и устало улыбалась: столы так и остались почти неубранными, а «помощницы» уснули кто где.

Малика не могла заснуть. Она заходила в свою комнату, ложилась в постель, закрывала глаза, но сон, словно рассорившись с нею, не шел. Она опять встала, вышла во двор и начала потихоньку собирать посуду, но работа не ладилась: Малика боялась сделать неосторожное движение и разбудить кого-нибудь из уснувших. Она опять вошла в свою комнату и присела на тахту. Радость захлестнула ее: Бахтияр, ее мальчик — взрослый, женатый человек. И, словно разорвав все занавески, в комнату влетели воспоминания. Много лет Малика не пускала их сюда, а только хранила в сердце. А теперь они ворвались в эту темную комнату вместе с ночной прохладой, вместе с лучиками от лампочек, развешенных во дворе.

Малика встала, опустила занавеску и зажгла свет.

Нет, вовсе не для того, чтобы прогнать воспоминания. Они были сейчас здесь, с нею, очень ясные и четкие. Малика посмотрела на свои руки — натруженные, с вздувшимися жилами. Тоненькое колечко с красным камешком казалось на них чужим.

Это колечко подарил ей муж в день свадьбы. Тогда ее руки были белыми, красивыми и беззаботными. Колечко очень ладно сидело на пальце, украшало ее руки. С тех пор Малика не снимала кольцо. Оно было с нею везде, а красный камешек часто улыбался ей из воды, в которой она мыла посуду, из черного масла, которым она протирала станок. И когда казалось, что Малика вот-вот упадет от усталости, это колечко поддерживало, подбадривало ее. Оно напоминало Малике о любви, о верности, о счастье.

Близился рассвет. Уже где-то пропели петухи.

Малика сняла с гвоздика ключ и осторожно, чтобы не загремел замок, открыла сундук. В лицо ударил запах нафталина и еще какой-то до боли знакомый запах.

Вот здесь, в этом сундуке, всегда закрытом на ключ, тоже воспоминания. Малика осторожно вынула три мужских рубашки, немного потертое пальто и совсем еще новенький костюм. Она положила все это на колени и задумалась, а руки, постаревшие руки со вздувшимися жилами, гладили и ласкали воротник и рукава и делали это так осторожно, словно боялись причинить боль.

Вот уже семнадцать лет Малика каждую весну посыпает эти вещи нафталином, а осенью тщательно вытряхивает и просушивает.

Зимой это пальто висит рядом с пальто Малики и сына, и кажется, будто его хозяин здесь, вместе с ними и только вышел куда-то ненадолго. Даже в трудные годы, когда была война и порою нечего было есть, Малика хранила эти вещи. Ей и в голову не приходило продать их. Ее руки могли трудиться и трудились; стирали, мыли, смазывали черным маслом станок. Малика помнила, как муж любил эти вещи и как особенно берег новый костюм.

Все это было куплено в счастливые и радостные дни, и Малика не могла себе представить, что эти вещи будет носить кто-то другой.

Она работала на заводе, и жить было легче, потому что она была среди людей и горе не казалось таким обнаженным. Вокруг было много женщин с такими же судьбами и с такой же жизнью.

Малика получила извещение гибели мужа, и эти женщины — ее подруги — стали в тяжелые дни ее родными сестрами. Они не дали ей согнуться, не дали упасть.

А дома она плакала, зарывшись лицом в пальто мужа, плакала тихо, чтобы не слышал сын.

И эти вещи по-прежнему висят здесь зимой и лежат в сундуке летом.

Малика старалась, чтобы он, ее Бахтияр, был похож на отца, стал таким же трудолюбивым и честным. А он и был удивительно похож на отца, даже привычки отцовские.

Она вырастила сына. Эти руки кормили и ласкали его, эти руки сшили платье для его невесты и накрывали свадебный стол. У парня нет отца. Но отец сегодня весь вечер был здесь, рядом. Он вместе с Маликой встречал гостей, хлопотал у стола, желал счастья молодым.

Лампочки, развешенные на деревьях, слились с солнечным светом. Проснулись «помощницы» и принялись убирать и мыть посуду.

Малика зашла в комнату сына. Она выпила чай, поданный невесткой, поблагодарила ее и еще раз пожелала счастья.

С трудом сдерживая слезы, она протянула сыну отцовские вещи:

— Теперь ты совсем взрослый, — сказала Малика, проглатывая комок, подступивший к горлу, — и можешь носить эти вещи. Надевай их в праздники и в самые счастливые дни. И береги их. Если бы был жив отец, он, наверное, подарил бы тебе сегодня что-нибудь, дочка, — сказала Малика, обращаясь к невестке. — Это кольцо он подарил мне в день нашей свадьбы. Сегодня я хочу отдать его тебе, и пусть твои руки никогда не узнают горя. Бахтияр тебя не обидит, он похож на отца. И ты не обижай его.

Малика надела кольцо на палец невестки и посмотрела на ее белые, нежные, беззаботные руки. Тоненькое колечко с красным камешком ладно сидело на пальце, и Малика подумала, что эти руки смогут быть сильными и верными.

1961

Адыл Якубов
р. 1926

ПРОЩАНИЕ

За последнюю неделю старому мастеру Кабулу стало совсем плохо. Он лежал на спине в лучшей комнате дома, у окна в сад, на деревянной кровати. Под головой несколько подушек. Коротко подстриженная белая борода смотрит в потолок, виски вдавлены, прямой нос заострился. Только руки с вздувшимися венами, большие, костлявые и исхудавшие, остались сильными и красивыми.

Боль была в желудке. Казалось, что туда забрался голодный еж и вот уже месяц, как он то царапает, то грызет, то жжет чем-то горячим.

Уже неделю старик не может есть, и только когда огонь внутри становится невыносимым, он пьет из глиняного кувшина несколько глотков холодного кислого молока.

Поняв, что дела его плохи, Кабул попросил вызвать младшего сына Надира, живущего в городе, и тот третьего дня приехал вместе с женой.

С тех пор как мастер заболел, дом был вечно полон людей.

А с прибытием Надира народу стало еще больше, и старшая невестка Гульджахон совсем сбилась с ног. Посетители сидели подолгу, в гостиную заходили с грустными лицами, и когда спрашивали старого мастера о здоровье, глаза у них становились печальными, а в голосе была тревога. Но старый мастер н? расспросы о здоровье отвечал: «Слава богу»,— и посетители веселили, завязывалась беседа, даже слышался смех.

Вот и сейчас под окном на деревянном настиле разгорелся громкий спор среди гостей, окруживших Азиза-домлу, седого, моложавого. Рядом с ним — НаDIR. На нем небесно-голубые шелковые бриджи, а сквозь белую, тоже шелковую майку виден большой, выпирающий наружу живот. НаDIR пополнел, и кажется, что именно из-за этого лицо у него стало красное и глаза щурятся из-под опухших век. В общем, НаDIR выглядит неправдоподобно важно, почти величественно. Он часто вытирает красивым платком капли пота с шеи и носа и предпочитает молчать, а на вопросы, прямо к нему обращенные, отвечает кивком головы и улыбкой.

В последний раз НаDIR приезжал три года назад, когда умерла мать, и прожил тогда у отца дней десять. С тех пор как-то не находилось

времени приехать, и хотя отец звал его, НаDIR так и не сумел вырваться. Вот только в прошлом году осенью прислал в кишлак свою старшую дочку Фирузу, чтобы она побыла у деда, пока он, НаDIR, закончит свой научный труд.

Мастер давно не видел сына, и теперь НаDIR кажется отцу сильно изменившимся.

Против НаDIRа сидит, скрестив ноги, колхозный бухгалтер Икрам. Он тоже очень толстый — голова ушла в плечи так, что шеи совсем не видно, а большой круглый живот лежит у него на коленях, и только Самад, недавно выбранный председателем, все такой же высокий и поджарый, как прежде, с обожженным на солнце смуглым лицом. И разговор они ведут какой-то странный. Вот уже целый час обсуждают проблему молодежи.

Начал разговор, конечно, Азиз-домла. Поминутно поглаживая длинными, неживыми пальцами бледные губы, он жалуется на молодежь: неучтива, невоспитанна, не интересуется наукой. Говорит он горячо, будто спорит.

— Правильно! — перебивает Икрам, поднимая грузное тело.— Нынешняя молодежь позабыла не только уважение к старшим, но и все наши обычаи.

Самад нахмурился.

— Ты уж слишком! — В его голосе чувствуется неловкость. Но Икрам этого не замечает.

— А что, не правда? Мы разве такими были в школе?

Вот пусть домла сам скажет.

Домла поглаживает губы.

— Да, то было другое время,— и как-то странно улыбается.

«Все та же баня и тот же таз,— думает мастер.— Ругают молодежь».

— Правильно, домла,— это голос Икрама.— Мы были другими. И многие из нас вышли в люди.

— Например, в великие бухгалтеры,— смеется Самад.

— Я о себе не говорю. А вот, например, НаDIR. Стал ученым. Защищает диссертацию.

Все повернулись к НаDIRу. Он улыбается, но непонятно, доволен он или нет словами Икрама.

«Да, ученый! — думает мастер.— Великое слово, священное слово».

Азиз-домла смущенно улыбается: он любил НаDIRа с детства, считал его своим учеником.

— Ты нас не слушай,— говорит он, кладя руку на колено Надира,— расскажи лучше о себе. Диссертацию закончил?

Надир вытер платочком шею и лицо, приподнял брови и помолчал.

— Закончил,— сказал он наконец.— Уже автореферат разослал. Если бы старик не заболел...— он покосился на окно,— я бы на следующей неделе защитился. Теперь боюсь, что перенесут на осень. Но что же делать, старик плох.

Снова наступило молчание.

«Старик,— подумал мастер.— Старик».

Надир прежде называл его «папа», и новое слово казалось чужим, от него заныло сердце. А может быть, боль расшатала нервы.

Третьего дня, когда обе невестки разом вошли к больному, мастер расстроился и прослезился. Он дотянулся иссохшими руками до спинки кровати и попытался подняться. Но вошел Надир и не дал ему встать, а сам уселся на край кровати.

— Ну как вы, старик? — спросил он.

Мастер услышал это слово, и боль, которая было утихомирилась, всколыхнулась с новой силой. Он повернул голову к побледневшей невестке, поздоровался с ней и упал на подушки.

С того дня мастер слышал слово «старик» постоянно, но никак не мог к нему привыкнуть.

Из тишины снова возник голос Икрама.

— Ничего, мастер молодец. Выздоровеет, еще будет бегать, как конь.

Надир скрестил ноги и кашлянул.

— Конечно,— сказал он,— диссертацию можно было защитить и раньше, ведь вы сами знаете, мне от вас скрывать нечего. У меня семья...— Он обращался больше к Азизу-домла, а тот кивал головой, улыбался.— Раньше и не знал, что так тяжело с семьей... В доме все нужно: и нитки, и иголки, и ложки, и плошки,— засмеялся Надир.— Правда, старик помогал. Несправедливо было бы умолчать об этом. Но семья есть семья, и жить хочется все лучше и лучше. Однако...— Надир смахнул каплю пота с кончика носа и опять улыбнулся.— Да мы и живем лучше, мои заботы не пропали даром, сами увидите, у нас теперь ни в чем нет недостатка. Уют и порядок.

«Уют, порядок,— думает мастер.— Ложки-плошки».

Самад кашлянул:

— Как называется диссертация?

— Тема диссертации,— Надир вытер платочком лоб,— может показаться несколько странной неспециалисту — «Нервная система лягушки». Дело в том, что между нервной системой человека и лягушки есть известное сходство. Вот домла знает.— Надир повернулся к Азизу-домла, и тот быстро закивал головой.

— Конечно, конечно,— сказал он, поглаживая губы.

«Лягушка,— думает мастер,— человек, нервная система». Он вдруг почувствовал, что у него болит голова от этих разговоров, и, собрав силы, повернулся на бок. Мягкий ветерок коснулся его лица и принес запах цветов. Мастер приподнял голову и посмотрел на яблоню во дворе. Тень была на обычном месте: скоро придет Абдулла-джан. Вот уже месяц, как старший сын заменяет отца на строительстве больницы. И каждый вечер после работы отчитывается перед мастером.

Старый мастер думал об этой стройке так, как если бы она была последней памятью о нем. Он вложил в это здание все свое искусство и поэтому каждый день с нетерпением поджидал Абдулладжана и так жадно слушал его обстоятельный рассказ. И даже боль в эти минуты утихала.

Больница строилась за счет района и колхоза. Не очень большая, всего восемь комнат. Но в прошлом году руководители района в самый разгар работ надумали строить вместо больницы стадион (тоже придумали!). Одних колхозных средств не хватало, и строительство больницы приостановилось. Если бы мастер не заговорил об этом на отчетно-перевыборном собрании, кто знает, может быть, и в этом году здание не закончили бы. Мастер мечтал сам его построить, а потом уже отправиться вслед за женой, но вышло иначе — он возвел только стены, крышу уже кроют другие, а сам мастер лежит на спине у окна в сад.

Мысли прервали Дети, прибежавшие с улицы. Среди них — два сына Абдулладжана и Фируза — дочка Надира. Мастер как-то по-особому нежно любит эту девочку. Ему нравятся ее глаза — блестящие и черные, как виноградины, такие глаза были у жены в молодости.

До приезда Надира Фируза бегала, как и мальчики Абдулладжана, в стареньком платьишке, а теперь приехала мать, и девочка щеголяет в коротеньком белом платьице, с белыми лентами в косах. Она похожа теперь на стрекозу, прыгающую с ветки на ветку.

«Пусть твой век будет долгим, девочка»,— подумал мастер. Он смотрел на детей и думал о том, что ведь и Надира он любил больше

других сыновей, с самого детства баловал. А затем вдруг вспомнил, как еще до войны он ставил двадцати четырехкомнатное здание школы, строили его всем колхозом, и его, мастера, сделали ответственным за это строительство. Помогать приходили и учителя. В полдень НаDIR приносил отцу узелок с едой. Учился он тогда не то во втором, не то в третьем классе и был очень похож на отца: высокий и худой. Мастер каждый раз радовался его приходу, да и другие любили его, а учителя похваливали. Особенно отличался Азиз-домла: «Учится во втором классе, а умнее иных пятиклассников», — повторял он, намекая на то, что не у всех такие удачные дети.

Сначала НаDIR смущался, прятался за спину отца, а мастер смеялся. Потом мальчик привык к этим похвалам и даже словно ждал их. А потом началась война. У всех было свое горе. После войны счастливая звезда засияла над головой НаDIRа. Фотографию талантливого мальчика напечатали в газете — он приветствовал иностранных гостей, говорил с трибуны, и все учителя предсказывали ему большое будущее.

Со временем и мастер стал глядеть на сына по-иному — освободил его от всех домашних дел, и НаDIR лучше всех окончил школу. А потом уехал в город. Мастер ничего не жалел для сына, да и Абдулладжан постоянно помогал ему.

НаDIR и в городе учился хорошо, и, должно быть, поэтому его оставили в институте.

Мастер был доволен сыном и не обижался, когда тот подолгу не приезжал и не писал: отец понимал, что сын идет к высокой цели, и когда говорил об этом кто-нибудь, особенно Азиз-домла, сердце отца наполнялось счастьем. Да и сейчас он не обижался на сына. Одно его беспокоило: сын сильно изменился, уж очень непохож на прежнего НаDIRа — высокого, худощавого и красивого юношу.

Внезапно Кабул почувствовал, что еж в желудке перевернулся и вонзился в сердце и сразу во рту и в горле пересохло...

У кровати стоит глиняный кувшин с холодным кислым молоком. Когда начинает вот так гореть внутри, он спасается двумя ложками кислого молока. Но сейчас приходится самому дотягиваться до кувшина — если дети услышат, то опять начнутся расспросы, порядком надоевшие ему.

Собрав все силы, мастер поворачивается на правый бок, стараясь не скрипеть, но Самад все же услышал и вскочил с места. За ним

медлительно и грузно поднялся Надир.

— Что случилось, старик?

— Нет, нет, ничего, я только кислого молочка достать.

Он проглотил несколько ложек и, почувствовав облегчение, опустил на подушку.

— До свидания, мастер,— сказал Самад.— Выглядите вы хорошо, и вообще не торопитесь туда — сами знаете, как у вас еще много дел недоделано.

Увидев улыбку Самада, мастер тоже улыбнулся.

«Хороший парень, долгой ему жизни! Как стал председателем, так колхозникам полегчало. Занят с утра до ночи, а каждый день забегает проведать». Мастер и не заметил, как заснул с этими мыслями.

И вдруг сквозь дрему услышал голос Абдулладжана. Хотел было подняться, но Абдулладжан уже входил к нему.

Очень похожий на отца, только еще более худой и высокий, такой высокий, что, несмотря на широкие плечи, кажется тонким и даже хрупким. Коротко подстриженная густая черная борода и щеголевато подкрученные усы скрадывают продолговатость лица.

— Вы не спите, папа? — голос глухой, но мягкий.

Мастер покачал головой.

Абдулладжан придвинул стул к кровати, нагнулся и тихо спросил:

— Как дела, боль отпустила?

— Не надо о боли, сынок.

Длинными, потрескавшимися пальцами с поломанными ногтями Абдулладжан подкрутил усы, улыбнулся, как мать: губами и глазами. Отец любовался красивым статным Абдулладжаном. Как он молодо выглядит в свои сорок лет! Кабул вспомнил, что и ему в пятьдесят никто не давал больше тридцати пяти.

Абдулладжан начал отчитываться:

— Сегодня, считайте, покрыли крышу. Ни шифера, ни железа не нашли, пришлось толью. С завтрашнего дня штукатурим.

Все это были известные, обычные слова, но мастер слушал внимательно, переспрашивал, радовался, а больше смотрел на него, следя за выражением глаз и улыбкой, так напоминающей улыбку жены.

Уже двадцать пять лет отец и сын работают рядом, но до сегодняшнего дня не замечал мастер, какой хороший и красивый у него сын, как-то не присматривался к нему, не хвалил за работу, за заботу — никогда не хвалил его. От этих мыслей не то что болит сердце, а как-то

досадно, хотя открытие радует.

В комнату вошла Гульджахон, старшая невестка, и сразу смутилась, почувствовав на себе внимательный, невеселый взгляд Кабула.

Весь этот месяц мастеру было особенно неловко перед нею. Он стеснялся своих обтянутых кожей костей, боялся испугать и огорчить ее своим видом. Гульджахон остановилась у двери: высокая, тонкая, с большими, как у мужа, руками, загрубевшими от работы. И только худощавое лицо, доброе и какое-то умиротворенное, удивляло нежностью черт.

— Сегодня много гостей. Простите, папа, я давно не заходила к вам. Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, дочка, занимайся своим делом, трудно тебе.

— Ничего мне не трудно, были бы вы здоровы,— Она посмотрела на мужа, словно искала у него поддержки.

— Поешьте немного супу. Я добавлю туда кислого молока. Только немножко.

Ему совсем не хотелось есть, но не хотелось и обидеть невестку. Вот уже двадцать лет живет она в их доме. И за все это время не видел мастер, чтобы Гульджахон не хлопотала. Все эти двадцать лет она работает в поле и дома. Встает на рассвете, ложится за полночь.

А после смерти жены весь дом на ее руках, и о дочке Надира ей тоже приходится заботиться. Однако же никогда не слышал мастер, чтобы невестка жаловалась на судьбу или сердилась. Да, трудно ей. Нужно сказать Абдулладжану, чтобы повез ее куда-нибудь отдохнуть.

Абдулладжан принес суп.

— Папа, может, вызвать доктора из города? — не скрывая тревоги, спросил он.

Мастер покачал головой.

— Иди, отдохни, сегодня мне лучше, только ослаб очень.

Нет, он не обманывал, боли сейчас нет, была только слабость. Потом мастер заснул и увидел сон: будто он строит комнату для себя и для жены, чтобы на старости пожить тихо, строит и торопится. Тут же и жена в голубом платье и таком же голубом платке на голове, с подмазанными сурьмой глазами.

— Что это вы так торопитесь, отец? — говорила она.— Я думала, что вы еще позаботитесь о детях.

Он засмеялся в ответ:

— До каких же пор о них заботиться, нам ведь тоже хочется

пожить...

И проснулся. Солнце еще не взошло, но в комнате уже светло, а с улицы слышался голос пастуха.

Стало трудно дышать. С минуту он прислушивался к мычанию и бляению стада. Но вот за окном послышались приглушенные голоса.

— Ты не понял меня!

«Надир», — подумал мастер.

— И немудрено, ведь происходит что-то непонятное. Ты же сам видишь.

«А это Абдулла».

— Вижу, вижу, но сообрази сам: если я сейчас не защищусь, то это проклятье будет висеть надо мною еще семь месяцев.

— Ничего не случится, если отложишь, ты же видишь, в каком состоянии отец.

— Он может и год так пролежать.

— Слушай, ученый, замолчи, пожалуйста.

— Ладно.

Голос Надира изменился, задрожал, как у обиженного ребенка.

Мастер тихо закрыл глаза. Господи, не слышать бы этого голоса, повернуться на другой бок, уснуть...

Но какое там повернуться, пошевелиться и то сил нет, а сердитый голос звучал уже на высоких нотах.

— Неужели вы все не понимаете, что моя жизнь, мое будущее, все зависит от этого. Эта защита нужна не только мне, а всем нам. Я уже не говорю об авторитете, ты этого не поймешь, но ведь и денег этих проклятых будет в несколько раз больше. Это разве безразлично? Или, думаешь, тебе не будет от этого выгоды?

— Спасибо, нам и своего хватает.

— Вот, вот, опять язвись.

— Хватит! — Абдулладжан приглушенно закашлял. — Но запомни... Тебе же будет стыдно, люди осудят.

— Плевал я на твоих мещан.

Наступила странная тишина.

— Раз так, — сказал Абдулладжан, — делай как знаешь.

Голоса стихли, послышались осторожные шаги. Мастер открыл глаза. Было очень тихо, казалось, что вокруг ни души. «Неужели это Надир? Мой младшенький, любимый, моя гордость?»

Что-то сдавило ему горло. Две слезы скатились по щекам и

затерялись в бороде.

«Что с тобой, старик?» — подумал мастер, но слезы все катились и катились. Впервые в жизни он плакал так и впервые понял, что слезы могут облегчить душевную боль!

Когда вошел Абдуладжан, мастер встретил его, как обычно, и попросил позвать Надира.

Абдуладжан удивленно посмотрел на отца, но послушно пошел за братом. На Надире — шелковая пижама, ноги — в домашних туфлях. Лицо, то ли оттого, что он не выспался, то ли оттого, что выпил лишнее вечером, было припухшее, глаза заплаыли.

— Садитесь, дети, я хочу поговорить с вами.— И помолчал немного, чтобы успокоиться.— Сегодня мне совсем хорошо,— сказал он,— спал спокойно, болей нет... Ты приехал в самый разгар твоей работы.— Мастер посмотрел на Надира. Длинный, с горбинкой нос сына вдруг заблестел.

— Да нет, дело не в этом... — начал НаDIR.

— Будь счастлив, сын,— перебил его мастер и закрыл глаза.

Среди молчания послышался надтреснутый голос Надира.

— Ну что вы! Работа подождет, вы в таком состоянии.

Мастер еще плотнее прикрыл глаза и вздохнул:

— Состояние... Ну, какое мое состояние... Я ведь могу так еще пролежать бог знает сколько.

«Что это со стариком,— подумал НаDIR,— смеется надо мной, что ли?»

Конечно, для них, для всего кишлака, он, НаDIR, большой ученый. Вот уже четыре года он не знает отдыха. Днем занят диссертацией, вечером — очередной работой: пишет статьи, преподает в вечерней школе. И делает он все это, чтобы «жить, как люди». Правда, старик помогает. Этого НаDIR не отрицает, несправедливо было бы забывать, но это такая малость для Надира и его семьи. Отцу, да и брату не понять, а теперь, когда дела наладились и он вот-вот должен защититься и начать жить по-человечески, вдруг стряслась эта беда...

Конечно, старик не нарочно заболел. Но... Ладно, пусть говорят что хотят. Только не нужно разрешать себе волноваться. Когда человек сердится, он теряет разум. Надо молча настоять на своем.

Мастер приподнялся на подушке:

— Ну все, сын. Я сказал все,— и перевел взгляд на Абдуладжана.— Попроси жену, чтобы дала мне халат и палку.

Несколько минут мастер лежал не шевелясь, с закрытыми глазами. Он чувствовал, что Надир здесь, что он не знает, уйти ему или остаться, но не было сил пошевелиться, и он молча боролся с волнением.

Поднялся Абдулладжан и за ним Надир.

— Будь здоров, сынок, — сказал мастер.

Через несколько минут послышался шорох. «Наверно, Гульджахон», — подумал мастер, но шаги были очень легкие. Мастер увидел руки, положившие халат на спинку стула: сжатые золотыми браслетами, круглые и пухлые руки. Мастер закрыл глаза.

Он решил встать. Хватил ли сил? Он должен встать, иначе Надир не решится уехать. У него ведь и правда спешное дело. Пусть едет. Что с того, что у гроба будет одним человеком меньше? Мастер попробовал пошевелить ногой. Чугунная тяжесть — будто отнялись ноги. И все же он встанет, непременно встанет. Напрягая все силы, упираясь локтями в края кровати, сжимая зубы, мастер сел. Передохнул, отбросил простыню и посмотрел на свои ноги. В глазах промелькнула улыбка: он и не знал, что у него такие длинные, неуклюжие и некрасивые ноги. Он начал медленно подниматься, но когда встал на ноги, почувствовал, что еж, уснувший еще вчера вечером, проснулся и заворочался вновь. Мастер замер, и еж успокоился.

Дети удивленно притихли, когда во дворе появился с палкой в руках старый мастер. Двор был тенистый, но мастеру он показался очень светлым. Листья на деревьях были ярко-зеленые, а розы — слишком красные.

Ребята подняли шум, бросили завтрак и подбежали к деду. Фируза обняла его ноги и стала тереться личиком о его колени. Из кухни вышла Гульджахон с двумя чашками. Она засуетилась и не знала, куда поставить чашки.

— Папа, дорогой, постелить вам во дворе? — подбежала она к мастеру.

Подошли и Надир с женой:

— Что случилось, старик, вам же запретили вставать.

— Когда ты едешь? — перебил его мастер.

Надир пожал плечами.

— Не знаю, вы в таком состоянии...

— Опять состояние! Говорю тебе, что я здоров. Собираюсь на строительство, хочу посмотреть, как они там управляютяся.

— Я уже сговорился с председателем насчет машины, но... скажите,

вам действительно лучше? Мои дела ведь можно и отложить.

Надир заикался, краснел. Мастер отвел глаза. «Попросил машину, а сам мнешься»,— подумал он. А вслух сказал:

— Ну, я иду, не беспокойся, ты же видишь, я здоров.— Он вскинул голову, и чугунные ноги стали как будто подвижнее.

Уже высоко поднялось солнце, но было прохладно. Свесившиеся с дувалов переплетенные ветки черешни образовали густой шатер. Вишня уже сорвана и урюк тоже, но кое-где среди пыльных листьев виднелись подсохшие, выклеванные птицами ягоды и засушенный солнцем черный урюк.

Мастер пошел по улице, которая вела к площади, и стал считать дома, построенные его руками. До площади насчитал шестнадцать. Почти все они были крыты камышом — строились в тяжелое время, но все-таки были крепкие и могли простоять хоть сто лет. Сейчас люди с недоверием относятся к камышу, делают крыши из шифера и даже из железа.

Любит мастер свою работу. Еще лет пять тому назад бывали дни, когда он клал в день по пять тысяч кирпичей. Двое дюжих парней не успевали подавать ему. А многие нарочно приходили любоваться его работой.

Из чайханы, спрятавшейся под развесистыми ивами, был слышен смех. Мастера увидели уже издали и высыпали навстречу. Он всей тяжестью опирался на палку. (Господи, сколько раз сидел он здесь, сколько веселых бесед здесь прошло!) И сейчас ему захотелось присесть, поговорить с молодежью, но он боялся, что не сможет подняться. Он только поблагодарил, отвечая на многочисленные вопросы о здоровье, и добавил:

— Я на строительство.

Больница строилась шагах в ста от площади. Сегодня для него этот путь был длиннее и тягостнее, чем путь в Мекку. Все же, увидев высокие стены, мастер постарался ускорить шаги, казаться бодрим.

Проект больницы мастер делал сам. В том проекте, что прислали из города, палаты были расположены с теневой стороны. Живому человеку нужен свет, солнце, да еще болеют-то чаще других старые люди, и им полезнее лекарства теплый ласковый луч.

Правильно сделал, что исправил проект. Здание получилось светлым, ладным, красивым даже. Вдруг он нахмурился: здание готово, а мусор не вывезен. Нужно будет сказать Абдулладжану.

Мастер прошелся по комнатам, а когда вышел, во дворе уже, затаив дыхание, ждали: что-то скажет Кабул?

— Спасибо! — Он почти прошептал это слово. Мастер не умел хвалить, хлопать по плечу, и это его короткое «спасибо» оценили.

Он же смотрел на рабочих и по их лицам понял, что дело его совсем плохо.

— Вызвать машину, папа? — спросил Абдулладжан.

Мастер отрицательно покачал головой.

— Тогда садитесь, отдохните.

— Нет, я пойду потихоньку. Не беспокойтесь, продолжайте работу, я дойду потихоньку,— повторил он.

Подходя к своему двору, он почувствовал, что едва держится на ногах. У ворот стояла «Волга», собрались соседи. Из дому вышел Надир с женой, за ними несла большой узел Гульджахон. Надир увидел отца... и растерялся.

— Ну что, старик, устали?

Его полное красное лицо было все в капельках пота, а в глубоко посаженных глазах таилось беспокойство.

«Нет, не стоит на него сердиться, у него ведь действительно неотложное дело»,— подумал мастер.

— Устал, так отдохну.

Он повернулся к невестке.

— До свидания, будь здорова, дочка.

Нужно было поднять ногу и поставить на ступеньку.

«Господи, не упасть бы! Еще шесть шагов, а там можно лечь. Без посторонней помощи пройти эти шесть шагов. Вот наконец...»

Гульджахон постелила свежие простыни и взбила подушки. Мастер снял халат, поставил палку к стене и с наслаждением, как когда-то в жаркий день бросался в воду, лег в постель. Он понял, что жизнь кончена, что едва ли дотянет до утра. Но эта мысль не вызвала ни страха, ни сожалений.

Было такое чувство, будто он здорово поработал сегодня и, удовлетворенный, заснет крепким сном.

За этими мыслями мастер не заметил, как наступил вечер и вернулся Абдулладжан.

Мастер посмотрел на него, и на душе опять стало хорошо... «Похож на меня, ну просто копия».

— Папа, как здоровье? — спросил Абдулладжан.

Мастер улыбнулся.

- Спасибо, сын. Приведи-ка детей, хочу на них посмотреть.

— Папа...— Но, поглядев в глаза отца, Абдулладжан молча вышел.

Через несколько минут он привел Фирузу и обоих мальчиков. Вошла и Гульджахон. Глаза у нее были мокрые.

С минуту мастер смотрел на внуков, потом сделал знак- глазами: «хватит».

Он отметил, что на дочке Надира красивое платье, а мальчишки босы и одеты как попало.

— Детей... — сказал мастер вернувшемуся в комнату Абдулладжану,— детей не балуй, ко всем одинаково, понял?

— Да, папа.

— И жену цени. Она у тебя...

Абдулладжан кивнул.

Пришел Азиз-домла, подсел к кровати и наклонился над мастером.

— Ну как дела?— А потом тихо: — Надирджан уехал.— Голос его задрожал.

— Уехал,— сказал мастер тоже тихо. И голос его тоже дрогнул, а в глазах появились слезы. Потом мастер снова заснул, а когда открыл глаза, на месте Азиза-домлы сидел Самад.

...Старого мастера похоронили рядом с женой, на том месте, которое он сам выбрал.

На похоронах был весь кишлак и люди из соседних кишлаков.

Не было только Надира.

1963

Максуд Кариев
р. 1926

СУЛУВ
(Невыдуманный рассказ)

История, которую я хочу поведать, произошла еще в то время, когда в кишлаках только установилась Советская власть.

Минуло не более месяца с тех пор, как Сулув оказалась в чужом богатом доме. Стены ее комнаты, как и в день свадьбы, все еще были сплошь увешаны большими красными коврами, а нарядные платья, которые ей надарили, свисали с перекладины, накрытые дорпечем — вышитым шелковыми разноцветными нитками гобеленом. Ее муж, Нормурад, старался держаться подальше от всего, что в кишлаке в последнее время творилось, и не помогал, и не мешал деятельности Совета. Вставал он чуть свет и, вороша ногами дорожную пыль, носил в город то, чем богат кишлак, а вечером возвращался и приносил, чего тут не хватало. Нередко он исчезал из дому дня на три-четыре.

Сегодня он вернулся затемно после нескольких дней отсутствия, принес всякой всячины, еле дотащил, и про подарки для всех не позабыл. Зашел в свою половину дома, а там темно, жены-то и нет. Где же она? Куда запропастилась, когда невесте после свадьбы еще несколько месяцев не полагается из дому носа высовывать?! Ах, чтоб тебя... Нормурад кинулся к летней кухне в углу двора, где мать, сидя на корточках перед очагом, готовила ужин; длинные языки пламени лизали крутые закопченные бока котла и освещали навес над очагом и ближайшие деревья сада.

— Мать, а где Сулув? — дрожащим голосом спросил Нормурад.

Мать обернулась и, продолжая палкой помешивать в очаге, окинула сына взглядом с ног до головы.

— Что случилось? Черти, что ли, за тобой гнались, что ты такой бледный?

— Куда подевалась ваша невестка? В комнате ее нет!

Мать все еще не сводила с сына колючего взгляда, в котором смешались и ирония, и укор: не поздоровавшись, не справившись ни о ее самочувствии, ни о здоровье близких, он сразу накинулся на нее с расспросами про женушку. Потом она, сломав о колено несколько сухих стеблей хлопчатника, подбросила их в огонь и спокойно сказала:

— Еще засветло явилась та безобразница, Марьям-хон, и увела ее в школу. Твою ненаглядную читать-писать научить решила.

— Почему же вы разрешили? — еще больше возмутился Нормурад, заметив в тоне матери насмешку.

— Да ты что, сыночек мой дорогой?..— голос матери сделался твердым и скрипучим, как железо.— Разве нынче они слова твоего послушаются? Да и попробуй-ка скажи им что-нибудь поперек — беды не оберешься...

— Ну, стерва, я ей покажу!..

Нормурад выскочил со двора и в потемках зашпешил в ту сторону, где находился огромный двухэтажный дом Тухтабайваччи. Недавно он слышал, что в покинутом баем доме будто бы открылась школа, но не придал этому никакого значения. И вдруг на тебе...

В двух окнах дома неярко горел свет. У входа сидел сторож. Увидев Нормурада, он вскочил и загородил ему дорогу. Нормурад и вовсе вышел из себя. Обозвав сторожа последними словами, он с силой отпихнул его и вбежал в прихожую, толкнул плечом и распахнул первую попавшуюся дверь.

Несколько молодых женщин с открытыми лицами сидели за длинным столом и при свете керосиновой лампы что-то выводили на клочках бумаги. При появлении Нормурада они все перепугались и сразу закрыли лица — кто концом платка, кто рукавом, а кто просто ладонями. Нормурад схватил жену за руку и, не обращая внимания на протесты Марьямхон, молоденькой учительницы, выволок ее из комнаты и потащил напрямик домой. Он до боли сжимал руку Сулув, вел ее темными безлюдными улицами и, не переставая, бранился:

— Кто тебе разрешил выходить из дому?.. Ты у меня спросилась, негодная?.. Муж я тебе или нет?.. И ты заодно с теми, кто потерял совесть?

— Нынче все учатся, что в этом плохого?— еле слышно возразила Сулув, впервые возразила мужу.

— Как ты смеешь?— закричал он и так дернул ее за руку, что она чуть не упала.— Ты, оказывается, еще и дура из дур! Вот я тебе дома покажу ученье! Тебе позволить, так ты еще и лицо прилюдно откроешь, начнешь торговать собой!

— Ну, зачем же вы так?.. Марьям-апа же ходит с открытым лицом, и ничего. И Айша...

— Заткнись! Ух-х, твою Марьям-апа... И Айшу тоже... Вижу, и ты

испортилась, якшаясь с ними, подлая!

— Не оскорбляйте...

— Да как ты смеешь возражать мне, а?.. Своему мужу!

— А вы не говорите так о людях, которых не знаете.

— Ишь ты какая! Поглядите-ка на нее, а... у нее и голос прорезался!

Да какой там голос — язык с целый аршин вырос!.. Проклятье такой жене, как ты! И даже — «уч талак», троекратный развод! Да, да, развод! Троекратный! Не нужна мне такая, как ты!.. — не своим голосом заорал Нормурад и ногами затопал.

Втащив Сулуп в комнату, где совсем недавно подруги воздавали ей все почести невесты, он намотал на руку ее косы, повалил на пол и начал бить. «Я тебе покажу, как мужу перечить... я тебе покажу...» Услышав крики невестки, прибежала мать. Ругая на чем свет стоит сына, она вытолкала его из комнаты. Затем усадила невестку, которую сотрясали рыдания, и, смачивая в каше тряпку, утерла с ее лица кровь, смазала жиром ссадины на плечах, на груди. При этом приговаривала: «Такова наша доля, доченька... Мужу надо потакать во всем... На его стороне сила, а значит, и правда... И на что тебе сдалась эта учеба? Далеко ли пойдешь, если и научишься читать-писать? Ведь у женщины дорога — не далее порога». Свекровь поворчала еще немного, ругал сына, а заодно и невестку за непослушание, затем дала Сулуп попить воды, сама приготовила у стенки постель и уложила ее.

А Нормурад тем временем находился в комнате матери. Он слегка перекусил и, успокоясь, уже жалел о содеянном. Некоторое время посидел в одиночестве, обхватив голову, у сандала, а потом лег и, натягивая до плеч одеяло, подумал: «Бабыя обпда недолга, завтра и забудется...»

Однако настоящий сыр-бор только назавтра и начался.

Тут дома скажешь что-нибудь шепотом, и то рано или поздно становится достоянием всего кишлака. А он, Нормурад, брякнул такое на улице, и к тому же во все горло...

Прослышав о том, что Нормурад объявил жене «уч талак», чуть свет пожаловали в его дом отец Сулуп и ее браг. Часом позже пришли еще трое-четверо уважаемых мужчин кишлака. Все они сидели в одной комнате при закрытых дверях, п приглушенный гул их голосов доносился оттуда, ни на минуту не смолкая. Хотя мужчины разговаривали, не повышая голоса, все-таки временами громче остальных раздавался то голос отца Сулуп, то отца Нормурада. Каждый защищал и пытался

оправдать свою сторону, и какие накопились на душе обиды, тут же были друг другу высказаны. И тем не менее обе стороны пришли к выводу, что время нынче чересчур, так сказать, деликатное, и лучше, если ни в сельсовете, ни так называемая общественность об этом ничего не прознают. Поэтому молодоженов нужно примирить — и все будет шито-крыто — да не распадется созданная по воле всевышнего их молодая семья.

И тут благочестивый их сосед мулла Имомалиходжа вдруг возьми и заяви:

— Если муж объявил жене «уч талак», то жить с ней шариат ему запрещает.

Все одновременно повернули к нему головы. И воцарилась тишина.

— Вы, достопочтенный, все предписания шариата хорошо знаете,— произнес наконец отец Нормурада.— В таком случае дайте нам какой-нибудь дельный совет.

Имомалиходжа степенно кивнул и раз, и другой, глубокомысленно перебирая четками. Бальзамом пришились ему на сердце слова: «...предписания шариата хорошо знаете». Давненько он не слышал таких слов. И нараспев, как обычно читают Коран, он громко возгласил:

— Все мы, сидящие тут,— добрые мусульмане. И потому не имеем права не следовать дарованными свыше правилами шариата...— он помолчал и, качая головой, с сожалением в голосе забормотал: — Ох, напрасно этот бездумный парень объявил жене «уч талак», напрасно. Теперь близок локоток, да не укусишь. До чего же безответственна нынче молодежь! А мужское слово нельзя в копейку превращать. Плохи дела,...— Руки Имомалиходжи, теребившие четки, замерли, он опустил голову и глубоко задумался.

Нормурад, виновато потупясь, сидел напротив. Он заерзал, с раздражением подумав: «Какой же ты всезнающий мулла после этого, если такую простую задачу решить не можешь! «Плохи дела, плохи». Заладил одно и то же!»

— На никахе имеется печать самого аллаха. Да-да. И нельзя к никаху относиться так легкомысленно. Я ответствен перед всевышним за то, чтобы правоверные следовали его указаниям...

— Укажите нам путь, почтенный, и мы вас щедро отблагодарим,— умоляюще обратился к мулле, поняв его намек, отец Нормурада.

— Прежде я должен знать, готовы ли вы следовать указаниям нашего творца?

Присутствующие все в один голос заговорили: дескать, как почтенный домулла может в этом сомневаться?!

— Тогда, если будет угодно аллаху... и с его помощью мы такой путь изыщем.

Сидящие облегченно вздохнули и вновь обратили свои взоры на муллу.

— Шариат указывает нам один-единственный путь,— мулла прокашлялся и взглянул исподлобья на сидящего напротив Нормурада; тот с готовностью налил в пиалу горячего чаю и протянул Имомалиходже; мулла шумно отпил глоток, другой и продолжал: — Клянусь всевышним, к любому святотатству мы не должны оставаться равнодушными. Мы должны указывать молодым истинный путь.

Сидящие закивали, высказывая одобрение.

— А путь нынче таков, да не вкрадется в души наши сомнение, утроив тем самым грех: мы должны молодую келин выдать за кого-то другого.

Присутствующие буквально опешили. Кто побледнел, у кого лицо пошло пятнами, а кое у кого на устах заблуждала ехидная ухмылочка. Особенно неловко почувствовал себя Нормурад, глаза его округлились и, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Собравшись с духом, он хотел что-то возразить и даже приоткрыл рот, но Имомалиходжа, решительно выставив ладонь, остановил его:

— Не громозди один грех на другой!

И отец шикнул на Нормурада.

— Шариат требует, чтобы женщина, которой объявлен «уч талак», хотя бы одни сутки провела под кровом Другого мужчины. А потом тот человек объявит ей «уч талак». Лишь после этого мы сможем снова засватать ее за вашего сына, уважаемый. И вы спокойненько вернете жену в свой дом. Так велит шариат. Любое отступление от него — великий грех...

— Что же это получается, а?..— вскричал вдруг Нормурад, покраснев как рак. Он резко поднялся и хотел выйти из комнаты.

— А ну-ка, резвый мой, сядьте! — строго сказал Имомалиходжа, побагровев от негодования, и глазами указал, где он должен сесть.— Творить ошибки всегда легче, чем их исправлять. Если однажды смалодушничили, то найдите теперь в себе мужество! Объявивший жене «уч талак» и продолжающий жить с ней как ни в чем не бывало предается всенародному позору!..

Столь неожиданное последствие этого происшествия обсуждалось весьма и весьма долго. Присутствующие никак не могли сойтись в главном: за кого выдать замуж Сулув на столь краткий срок, да так, чтобы тот и впрямь не возомнил себя настоящим мужем и не посягнул на ее честь. Наконец нашелся такой человек. Тихий, бессловесный, который, как говорится, и у овцы изо рта соломинку не вырвет, чтобы ее не обидеть. А главное, бедняк из бедняков, и от небольшой суммы денег, которую ему Имомалиходжа предложит, он вряд ли откажется. На том и порешили: засватать Сулув за Абдукадыра, одинокого и безродного джигита, живущего на окраине кишлака в маленькой развалухе. Имомалиходжа взялся лично за это дело и заверил, что бедняк чабан и пальцем не притронется к келин...

Вечером Сулув отвели к Абдукадыру.

Имомалиходжа прочел никах. После чего все молча удалились, а он еще несколько минут наставлял чабана наедине. Потом и он ушел и плотно прикрыл за собой дверь.

А Сулув, как посадили ее на овчину в углу полутемной комнаты, так она и сидела, не поднимая головы, и думала о своей горькой судьбе.

Абдукадыр, вконец растерянный, шагал от стены до стены, не зная, как себя вести с этой, будто с неба ним, спосланной в его бедное жилище, красивой женщиной. Да и Сулув испытывала крайнюю неловкость оттого, что из-за нее парень оказался в столь щекотливом положении.

Словно о чем-то вспомнив, парень вышел во двор и вернулся через несколько минут с охапкой дров. Он развел в печи огонь, вымыл котел, покрытый ржавчиной из-за того, что в нем давно ничего не варили, и налил воды. Затем с вбитого в стенку колышка снял кусок вяленого мяса и опустил в котел. Наполнил водой черный от копоти кумган и его подсунул к огню. Опустившись на колени, стал дуть на угли. Глаза его заслезившись от дыма. Но вот сухие тутовые стебли затрещали и занялись ярким пламенем. Абдукадыр взял из ниши покрытые пылью пиалы и касы, собрался помыть их.

И Сулув не выдержала. Она встала и, подойдя к молодому чабану, молча взяла у него из рук посуду.

Что значит женщина — через каких-то несколько минут все было перемыто, почищено, прибрано, и хижина обрела жилой вид. Даже светлее стало, когда Сулув поправила скрученный из хлопка фитилек в глиняной плошке, на дне которой было немного масла — язычок

пламени сделался ярче и перестал коптить.

Тем временем комната наполнилась запахом варившегося мяса. У Сулув со вчерашнего вечера во рту не было п маковой росинки. Она с трудом дождалась, пока в большую миску был налит наваристый бульон, а разварившийся кусок мяса выложен на глиняное блюдо. Молодой хозяин расстелил дастархан и поставил еду осредине. Сулув взяла кусок черствой ячменной лепешки с торчащими отрубями и стала деревянной ложкой хлебать бульон, зачерпывая с краю, со своей стороны. Бульон показался ей таким вкусным, какого она отродясь не едала.

Абдукадыр вынул из-за голенища длинный острый нож с роговой рукоятью, покрошил мясо на мелкие кусочки и, положив на кусок лепешки, придвинул к ней.

— Пожалуйста, ешьте.

В кумгане заклокотала вода.

— Я сейчас...— сказал Абдукадыр и хотел встать, чтобы заварить чай. «

— Нет, нет, сидите. Я сама,— сказала Сулув и проворно вскочила. Он впервые услышал ее голос.

— Что ж, ладно,— согласился Абдукадыр, садясь на место.— Заварите сами.

— А где чай? — спросила Сулув.

— Вон в той коробке. Яблочный. Уж извините, настоящего нет.

— Не беда, я всегда в родительском доме пила такой чай.

Вот и чайник появился на дастархане.

Вяленое мясо было очень соленным, поэтому оба чаевничали с особым удовольствием. И чай из сушеных яблок, чуть с кислинкой, показался необыкновенно вкусным Сулув.

— Вы очень хорошо завариваете чай,— сказал Абдукадыр, решившись поднять глаза на молодую женщину.

— Ничего особенного... обыкновенно,— чуть слышно произнесла Сулув.

— У меня не получается такой вкусный.

Сулув не ответила. Боялась, что голос выдаст ее волнение. Сердце в груди у нее странно дрожало, словно щегол, заключенный в клетку, и по всему телу разливалась сладостная истома. Не поднимая головы, она тихонечко пила свой чай красного цвета, дуя в пиалу.

В окно светила яркая луна. Один край ее скользнул за уступы гор,

видно, время близилось к полуночи. Молодая женщина и джигит молча сидели друг против друга. Хотя они не произнесли ни слова, но в этой тишине им казалось, что они поверяют друг другу свои горести и печали, рассказывают о радостях, какие изредка выпадали им в жизни.

Абдукадыр думал о том, что и он, может, нашел бы свое счастье, не будь у него такая собачья жизнь. Что он видел за свои двадцать четыре года? Только беспросветную нужду и унижение. Дни и ночи проводит он на горном пастбище, пасет чужих овец, коз, коров, этим и живет. И мать, и отец умерли прожив в нищете. А он живучим оказался, с детства ни разу не болел, переносит и голод, и холод... Он еще ни разу не сидел вот так... наедине с женщиной. За что ему такой подарок? За какие добродетели? Будто это не явь, а волшебный сон. Сидит напротив него освещенная луной, красивая, как пери, молодая женщина. Протяни руку, и достанешь. А он... ни слова не может вымолвить, ни поглядеть на нее. Едва поднимает на нее глаза, ему кажется, что совершает грех. В ушах так и звучит противный голос Имомалиходжи: «Гляди у меня, не вздумай глаза на нее пялить, прогневаешь бога. Коснешься ее пальцем, душу из тебя выну, запомни!..»

И все же он украдкой поглядывал на Сулув. Иногда на руки ее, когда она брала пиалу, падал голубоватый свет луны, и они казались ослепительно белыми. Порой их взгляды встречались. Ее черные бархатистые глаза с пушистыми, как у газели, ресницами, вдруг ослепляли его, словно излучали свет. По груди ее струились две толстые косы... Если бы эта женщина взаправду стала его женой, он с радостью прислуживал бы ей всю жизнь. Тысячу раз пожалеешь, что прочитанный никах — ненастоящий. Завтра Сулув уведут из его дома. И Абдукадыр снова останется среди этих неприятных стен один-одинек шенек...

Суждено ли ему, бедному чабану, когда-нибудь хотя бы коснуться руки такой красавицы, падет ли луч радости и на него в этом мимолетном убогом мире? Кто же за такого бедняка, как он, согласится выдать свою дочь? Никто. Все относятся к нему свысока, как к бедному неимущему человеку. Видно, он для того и рожден на свет, чтобы прислуживать другим, толкаться у чужих дверей, спрашивая, нет ли для него работы. На свадьбах и пирах по случаю какого-то праздника Абдукадыр таскает воду, рубит дрова, разводит самовар. При этом никто не зовет его за дастархан, не предложит отведать яств. Нет, он не гость. Он — прислуга. Ах, провались эта бедность, из-за нее тебя и за

человека не считают... Вот и революция произошла. Говорят, светлые дни настали. Но похоже, их свет еще не достиг его бедной хижинки. Правда, как-то позвали его в сельсовет и сказали: «Вступай в наше товарищество, дадим тебе землю». А зачем Абдукадыру земля, одинокому, неприкаянному? Он привык пасти скот, а не пахать и сеять. Да и кто знает, что у них там за товарищество? Хозяева отар всякое про них говорят. Повременить решил Абдукадыр...

Сулув подправила иголкой начавший тлеть фитилек в плошке: видимо, кончилось масло. В этой тесной хибарке бедного чабана она почему-то чувствовала себя свободнее, чем в просторных хоромах, в которых прожила месяц. Почти ежедневные скандалы, вопреки свекрови и золовок, непомерное самомнение мужа и его придирки заставили Сулув за несколько дней пожелтеть, как шафран. А теперь еще и «уч талак», этот троекратный развод, будь проклят такой обычай, выпало ей испытать. И бедному чабану из-за этого муки. А ему-то за что?.. Ей хотелось протянуть руку и погладить ладонь парня, бугристую, со вздутыми венами, успокоить. Она рада была бы остаться здесь на целый год, а еще лучше — навсегда... Как вспомнит Нормурада, мороз по коже пробегает. Не забыть ей, как он на третий день после свадьбы напился, стал придирается и избил ее до полусмерти...

Этот чабан, наверное, никогда бы не поднял руку на женщину. А какими вкусными показались ей черствый кусок лепешки и бульон. Оказывается, если человек чувствует себя свободно, не опасается услышать брань, то он и в шалаше может быть счастливым. Если для тебя выстроят золотой дом, где жить придется под постоянными косыми взглядами, где будут следить за каждым твоим шагом, и ты никогда не узнаешь, что такое любовь, то на что тебе такой «рай»?.. Этот простодушный и скромный джигит беден, но по сравнению с ней он гораздо счастливее. Не в клетке живет. Дом ему — горные пастбища, простор...

Странно... Всего-то одну ночь она во власти этого робкого джигита. Всего одну... Ну, почему не тысячу?! Ничего бы не произошло, если бы всевышний смилостивился и оставил ее здесю!.. Она бы ничего не требовала у этого славного джигита, ни нарядов, ни лакомств. Разрешил бы только остаться в его убогой хижине. С ним рядышком... Но завтра... Скоро наступит завтра... Лучше бы оно не наступало... Так не хочется в тот неприветливый, холодный дом...

— О чем вы задумались? Наверно, устали. Ложитесь спать.

Укройтеесь вот этой овчиной и спите.

— Нет, нет, я не хочу спать, вы не беспокойтесь,— быстро проговорила Сулув.

— Не бойтесь, я уйду. Чабаны привыкли спать на свежем воздухе.

Абдукадыр снял с вбитого в стену колышка свой тулуп и положил его рядом с Сулув, не посмев накрыть ее плечи, а сам подошел к стоявшему на скамье ведру, зачерпнул полную касу холодной воды и с наслаждением выпил.

Видя, с какой жадностью он пьет, Сулув тоже почувствовала жажду.

— Если не трудно, дайте, пожалуйста, и мне,— попросила она нежным тихим голосом.

Абдукадыр наполнил касу и подал женщине. Сулув, как и он, с жадностью припала к воде. Протянула джигиту пустую касу и, утирая рукой губы, улыбнулась. И почему- то их обоих ни с того, ни с сего разобрал смех. Они громко захохотали. Это неожиданное веселье как бы сблизило их...

Сжимая руками влажную касу, Абдукадыр любовался красивым лицом женщины, ее розовыми и нежными, как персики, щеками, ее огромными черными глазамг алыми и сочными, будто она только что ела вишню, губами. Смутясь, женщина опустила голову, и ее ресницы бросили тени на ее щеки. Она взяла тулуп и накинула на плечи. Продрогшая в этой сырой хижине, она согрелась. Ей вдруг показалось, что она в объятиях чабана. Шевельнула плечами, желая сбросить тулуп, но истома уже охватила ее. Она плотнее запахнула полы тулупа, накрывая колени, взглянула на джигита и улыбнулась.

Абдукадыру было приятно, что Сулув укуталась в его тулуп. Ему казалось, что его тепло греет женщину, и он этому обрадовался. Абдукадыр обычно уходил в горы с рассветом. Сегодня же он не стал ожидать, когда начнет светать и поблекнут звезды. Отправился раньше. Шел и не мог оторвать глаз от фиолетового неба. Словно искал среди звезд ту, единственную, звезду своего счастья. Казалось, сегодня они сияют ярче, чем обычно, мерцают и перемигиваются. Чему они так радуются? Может, они поздравляют? А с чем... с чем? С тем, что, как только взойдет солнце, он начнет новую жизнь? Да, новую. Он перегонит отару на другое пастбище и отправится в сельсовет, пойдет к тем людям, которые его звали. Раз зовут, значит, он им нужен. Выходит, и они ему нужны. А как это, наверное, славно жить и чувствовать, что ты не один, что ты еще кому-то нужен...

И все же Абдукадыр не пошел в сельсовет. Не хватило решимости...

Весь день он перегонял овец, не давая им разбредаться, и находился во власти сладостных дум. Он отгонял от себя мысли о Сулув, но она, помимо его воли, возникала перед глазами, при этом у него щемило сердце, и безотчетная тревога наполняла душу. Он видел ее большие, полные тайны, блестящие в полумраке глаза, а в ушах неотступно звучал ее нежный певучий голос. И ему смертельно захотелось, бросив стадо, помчаться домой. Но тут снова вспомнились слова Имомалиходжи... В шелесте ветра ему почудился предостерегающий шепот: «Грех, грех, грех...» И он, не помня себя, стал взбираться ввысь, на вершину, где еще лежал снег. Он карабкался по крутому каменистому склону, словно ища себе смерти, оступаясь, расшибая колени, раздирая в кровь руки, цепляясь о колючий кустарник и острые уступы, и наконец достиг вершины. Вряд ли тут кто-нибудь бывал до него. На слежавшемся снегу не было даже птичьих следов. Холодный упругий ветер обжигал лицо, грудь. А там, пониже, где, постепенно утончаясь, снежная шапка горы заканчивается ледяной кромкой, дающей начало ручьям, склоны краснели от цветущих тюльпанов. Абдукадыр, скользя, набирая полные сапоги снега, спустился вниз и, упав на колени, стал рвать цветы, пахнущие снегом, алые, как кровь. Зачем? Зачем ему цветы? Для кого?.. Ведь когда он вернется домой, Сулув там уже не будет... Ах, Сулув, Сулув!.. Сама, как цветок, сейчас, наверное, сидит в его тулупе. Но скоро за ней придут. Уже скоро... А сам продолжал рвать цветы. Все-таки он отнесет их домой, хоть как-то украсит свое бедное жилище...

Абдукадыр возвращался домой, когда уже догорела вечерняя заря и сгустились сумерки. Шел медленно, не спешил. Усталый, он нес охапку цветов, казавшихся в темноте черными. И на душе был мрак, погасли последние искорки надежды. И вообще весь этот свет справедливее было бы называть не белым, а черным. Потому что во всем мире так же черно, как и в его пустой стылой хижине. Она уже чернеет впереди, с плоской крышей, заросшей травой, как могила.

Абдукадыр медленно приблизился. Из щели неплотно прикрытой двери просачивался свет. Он ускорил шаги, сильно заколотилось сердце, он почти влетел в дом.

Сулув сидела одна. Поднялась, сделала несколько шагов навстречу.

— Что случилось? Не пришли, что ли?..— спросил он как можно спокойнее, но сдавленный голос выдавал его волнение.

— Приходили...— Сулув опустила голову.

— А вы?..

Она глянула мельком. Глаза ее были полны слез.

— Мы же обручены никахом. Я теперь уйду, если только прогоните...

Абдукадыр шагнул к ней, алые цветы выпали из рук и рассыпались у ее ног. Он крепко прижал женщину к груди и погладил ее мягкие шелковистые волосы.

— Сулув, счастье мое...

В этот момент дверь с шумом распахнулась, и в комнату вошли Имомалиходжа и Нормурад.

— А ну-ка, объявляй «уч талак»! — прошипел мулла, встряв между Сулув и Абдукадыром и растолкав их в разные стороны.

— Нет! Не уйду я отсюда! — крикнула Сулув и метнулась к чабану, крепко прижалась к нему.

— Бесчестная-а-а! — заорал Нормурад и бросился к ней, подняв кулак.

Абдукадыр заслонил собой Сулув и грозно произнес:

— Убирайтесь отсюда! Живо! — и потянулся к голенищу, где прятал нож.

Перепуганный Нормурад попятился к двери.

— Оба! — процедил сквозь зубы чабан и обернулся к мулле.

— Что же это такое, а?..— растерянно забормотал тот, бочком, бочком отступая вслед за Нормурадом.— Грех... Грех... Ты же... ты же...

— Не для того я женился, чтобы расстаться с этой женщиной раньше, чем умру! Проваливайте! — в руках у чабана сверкнул нож.

Тщедушный Нормурад и круглый, как бочка, Имомалиходжа одновременно ринулись к двери, застряв в ней, еле протиснулись наружу и исчезли в темноте.

Историю эту рассказал мне один старый седобородый чабан, когда мои журналистские дороги привели меня на горные пастбища Томди. А вечером он привечал меня в своем прекрасном доме с огромным садом, где весело играли дети. У Сулув-буви и Абдукадыра-ота теперь уже четверо сыновей, две дочери и восемнадцать внуков. Постарели Абдукадыр и Сулув. По-прежнему красивы и любят друг друга. Ведь, чтобы быть счастливыми, надо любить друг друга. Да, да, любить.

1983

Пиримкул Кадыров
р. 1928

ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ

Поезд качнуло, как пароход, и я очнулся от дремоты на своей верхней полке. Маленькая станция подплыла к нашему окну и остановилась. Невысокое здание из светлого солидного кирпича, несколько чинар — голых, зимних — и дежурный в красной фуражке. Мой единственный сосед сидел внизу и смотрел, отдернув занавеску — явно без интереса, а как бы лишь по обязанности увидеть все, что показывают за окном. За несколько часов общей дороги разговор у нас так и не получился — мы познакомились (я узнал, что зовут его Музаффар и работает он главврачом районной больницы) и обменялись десятком общих фраз. Погода за окном стояла мягкая, поля утопали в тишине, солнце светило — все это вместе с монотонным покачиванием вагона и перестуком колес и разморило меня недавно, перед остановкой.

Кто-то подошел к нашему купе. Дверь открылась, и показалась рука с черными от угольной пыли ногтями, и голос проводника сказал кому-то:

— Войдите!

В купе осторожно вплыла женщина в черном плюшевом жакете, из-под которого виднелся подол красного платья, на ногах лакированные ичиги. Лицо до самых глаз закутано белым пуховым платком. Она вела за руку ребенка лет трех-четырёх. Сосед мой учтиво поднялся ей навстречу, но тут, следом за женщиной, в купе вдвинулся дородный дядя в объемистой каракулевой папаше. Под распахнутым пальто с таким же каракулевым воротником — полувоенного покроя китель и брюки галифе, заправленные в сапоги. Увидев моего соседа, мужчина резко остановился, глянул наверх, в мою сторону, и повернулся к проводнику:

— Ну! — сказал он.— Здесь же люди!.. Это нам не подходит.

Проводник удивился.

— Почему? Два места свободных...

— Нет! — сказал мужчина и, выходя, сделал жене знак следовать за собой. Женщина молча вывела ребенка. Мы с соседом невольно переглянулись. Проводник шел' за странным семейством, но минуты

через полторы вернулся и просунул голову в нашу дверь:

— Не обижайтесь, гости, этому братцу отвалил бог ревности...

Я засмеялся.

— Что, жена у него очень красивая?

— Э, не такая уж она гурия, сами видели... Правда, помоложе его лет на двадцать. Это уж просто характер у него такой!

Мой сосед резко поднял голову.

— Характер такой, это точно, — сказал он зло, с ударением, и на щеке у него заиграл желвак.

Проводник, видно, удивился куда больше, чем раньше.

— О, так вы его знаете!..

— Ия его знаю, и он меня узнал...

Проводник посмотрел на моего соседа заинтересованно, ожидая продолжения, но не дождался и ушел. Я спустился вниз. Горячность сдержанного моего спутника меня тоже заинтриговала. Некоторое время мы молчали, и вдруг он заговорил опять — так, словно и не молчал вовсе или сделал коротенькую естественную паузу.

— Он меня узна-ал!.. Этот Мамадали Болтабаев работал когда-то у нас в райкоме. Хотел тогда меня уничтожить, живьем сожрать. А теперь видит — я существую...

Соседу моему было лет тридцать, хотя на первый взгляд казалось меньше — глаза еще сохранили юношескую ясность. Но теперь я заметил вдруг седину, поблескивавшую у него в волосах.

Поезд дернулся и пошел, убыстряя ход. Сосед, словно всматривавшийся во что-то, не видимое мне, снова встрепенулся.

Знаете, я подсчитал — оказывается, десять лет уж прошло! — сказал он.— Да-а... Мы в тот год институт кончили... Распределяли нас по отдаленным районам... Человек с новеньким дипломом — существо легкоранимое, а я к тому же попал еще в водоворот нежных чувств. Вместе с нами одна девушка училась, Малохат. Мать у нее была человек известный, профессор, депутат, в общем могла нажать кнопки и оставить дочь в Ташкенте, но вот — не захотела. Так и вышло — по правде говоря, не случайно,— что Малохат приехала работать в один район со мной... Можете себе представить, ходил я счастливый и гордый, словно одержал невесть какую победу! Но иногда неловко мне становилось... так, словно я эту победу в долг получил. Я мечтал, как молодости свойственно, взяться за большие дела (только еще не знал, какие), чтобы заплатить этот долг и стать, так сказать, вровень с

собственной счастливой судьбой...

Вскоре как назло выяснилось, что я и мелкие-то проблемы решить не в состоянии. Мы договорились с Малохат, что будем работать непременно вместе, но ее направили в поликлинику, а все мои попытки перевести ее на работу в больницу, куда назначили меня, — ни к чему не привели. Да... и с жильем вышла неувязка. Сам я родом был из этого района, но кишлак мой в двадцати пяти километрах от больницы, каждый день ездить не станешь. Я снял комнату, Малохат заняла койку в женском общежитии... Осенью мы договорились сыграть свадьбу.

В райздравотделе мой односельчанин работал, я ему все рассказал: могут нам, двоим молодым специалистам, дать одну квартиру? Он покачал головой: «Хорошо, что ты сказал — как раз квартира освобождается, одного человека в область перевели, но желающих много'. Хлопчи энергичнее, а то останешься ни с чем...» Мы с Малохат в тот же день написали заявление, оформили бумаги и пошли в райисполком. Оказалось, нас уже опередили: первым подал заявление второй секретарь райкома комсомола, „вторым — ответственный работник райфинотдела... Похоже было, нам этой квартиры не видать. Пам объяснили: вопрос будет решать сам товарищ Болтабаев... Попробовали мы попасть к нему на прием, но шло совещание за совещанием, не попали мы, а тут приключилась эта история, стало не до жилья...

Поезд внезапно окунулся в грохот, полетели, стремительно чередуясь, узкие тени и просветы: мы въехали на громадный мост в стальном переплете арматуры, сквозь который мелькали красные от заката воды Сырдарьи. Мост остался наконец позади, сосед глянул мне в лицо, слушаю ли — и продолжал:

— Лето было, самый разгар работ, да. На хлопчатник тля напала — страшное дело! Ну, поля и стали опылать с самолетов. Тогда, знаете, эти вещи еще не так были упорядочены, как теперь — меры предосторожности соблюдались кое-как... По правилам на опыленное поле никто не должен выходить дня три-четыре. Санитарные врачи твердили об этом без передышки, мы все тоже ездили, инструктировали председателей и бригадиров... Но в одном колхозе, неподалеку, где, кроме тли, на хлопчатник насели еще сорняки, побывал как раз товарищ Болтабаев и давай нажимать на председателя: «Где у тебя люди в поле? И так одни сорняки вместо хлопка! Выводи людей...» Председатель нажал на бригадиров, и один из

них — звали его Ташмат-ака, а как же фамилия? — э, забыл! — так вот, этот бригадир вывел людей на прополку. На поле стоял тошнотворный запах, колхозники стали отказываться — врачи, мол, не велят, но Ташмат начал им говорить, что врачи, дескать, вообще паникеры, если их слушать, весь хлопок задушат сорняки и урожая не видать, как своих ушей. «Идите, ничего не будет» — и сам первый пошел. Ну, вся бригада и двинулась, да еще несколько школьников увязались ей в помощь. Бригадир-то пошел — да и вернулся сразу, а остальные, согнувшись, полют хлопчатник. Двух или трех часов не прошло — у некоторых темнеет в глазах, тошнит их, в обморок люди падают... Я возвращался из другого колхоза и прямо наткнулся на все это: стоит Ташмат-ака, усы поникли, глаза растерянно бегают. Я, говорит, не знал, что так может выйти... Я не выдержал: «Подлец вы, говорю, не хотите о людях думать!» Ну, да что тут ругаться попусту? Вывели мы людей с поля — кого вывели, кого вынесли — оказал я им первую помощь, какую мог... Химикаты эти влияют на разных людей по-разному. Некоторые тут же пришли в себя, а троих, которым было совсем плохо, я на машине отвез в больницу. Всю нашу медицину, какая налицо была, мы поставили на ноги. Трое суток, без малого, день и ночь, боролись за этих троих. Двоих спасли. А вот мальчика...

Музаффар ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу.

— Может, немного окно приоткрыть? — спросил я.

— Сейчас сам открою...

Он опустил стекло пальца на четыре и подставил лицо ветру. Поезд стремительно летел вдоль красной длинной полосы заката и, казалось, вез с собою сумерки. Музаффар повернулся ко мне.

— Я, знаете, впервые тогда понял, что такое для врача — смерть пациента... Кажется, проиграл решающее сражение своей жизни. Да, не чужую жизнь проиграл — а свою собственную... Может, так было потому, что — впервые?.. Но до сих пор у меня перед глазами Зиядулла. Тоненький, беспомощный, весь заострившийся какой-то, мечется не переставая и твердит: «Уведите меня отсюда!..» Видно, ему все мерещилось поле, и казалось — стоит уйти с него, сразу станет легче...

Я уж говорил, кишлак Зиядуллы был недалеко от районной больницы, родители мальчика прибежали почти вслед за нашей машиной. «Доктор-ака, дорогой, сделай что-нибудь, спаси!» Все трое суток они почти безвыходно сидели в коридоре у дверей палаты, и каждый раз, как я появлялся, вскакивали и смотрели на меня отчаянно-

молящими глазами. «Сделай что-нибудь...» А я и так делал, что мог: промывания, уколы за уколами. Капельница стояла у его кровати, вечная, как минарет. В очередной раз, уже на третьей сутки, отец мальчика схватил меня за рукав халата: «Доктор-ака, слушай... у меня стельная корова есть... хорошая корова! Я продам... все деньги отдам! Только помоги!» Я сказал, как мог, мягко: «Деньги тут не помогут, ата... только...» Мать зарыдала в голос, завывала. Отец сказал трясущимися губами: «Только — что?» — «Только если он сам справится». Но я уже понимал: не справится. Не помогали лекарства, не помогали переливания крови. Печень отказывала. Я пустил родителей в палату. Зиядулла то стихал, то начинал метаться, снова повторяя свое: «Уведите меня!» Мать припала к нему: «Сыночек! Сейчас увезем тебя домо-ой!» Я отодвинул ее, цеплявшуюся за мальчика в попытке его поднять. Трогать его было нельзя: стоило прервать наши процедуры — и смерть наступила бы почти мгновенно. Отец согласился со мною — он все еще верил в нашу помощь — и уговорил жену. А Зиядулла стал звать своего старшего брата: «Ака! Ака! Придите за мной!» Начиналась агония. Я спросил про брата: он работал в городе, на химкомбинате, километров за пятьдесят от больницы. Нашелся, однако, какой-то родственник с машиной, помчался за ним. Но когда он привез Сагдулла — мальчик уже умер...

Помню, начинало светать. Я вышел в больничный двор, чувствуя себя так, словно из меня вытряхнули все внутренности. Несколько стариков из кишлака, и председатель колхоза, и бригадир Ташмат стояли во дворе, окружив отца Зиядуллы, и пытались успокоить его, уговаривая не громкими голосами: «Так суждено было... что ж, не вернешь теперь...» Он поднял гневное лицо, залитое слезами, и показал подбородком на Ташмата: «Это он виноват, проклятый!» Старики заговорили снова: «Горе в тебе говорит... Бригадир ведь делал, что председатель сказал... А председателю сам Болтабаев велел... Так уж суждено было! Воля аллаха! Не гневи небо, подумай лучше о своих обязанностях: поминки надо сделать хорошие... Вот председатель даст мешок риса, два мешка муки, барана даст, денег, сколько надо на похороны...» Господи! Тело мальчика еще не остыло, а они говорят о рисе и деньгах... Я чуть не взвыл. Но тут подъехала машина, выскочил из нее крепко сложенный парень лет двадцати пяти, вбежал в больничный двор, окинул взглядом отца, мгновенно смолкнувшую толпу стариков, меня, бессильно опустившего руки... и, должно быть,

все понял.

— Зияд! Братишка-а-а! — заорал он и кинулся в здание больницы. Все глядели ему вслед. В палате оставалась только рыдающая мать, мне бы надо пойти за ним, но, после трех этих суток, я чувствовал себя не в силах. Минуту спустя он появился снова — с телом мальчика на руках. Нес он его как младенца, как пушинку.

— Отец,— сказал он негромким, страшным голосом,— что вы сделали с Зиядом?.. Лучший был сын ваш... Лучший!.. Ну, что сделали?! Учителя же говорили вам, какой он способный... Что ему учиться надо... Почему не отдали мне, когда я хотел его в город взять? Почему, отец?!.

Отец ударил себя по голове и запричитал монотонно, жалко, как-то по-женски:

— Виноват! Круго-ом виноват! Не уберег сыночка! Вай-вай-вай! Знал бы, что Ташмат бросит его в пекло ядовитое — сам бы пошел вместо него... Винова-а-ат! Зачем я вместо него не умер... Ва-ай...

Во двор выскочили двое санитаров, с трудом отобрали тело мальчика у Сагдуллы. Сагдулла боролся за свою драгоценную ношу, должно быть, уже едва сознавая, что у него на руках, но когда руки у него опустели, ему, казалось, необходимо было тут же найти им другую работу. Он сжал кулаки и пошел на толпу стариков. Они сгрудились тесней. Ташмат спрятался за спины. Сагдулла остановился и тем же негромким страшным голосом сказал Ташмату поверх голов:

- А ну... найди мне живого Зияда... Слышал? Ты его убил, ты и воскреси... А то я тебя самого кончу...

— Сагдулладжан,— жалобно сказал Ташмат,— не вини меня зря! Я только приказ выполнял! Хлопок... сорняки...

— А-а,— сказал Сагдулла.— Хло-о-пок! Он тебе дороже жизни человеческой, а? — и после секундной паузы закричал с такой ненавистью и силой, что все вздрогнули: — Га-ад! Тогда почему свою жизнь не отдал!!! Почему несмысленным заслонился!!

— Так все же...— сказал Ташмат, и голос у него дрожал от страха. Все же так делают... Посылают вместо себя... Пошлют, а сами на базар... или дома... А я — за них отвечай?..

— Вр-решь ты все! Вр-решь! Послал школьника... Бригаду-то свою иораснустил, а школьники — у них дисциплина! Вот и пользуешься, гадина! С детьми — легче... Ну... Сам не убью — перед судом за все ответишь! Отве-е-тишь! — и Сагдулла повернулся ко мне: — Это вы — тот доктор, что братишку...— он вдруг всхлипнул, и у меня тоже в горле

ком встал, — что Зияда лечили?

— Я...

— Напишите мне все... справку... я пойду куда следует.

— Да, конечно... сейчас все нанишу.

— Подождите немножко... — раздался позади меня голос нашего главврача, Мирвахид. Он тоже всю ночь оставался в больнице, но я и не заметил, как он вышел во двор и встал позади меня.

— Чего ждать? — сказал Сагдулла.

— Нужно все выяснить...

— Чего выяснять?.. Умер. Умер же!.. Как умер — сами видели. Я на химзаводе работаю, тоже с ядами имею дела. Самую простую технику безопасности нарушили — слепому видно!

Мирвахид поморщился:

— Вы, конечно, говорите правильно, но смерть человека — для нас дело нешуточное. Тем более, если серьезно нарушена техника безопасности... Предстоит вскрытие, мы без этого не можем.

Он был, конечно, прав. Сагдулла хотел возразить, но тут из окна закричали:

— Доктора! Скорее, доктор! Мать тоже умирает!

Мы все бросились в палату. Мать была в глубоком обмороке. Пока приводили ее в чувство, Мирвахид не отходил от Сагдуллы, и я слышал, как он говорил ему участливо:

— Вы, главное, пока мать домой отвезите, и отца тоже, такое горе, Как бы и с ними не случилось чего во время похорон... А бумажки мы все подготовим, не беспокойтесь... все подготовим.

Подавленный двойным несчастьем, Сагдулла согласился, увез родителей, а несколько часов спустя, после вскрытия, мы отправили домой и тело Зиядуллы.

А наутро вызывает меня к себе Мирвахид — говорит, захвати историю болезни. Главврач наш был тогда парень лет тридцати, моего, примерно, нынешнего возраста, мягкий такой, скромный. Все эти жуткие дни мне казалось, он всячески мне сочувствует и старается поддержать. Ну вот, захожу я, сидит он сумрачный, подавленный. Берет историю болезни, внимательно просматривает — и вдруг говорит, не глядя на меня: «Придется изменить диагноз». Это было так неожиданно, что я едва не поперхнулся. Говорю: «Как изменить диагноз? Он разве неправильный?» Честно признаюсь, я сперва ничего не понял. Тут он на меня посмотрел: «Нет, говорит, диагноз

правильный. Но о таком диагнозе надо немедленно сообщать в самые высокие инстанции. Нам, ты знаешь, даны твердые указания: безжалостно бороться со всеми, кто нарушает технику безопасности. Если там, наверху, узнают об этом случае — сам понимаешь, многим в районе не поздоровится...» А я, представьте, сижу перед ним, как-то мне нехорошо внутри, такая волна тошноты подымается, но все еще толком ничего не понимаю. «Кому не поздоровится?» — говорю. Он на меня опять посмотрел — добрым таким, сочувственным взглядом. «Кому?.. Да и нам с тобой тоже. Не понятно?.. Райисполком и председатель колхоза решили это дело замять... Родителям паренька колхоз выдал барана, муки два мешка, рису сто кило... ну, и денежную помощь тоже. Старики кишлачные вроде уговорили отца — все равно, мол, ну посадят бригадира, оставит и его ребят сиротами, разве твой сын от этого воскреснет? Суждено ему было, исчерпался его век... сам знаешь, как старики говорят. Дело только за диагнозом. Ты подготовь... ну, диагноз пищевого отравления... А я подтверждаю».

Пока он говорил, дурнота моя прошла, и холодная, ясная злость во мне закипела. «Но ведь то, что вы предлагаете,— сказал я, как мог, спокойнее,— это преступление». Он вроде как дернулся от моих слов. И тоже перешел на «вы». «Не беспокойтесь! Никакое это не преступление... Мы, кажется, никого не убиваем. Наоборот. Мы, может, спасаем человеческие жизни. Ведь парня в самом деле не вернешь, а у бригадира как-никак пятеро детей... Преступление! Закон законом, а жизнь есть жизнь — все зависит от обстоятельств...»

«Ловко повернуто,— сказал я тихо, хотя лучше бы мне заорать во всю глотку.— Сегодня мы спасем бригадира, а завтра другой бригадир опять где-нибудь так же выведет людей, и, глядишь, уже не один — пятеро на тот свет отправятся! Нынче мы этот диагноз скроем, а завтра, может быть, десять таких придется ставить... Да кто мы вообще — врачи или кто?»

«Ну, знаешь!..— сказал Мирвахид. Он порывисто поднялся и стукнул ладонью по столу, — Ты воображаешь, одному тебе тошно! Я тоже себя кляню — этот мерзавец наделал дел, а нам расхлебывать! И он хорош, и председатель хорош, и... Но ты скажи, что делать? Разве я районом командую? Я человек такой же подчиненный, как ты... Болтабаев решил так, я буду делать иначе — кто останется виноват? Я! Факт, всю вину на меня свалят. Ты, скажут, главный врач, мы тебе поручили охрану здоровья людей, а ты что?.. Да он меня с землей

сравнивает! А жить-то хочется...»

Тон у него был такой прочувственный, и такое несчастное лицо, что я его чуть было и впрямь не пожалел. На мгновение я представил себе, как придумываю другой диагноз... хотя — чего придумывать: пищевое отравление, уже придумали... придется всю историю болезни заново переписать... И тут перед глазами у меня возник Зиядулла, и почему-то следом я вспомнил Малохат — что, если б и с ней такое приключилось!.. Я даже зажмурился, чтобы не увидеть эту воображаемую картину, и всего меня вдруг пронзила судорога ненависти к этому здоровому выхоленному молодцу, который стоит тут передо мной и хнычет, что ему жить хочется — это ему-то! Тряпка, трус... Нет, хуже!

Я схватил со стола историю болезни.

«Жить хочется... — сказал я. — Это вы говорите! А парнишке жить не хотелось?.. О н мог так сказать, а не вы! — голос у меня невольно сорвался на крик. — Вам не жить хочется, — закричал я, — а кресло сохранить! »

Я выскочил в коридор, а Мирвахид, видно, не ожидавший такого финала, опомнился и закричал мне вслед: «Подожди!.. Историю болезни оставь!» По я не ответил и пошел в ординаторскую. Собственная вспышка оглушила меня. Я чувствовал: что-то, наверное, я делаю не так; но — как иначе?.. В ординаторской сидел в одиночестве старый наш врач, он спросил, что это со мной — лица на мне нет — и я все ему рассказал. «Ну, — сказал он, качая головой, — нелегкую вы себе задачу задали. Но теперь уж держитесь. Назад пути нет! Отступите — хуже будет. И потом: если главный врач требует, вы обязаны передать ему историю болезни!» — «Черта с два! — сказал я. — Я ему теперь вот на столько не верю. Мало ли что он с ней сделает? Да просто уничтожит!» Старик пожал плечами. «Ну, копию снимите!.. Но оставить у себя вы ее не можете...»

Я так и сделал. Снятую копию сунул себе в стол. Ждать нового вызова к главному долго мне- не пришлось.

«Историю болезни — вот, — сказал я ему, — но имейте в виду: второй экземпляр я оставил себе...»

«Ладно, ладно, — ответил он, пряча тетрадь в портфель. — Сейчас пойдете со мной в райком. Товарищу Болтабаеву тоже покажете, какой вы смельчак!»

* * *

Слушая рассказ Музаффера, я как-то и не замечал, что в купе стемнело, но тут вспыхнул яркий свет, почти тотчас в дверях показался наш проводник — с подносом в руках, на котором ароматным паром исходил чай в стаканах с подстаканниками — и сказал певуче:

— Как насчет чаю, гости?

Мы взяли по стакану, развернули пакетики с сахаром, нарезали оказавшийся у соседа лимон и стали пить. Я взглянул на соседа — лицо у него при электрическом свете казалось таким измученным, осунувшимся, словно он заново переживал рассказанное. Мне стало жаль его. Чай мы допили, оставили стаканы. Сосед молчал, глядя в темное окно, и мне почудилось: он уже раскаивается, что затеял свое повествование. А я ощутил вдруг, что мне непременно надо узнать продолжение этой истории...

— И что же...— сказал я.— Выходит, этот ваш Мнр- вахид-ака хотел вами, как щитом, от Болтабаева прикрыться?..

Сосед перевел на меня взгляд, словно очнулся.

— Да-а... пожалуй...— он помедлил.— На чем я остановился?.. А-а, пришли мы к Болтабаеву...— он снова помедлил, и лицо его напряглось.— Секретарша нам, конечно, сказала: «Мамадали Болтабаевич заняты...» (Музаффар передразнил секретаршу.) Ждали мы долго, наконец нас пригласили. Заходим, в кабинете явно пахнет пловом, и секретарша эдак бочком выносит свернутую скатерть. А на столе чайник стоит и пиала с чаем... Ну, ладно. Болтабаев нас увидел, набычился и молчит. Мы поздоровались — он молчит. Сидит и смотрит. Я сел, Мирвахид на меня оглянулся, вроде как с укоризной, но тоже сел. Тут только Болтабаев раскрыл рот — и сразу как закричит:

«Чего пришли?! Человека уморили — за наградой пришли? Да вы звания врача недостойны!..— Губы у него еще лоснились от плова, и щеки блестели, я это отчетливо запомнил. Он слегка перевел дух и давай дальше кричать, только чуть ниже тоном: — Вы стражи здоровья! Вас на этот пост народ поставил! Если сторож допустит ограбление банка, ему что будет?.. А вы человека упустили! Такого парня замечательного! Че-ло-ве-ка! — повторил он по слогам,—Люди — это...— он на секунду замялся, словно припоминая.—Люди — наше главное богатство! Вот так... А вас... вас надо гнать из врачей!!! Стражи здоровья... Самих надо под стражу! — опять закричал он.— В тюрьму, да, да!» Тут он остановился, видно, решил, что выдал достаточно.

Мирвахид сидел молча, опустив глаза. То ли переживал главный порыв бури, то ли искал случая меня вперед выставить... не знаю.

«Мамадали Болтабаевич,— сказал я.— Не знаю, кто вас информировал, но я все с самого начала видел своими глазами, и...»

Но он меня сразу прервал: «Мне ваши подробности ни к чему! Тут факт налицо — человек умер! Какие еще могут быть подробности? Человек умер, а врачи не спасли — с врачей и спросим!»

«Спросить нужно, это правильно...» — сказал я. Болтабаев как будто стал прислушиваться, и Мирвахид тоже покосился на меня краем глаза. «Знаете,— сказал я,— мы вот проходили врачебную практику на большом заводе... Так там, если какое несчастье произошло, сразу стараются выяснить причину, и кто нарушил технику безопасности... чтобы в другой раз не повторилось. Надо бы и нам тоже сначала...»

Тут только Болтабаев понял, к чему я клоню. «Хватит! — крикнул он и стукнул кулаком по столу.— Ты кого ко мне привел? — закричал он на Мирвахиду.— Ты этого сосунка привел, чтоб он меня уму-разуму учил? Это ты взял его на работу, а? Где у тебя глаза были?»

Впрочем, по голосу чувствовалось, что внутри он уже слегка поостыл. Мирвахид это усек и решил открыть рот:

«Мамадали Болтабаевич, простите меня, если я виноват, но Музаффар вообще-то неплохой парень. Просто у него еще опыта маловато, только институт кончил, сами понимаете... А главное, по моему, что его взбаламутил брат умершего, Сагдулла этот, ну, вы его знаете, теперь в городе на заводе работает, а здесь прославился как склочник и скандалист...»

«А-а,— сказал Болтабаев,— это который тут все с председателем конфликтовал?..»

«Он самый!.. Потом со злости в город уехал, а теперь всем мстит... ну, и брата ему, конечно, жалко, можно понять — но всему мера есть. Вот мне как раз перед приходом. к вам звонили по телефону: Сагдулла опять скандалит у себя в кишлаке. Председатель там ведь человек хороший, и поступил по-людски: барана выделил, риса, муки, денег... Подвезли им все на арбе, стали выгружать, так тут Сагдулла выскочил, стал орать, что их подкупить хотят, что, мол, память брата он за жратву не продаст, выбросил мешок с рисом на улицу, мешок разорвался, рис в пыль посыпался... Ну, что это такое? А деньги, которые выдал колхоз, кинул бригадиру Ташмату в лицо...»

«Значит, снова хулиганит...— процедил Болтабаев, взял

телефонную трубку, набрал номер.— Алло! Милиция? Артыков? Это я, Болтабаев. Да. В колхозе «Ок ол- тын» похороны, так брат умершего там свалку устраивает, народ мутит... Надо прекратить безобразие, а скандалиста, чтоб неповадно было... А! Уже председатель звонил? Ну, ладно. Не утихомирится, возьми посади на пятнадцать суток. И — на работу письмо. Пусть посидит подумает!»

Бросив трубку на рычаг, он мрачно посмотрел на меня, словно говоря: понял, как все просто с твоим пособником?.. Потом перевел взгляд на Мирвахиду:

«Ну, а с этим умником, с твоим доктором, что собираешься делать?»

Мирвахид словно только и ждал этого вопроса:

«Я ж говорил, Мамадали Болтабаевич, Музаффар парень совсем не плохой. Молодой только, практики пока не хватает... Мы вот говорим, молодым помогать надо. Обращались мы с просьбой о квартире для Музаффара, он жениться собирается... У него и настроение, сами понимаете, какое, оттого, что квартиры нет. И на работе сказывается... Создать бы нам для него условия, Мамадали Болтабаевич, квартира-то освободилась одна... И невеста его, кстати, тоже молодой врач. Отпраздновали бы свадьбу...»

Такого поворота я от Мирвахиды никак не ожидал, и пока он говорил, меня в жар бросало от самых противоречивых чувств. От возмущения, что оправдывают мою вину, будто она сама собою разумеется, и от невольной предательской жалости к самому себе при словах Мирвахиды насчет моего бесквартирного положения, и от стыда, что он приплел сюда мою невесту — и мои личные, сладкостеснительные мои чувства припутали к этому отвратительному разговору. Я едва удержался, чтоб не прервать его, и сидел, должно быть, красный, как рак в кипятке. Но самое удивительное: Болтабаев, после всех своих криков и угроз, прислушивался к Мирвахиде весьма, казалось, благосклонно и даже сделал нам знак пересечь с дальних стульев поближе к его обитому зеленым сукном столу. Мирвахид оглянулся на меня и состроил гримасу: говори же, дескать!

«Если правду говорить, Мамадали Болтабаевич, мы действительно хотели к вам прийти насчет квартиры,— сказал я через силу.— Но из-за этой истории я о квартире и думать забыл...»

«Ну, вот видите,— сказал Болтабаев, и голос его теперь звучал, ей-богу, прямо-таки отечески ласково! — Вот видите, сами-то вы в каком

положении, а еще цепляете себе на хвост решето... Зачем так жизнь усложнять?»

«Простите уж ему, ради его молодости, Мамадали Болтабаевич,— вступил опять Мирвахид.— Давайте все спокойно, разумно устроим. Заменяем диагноз...»

Тут я глянул прямо в лицо Болтабаеву и понял, что он только этого и ждал с самого начала. Все-то он отлично знал — и кто тут виноват, и что может выйти, если начать распутывать клубок. Вовсе меня не в смерти Зиядуллы обвиняли... в неповиновении товарищу Болтабаеву! Но нельзя же мне было так прямо об этом и сказать!

Болтабаев снова напустил на себя суровый вид. «Э,— сказал он,— до каких пор мы будем покрывать ваши проступки!» Но сквозь эту маску суровости так и светилось благодущие. Мирвахид снова заюлил, стал опять просить извинения и прикладывает руку к сердцу, пока Болтабаев наконец не сказал:

«Ладно! Но чтоб такие дела больше не повторялись! Повторятся — от меня добра не ждите!»

Мирвахид залопотал «спасибо, спасибо», встал, все так же держа у сердца руку и кланяясь, а Болтабаев обратился ко мне:

«Ну, идите!.. По вопросу о вашей квартире придете ко мне вместе с вашей невестой, уладим».

А я вдруг почувствовал такую расслабленность, что не мог подняться. Внутри себя я словно разделился на двух человек, и они тянули меня каждый в свою сторону, а внешняя моя оболочка лишилась стержня и обмякла, как продырявленный футбольный мяч. И один из тех двоих, внутри меня, ликуя, мчался на автобусе к Малохат, и уже вдвоем с нею, снова оказывался здесь, и получал ордер на квартиру, и окунался в свадебное празднество, но второй тут же отталкивал его куда-то в сторону, и посреди свадьбы оказывалась больничная койка с умирающим Зиядуллой, и Малохат в ужасе отворачивалась от этой койки, и мне хотелось зажмуриться, чтобы не видеть этой мучительной картины, и в то же время я отчетливо видел, как яростно пожирает меня глазами Мирвахид, замерший в ожидании у дверей кабинета, а Болтабаев из-за стола тоже на меня смотрит, настороженно прищурившись.

И тут наконец что-то меня толкнуло, и я сообразил, что уже небось добрая минута прошла в молчании, а раз я молчу, то, значит, соглашаюсь на эту квартиру, где — вместе со мной и Малохат — всегда

будет жить на койке умирающий Зиядулла, и я сказал себе — что ж это такое?..— встал и произнес плохо слушающимися губами: «Подождите...»

«Подождите,— сказал я Болтабаеву.— Ведь если... если я скрою настоящий диагноз, что люди... люди что про меня скажут — правду-то все знают! И главное... главное — ведь вся наша профилактика — чего она будет стоить! Сколько еще людей могут пострадать...»

«Опять начинаете сначала! — сказал Болтабаев медленно, и в голосе его вновь раскатилась угроза.— Выводы не вы будете делать, ясно? Мы из этой истории сами сделаем выводы, и урок людям дадим. А если будете гнуть свое, да без конца толочь воду в ступе — вся вина на вас и ляжет!»

«Но вы-то знаете, кто виноват!»—сказал я.

«Вы и виноваты! Были бы настоящим врачом — спасли бы парня!»

Расслабленности моей вдруг как не бывало; я опять услышал в себе звенящую злость.

«Да если б я даже не врачом был, а самим аллахом — и то бы его не спасти!.. Если нужно, я доказать могу — есть анализы, есть история болезни!..»

«Да?...— сказал Болтабаев.— Но вы особенно не заноситесь! Если покопаться — у любого ошибки найдутся».

«Может, и найдутся...— сказал я. Молод я еще все- таки был, и тут меня прямо мальчишеская обида захлестнула, аж слезы к горлу подступили.— Если б не я... если бы я случайно там не оказался... и не привез бы людей в больницу... не один бы умер, а минимум трое! Все это знают, весь коллектив!..— тут я спохватился и сам себя одернул.— Дело не в этом... дело в том, что виноват бригадир... и председатель... Они виноваты — а обвиняете вы меня!»

«Онн тоже получают по заслугам, не волнуйся! — сказал Болтабаев. Он, видно, почувствовал слезы в моем голосе, и, будто черпая в этом уверенность и силу, его голос загредел, как листовое железо под сапогом.— Но они — жизнью жертвуют ради хлопка! Понял? Хлопок — вот их главное дело! А твое дело было — здоровье людей беречь!.. Они-то свое делают — видел, какой урожай растет на полях? Видел?.. Наш район на первое место выходит! Воттак! А ты в своем деле что натворил? Твои-то где успехи? Покойника предъявишь? А? — Он ораторски погрозил мне кулаком,— Мы бой ведем за хлопок, бой,— добавил он сквозь сжатые зубы, торжественно и зловеще понизив

голос.— А в бою любая ошибка — предательство...»

В такой перебранке, сами знаете, главное — свою линию не потерять, не сорваться самому на крик и демагогию. А если уж заманили тебя на эту зыбкую почву, все твоё оружие — логика и факты — тут же шлепнется в липкую грязь, иди его потом вылавливай. Но понимать это — мало, надо ещё иметь опыт и выдержку, а мне и того и другого недоставало. Все, что говорил Болтабаев, показалось мне такой явной, очевидной передержкой и ложью, что я не удержался и тоже закричал:

«Вы мне чужую вину не приписывайте! И свою — тоже!..— Я видел, как он дернулся, но меня уже занесло.— Если мы в бою, выходит, Зиядулла на поле битвы погиб, герой, значит — что ж вы настоящий диагноз скрыть хотите? Или — пускай в бою другие погибают, а мы — в сторонке?..» — в этом, конечно, тоже маловато было логики, но, мне казалось, больше, чем в болтабаевских речах.

Болтабаев побагровел и на мгновение вроде бы и дара речи лишился. Он схватил телефонную трубку и стал яростно стучать по рычагу. «Прокурора!»—заорал он наконец в телефон — и почти сразу: «Саттаров?.. Саттаров? Салом! Это я... Как жизнь... Слушай: тут в нашей больнице один горе-врач человека уморил, колхозника... да, да... Дело ясное, понимаешь? Пришли людей... И можешь ордер на арест выписывать! Я ручаюсь... Что?» Не прикрывая трубки, он закричал Мирвахиду: «За все нужные материалы ты мне головой отвечаешь!»

Что он ещё говорил — не помню. Испугался я здорово. Сзади дверь скрипнула, а я даже не сообразил, что это Мирвахид поспешил удалиться. Я, и из комнаты выходя, не обратил внимания, что его там уже нет. Здорово я тогда испугался.

* * *

Музаффар замолк и повел плечами — его, видно, познабливало, он сидел прямо перед щелью приоткрытого окна. Привстав, он поднял стекло, потом наклонился, выключая верхний свет, и сразу стал виден пейзаж за окном: убегающая назад мнрзачульская степь, клочковатая, как борода кочевника, с проплешинами солончаков; простор её терялся во тьме, а по ближнему краю бежали световые квадраты.

— Знаете, вспомню те минуты — и дрожь пробирает,— сказал Музаффар.— Болтабаевская машина поперла на меня, как танк, и не

задумалась бы раздавить: кто за меня вступится? Работа врача — дело тонкое: попробуй, докажи, что ты во всем был на высоте! Болтабаев прав, если покопаться — у любого найдется промах. Может, и я в чем виноват? Это ведь мой первый серьезный случай... Найдут что-нибудь — и все... любую зацепку... И я себе представил: берут меня под стражу, как преступника, и жизнь моя, в сущности, кончена! А я-то, дурак, о больших делах мечтал... И Малохат... и наша будущая жизнь... И такая меня тоска взяла, и такими сладкими показались недавние мои, неустроенные дни с надеждами и мечтами, с правом думать о завтрашней работе — как будто я и впрямь уже был пожизненно приговорен; ах, как хочется жить!.. И я шел по улицам, не замечая куда, и вдруг обнаружил, что стою у здания поликлиники, где работает Малохат.

Вид мой, наверное, здорово ее испугал. И я все, все ей рассказал, распахнул перед нею смятенные мои мысли: по силам ли я взваливаю ношу, может, и в самом деле не стоит из-за покойника нашу жизнь ломать?.. Я, конечно, не замечал, что повторяю аргументы Мирвахиды, словно забыл, что дело не в одном умершем Зиядулле. Честно скажу: ответ Малохат мне в тон — я, может, и отступил бы тогда, сдался на милость Болтабаева...

Но она посмотрела мне в глаза.

«Ноша не по силам? — сказала она.— Но не одному ж вам нести эту ношу. Я не зря сюда приехала... И потом,— тут она улыбнулась милой своей, застенчивой улыбкой,— своя ноша не тянет!»

Когда вам чуть больше двадцати и любимая девушка говорит такие слова, за спиной словно крылья вырастают. С тех пор уже сколько лет прошло, нашему с Малохат старшему восьмой год! — и в семье, сами знаете, всякое бывает — но даже в минуту ссоры, стоит мне вспомнить эти ее слова — все ей готов простить... Словом, настроение мое на сто восемьдесят градусов повернулось. Пошли мы ко мне в больницу, рассказал я все одному из ординаторов, с которым установились у меня дружеские отношения, и он — будто слова Малохат продолжали свое действие — тоже стал меня ободрять и говорит: поезжай в обком, немедленно, не раздумывая!.. Малохат ждала меня на улице. «Я вот что подумала,— сказала она,— давайте прежде всего моей маме позвоним. Тут ведь не о каком-нибудь благе речь идет — справедливость надо восстановить, стесняться нечего!» Мы пошли на переговорный пункт, еле-еле дождались Ташкента, но матери Малохат ни дома, ни на работе

не оказалось... Так и не дозвонились. И только мы, помню, подходим к тупичку, где я квартиру снимал — навстречу следователь из прокуратуры. «Вы, говорит, такой-то?.. Пойдемте со мной...» Пу, пошли мы с ним в прокуратуру, снял он, как полагается, показания с меня — и берет подписку о невыезде... Вот тебе и поезжай в обком! Я почувствовал себя в клетке.

Малохат на другой день взяла у себя в поликлинике несколько дней отпуска за свой счет — и улетела в Ташкент. Л на работе у меня заварилась каша. День-деньской в больнице следователь торчит, да еще один, из райздравотдела, тоже явно болтабаевский человек, а Мирвахид перед ними так и стелется, «нужные факты» готов из-под земли добыть... И попробуй что-нибудь всерьез опровергни — это же не брак в ширпотребе! Докажи задним числом... И от Малохат — никаких известий. Ну, думаю, все, конец мне пришел...

В больнице я задерживался допоздна — все равно некуда было идти, и на квартире нечего было делать, разве что сидеть да раздумывать о горькой своей судьбе. И однажды, возвратись домой, я застал во дворе поджидавших меня Сагдуллу и того старого доктора, что посоветовал снять копию с истории болезни Зиядуллы.

— Слава богу,— сказал я Сагдулле,— вас, значит, не посадили на пятнадцать суток!

Он махнул рукой:

— Э, нет! Просчитались! — он понизил голос и добавил: — У меня в милиции двоюродный брат работает, так он предупредил. Я и подумал, чего без толку возиться сейчас с этим председателем, у меня с ним старые счеты, когда-нибудь я его все равно выведу на чистую воду! Уехал я в город, а сегодня вот специально к вашему главврачу приехал, за бумагами, что он обещал...

— Ну, и как?

— Бумаги, говорит, еще не готовы, дело, мол, как раз разбирается, но лечащий врач, дескать, явно во всем виноват — вы то есть...

— И вы ему поверили?

— Да я уж и не знал, кому верить, спасибо, встретил в больнице вот этого уважаемого доктора, мы все его тут знаем, всех он лечил, и меня тоже — хорошо лечил! Так по его словам другое выходит... Он меня к вам и привел.

Старый доктор взглянул на меня печально.

— Если хотите,— сказал я,— могу рассказать, что тут на самом деле

выходит, что делается...— Сагдулла кивнул, и я передал ему весь разговор в болтабаевском кабинете.

Сагдулла слушал молча, но к концу моего рассказа засопел, как закипающий чайник.

— Вот оно что!—сказал он яростно.— Я, конечно, знал, что Болтабаев — не свет в окошке, но чтоб так... А я- то, дурак, воображал, что наш председатель — главное зло! — Он вскочил и взмахнул рукой,— Не-ет! Не выйдет у них с больной головы на здоровую сваливать! Не выйдет! Я, куда хошь дойду, а правду докажу... Слушай, брат, ты мне только эти бумажки достань, я ж их, коли так, из твоего главврача не вытащу, ясно!.. Л без них...

Я покачал головой:

— Мне теперь ни к чему доступа нет...

— Как же так — ты же сам писал...

— Это не важно...

Старый доктор сказал:

— Музаффар, у вас же есть копия истории болезни?

— Спасибо, коллега, вдвойне вам спасибо!.. Сагдулла, друг, получишь ты главную бумагу!

Сагдулла тоже обрадовался.

— Ну, вот! Теперь по начальству пойду — сперва в область, а там, если надо — в Ташкент!

Старый доктор снова покачал головой.

— Боюсь, времени по всем инстанциям ходить уже нет. Тут покамест может так дело решиться... Надо быстро действовать. Л вот как...— Он помолчал, опустив голову, потом взглянул на нас.— Слушайте-ка. В нашу область как раз приехали токсикологи из Москвы и Ташкента — после совещания в столице. Насколько я знаю, двое из них — сейчас в областном центре, в гостинице... Так что — доставайте свою копию, опишите коротко всю историю — и пускай Сагдулла к ним едет... Фамилии я скажу...

Было уже около двенадцати ночи, когда Сагдулла, с этими бумагами в кармане, раздобыв какую-то машину, умчался в область. Туда и обратно — километров сто, и я не спал до утра, все его поджидал. Пошел утром в больницу, и там все выглядывал в окно. Сагдулла не появился... А часов в одиннадцать меня вызвал следователь. Перед ним лежала папка с моим «делом», и чего там только не было! Такое-то лекарство, бывшее в распоряжении лечащего

врача, не использовано, зато такая-то процедура ухудшила состояние больного. Таких-то уколов сделали пять, хотя следовало сделать не меньше восьми... И прочее, и прочее, и прочее... Врачебный опыт у Мирвахиды был, и он состряпал все, чего хотел следователь. А я — что я мог теперь доказать? Больной умер, и это была главная и страшная правда. Бесплезно было говорить, что и других пострадавших лечили так же, что случай был тяжелейший, а у врача районной больницы куда меньше возможностей, чем в столичной клинике... Что я ни говорил — все оборачивалось против меня. А кое-кто из персонала больницы, из страха за самого себя или по наущению главврача, поддакивал следователю или просто умалчивал о том, что должен был бы сказать... Словом, мне уже виделось небо в крупную клетку, как говорится... И сегодня я мог бы запросто повстречать Болтабаева, отбыв срок заключения!.. Нет, как хотите, а в этом мире, кроме прочего, играет свою роль и везенье...»

Музаффар снова смолк, задумавшись, и я спросил после паузы:

— Вы хотите сказать — вам просто повезло?

— Не совсем так... Все это было не просто... Ну, конечно, Сагдулла... он так болел за погибшего братишку, что готов был совершить невозможное. Представляете, приехал в область на рассвете, нашел и разбудил этих самых приезжих токсикологов, показал им бумаги. По программе обкома им предстояло ехать в какие-то дальние районы, но Сагдулла пошел и в обком, сумел убедить, что, раз у нас такое «чепе», надо везти их сначала к нам — и назавтра они к нам и приехали! Черт-те что!.. Приехали к нам — и сразу в больницу. Разобраться в сути дела им было нетрудно, тем более, что и данные анализов, и всю историю болезни они уже знали. Опросили нескольких свидетелей (их тоже доставил Сагдулла) — и картина окончательно прояснилась. И тут в больнице появился Болтабаев. Уже совершенно другой Болтабаев!.. С токсикологами прибыл представитель обкома, да и сами они располагали немалыми полномочиями, и Болтабаев при них вел себя так скромно, деликатно, так сокрушенно покачивал головой, и металл в его голосе появился только, когда он стал негромко, но сурово выговаривать Мирвахиду, что тот позволил начать необоснованное следствие по этому делу!.. Этот театр надо было видеть!.. Пригрозил строго наказать и даже отдать под суд настоящих виновников. Словом, разыграл все как по нотам, а уважаемых гостей посадил в машину, увез в сад и устроил грандиозное угощение — с перепелиным шашлыком,

каким-то небывалым пловом, нежнейшей самсой и дорогими коньяками. Я-то знаю об этом не понаслышке: самое смешное, что он позвал ...и меня! И я поехал... да, конечно, надо было отказаться, но я поехал, потому что ни на грош не поверил болтабаевской комедии, и посреди сладких слов в мой адрес уловил его случайный взгляд — колючий, ледяной, и мне казалось: выпусти я этих токсикологов из виду — и Болтабаев их каким-нибудь образом переубедит и завертит машину в обратную сторону...

Впрочем, токсикологи спешили в другой район, их там ждали в тот же вечер. После их отъезда Болтабаев, конечно, объявит пару формальных выговоров, а в удобный час снова спустит на меня собак. После того я проводил токсикологов в нашу маленькую гостиницу. Роскошный обед оказал свое действие, ученые были настроены благодушно.

«Все же выяснилось,— сказал мне москвич,— все хорошо, дорогой доктор Музаффар! Вы зря беспокоитесь...»

«Нет,— сказал я (выпитый коньяк мне, напротив, придал мрачности и смелости),— нет, вы не поняли, ведь всю эту кашу заварил, вы думаете, кто? Да сам Болтабаев!»

«Вы преувеличиваете,— сказал москвич,— он же умный человек...»

А ташкентец добавил со смешком: «Милый мой, мы же все равно вынуждены оставить Болтабаева на своем посту... не можем же мы его снять!»

Я сказал: «Останьтесь хоть до утра!»

«А утром что?» — спросил москвич.

«А утром... утром приедет один ответственный человек, и вы ему скажете свое мнение...» Я почему-то упрямо верил в тот вечер, что утром непременно приедет Малохат — и привезет свою мать-депутата или кого еще поважнее... Но они, конечно, остаться до утра не смогли.

А утром следователь снова появился в больнице, как ни в чем не бывало, и дела пошли по-старому... Гак что опасения мои оправдались куда раньше, чем я ожидал.

И все-таки мне повезло! Вот вы, кажется, не верите в это самое везенье, а мне повезло! Повезло, что был Сагдулла, простой рабочий человек с острым чувством справедливости и отважной душой; повезло, что рядом оказалась Малохат, милая моя Малохат с упорством и верой не меньшей, чем у Сагдуллы... Приехав в Ташкент, она все рассказала матери и попросила сразу поехать с нею в наш район и

вмешаться. Будущая теща знала меня с первого курса и всегда привечала, но бросить свой институт (она была там директором) никак в тот момент не могла. И что бы, в сущности, дало ее вмешательство?.. Она стала звонить своему старому комсомольскому другу, который работал теперь в ЦК партии. Увы, того не оказалось на месте: был в длительной командировке. «Где?» — безнадежно спросила моя теща. И, представьте, он был как раз направлен в нашу область как ответственный работник ЦК партии республики. Она написала ему — и послала Малохат с этой запиской...

Заговорил я вас небось? Нет? Ну, история, как вы догадываетесь, наконец-то подошла к завершению. Вмешался уполномоченный ЦК, вмешался обком (да и представитель обкома, что ездил с токсикологами, доложил их мнение) — и Болтабаев завертелся, заюлил, пробовал замести следы, да только слишком уж они были заметны. И многие из тех, кто услужливо помогал ему прежде, теперь, спасая собственную шкуру, стали выкладывать о нем все, что знали... К трагической истории на том опыленном иоле прибавилось еще столько всякого!.. Полгода спустя и тени Болтабаева уже не было в нашем районе...»

— Где же он теперь-то?

— Не знаю... говорят, бригадиром в каком-то совхозе... Судя по внешнему виду, должно быть, так и есть. Видали, как выглядит? Пока районным начальством был да разъезжал в персональной «Волге», он и одевался иначе, а жена ходила в таких, знаете, кокетливых платьях да на высоких каблуках. А теперь только что паранджи на ней нет... Ичиги, кавуши, вся платком замотана. Если в пустую бутылку кумыс налить, бутылка белая будет, если лимонную воду — желтая. Так и «эти молодцы, вроде Болтабаева. Слезет такой с кресла — и уже не верится, что он мог когда-нибудь высокую должность занимать...

Поезд наш с минуту назад остановился в Хаваете. На полутемном перроне выл ветер, ударяясь о вагон, что-то поскрипывало... Неуютно было. В двери купе опять показался наш проводник.

— Не соскучились, гости? А то я вам попугачиков привел. Эти уж не сбегут! — он засмеялся.

В коридоре стояли юноша с чемоданом и старушка в очках.

— Пожалуйста, устраивайтесь,— сказал Музаффар, и мы вышли с ним из купе. Я пробежал глазами по узкому коридору. Двери были закрыты. За одной из них спит Болтабаев... Проводник возвращался к

себе.

— А что, давешний наш ревнивец — не рядом с нами? — спросил я.

— Не-ет, он в другой вагон перешел...

— А может, вообще сошел? — спросил Музаффар. Проводник засмеялся.

— Э-э, куда он сойдет! У него билет до конечной... Значит, ехал в том же поезде.

1968

Ульмас Умарбеков
р. 1934

АБДУЛЛА-КАВУНЧИ

Говорят, любовь слепа. И правда, не будь она слепой, разве приглянулся бы мне Абдулла-кавунчи? Порой чуть не плачу от досады. Потом подумаю: аллах с ним, парней других нет, что ли,— и иду в клуб, веселюсь, стараюсь развлечься. Но стоит вернуться домой, потушить свет и лечь — сердце заноеет и какой-то ком подкатит к горлу. Повернусь на один бок, на другой, не могу уснуть: стоит передо мной его веселое лицо, и все тут. До чего же он славный! Из красивых глаз под черными густыми ресницами так и брызжет веселье, а как говорит — словно поет! Только есть у него один недостаток: каждые десять дней наголо бреет голову. Да еще так надушится дешевым одеколоном, что даже мутит от запаха. Отрастил бы себе волосы, зачесал бы их назад или набор — вот было бы красиво! Так нет же... А может, так оно и лучше? Будь он с волосами, да еще в вышитой рубашке, закружил бы головы девушкам. Ну и пусть бы кружил... Может, я от него отвернулась бы. А то в первый же день приезда в кишлак приворожил меня, да и все.

Я вылезла из машины прямо у конторы, посидела немного на чемодане. «Ну вот, голубушка, с сегодняшнего дня вы самостоятельный человек, перестали есть мамин хлеб, справитесь ли?» — спросила я у себя. Потом вошла в контору. Из кабинета председателя слышались голоса. Я растерялась: войти или подождать? И невольно прислушалась к разговору.

— Я тебе, братец, тысячу раз говорил,— недовольно бубнил бас.— Мне дыни не нужны, хлопок нужен, да, хлопок. Это он принесит колхозу славу или обрекает его на позор. Даже младенцы понимают это, только ты не хочешь понять... Больше не дам ни клочочка земли.

— Сулейман-ака, только пять гектаров, ну, пожалуйста,— умолял молодой голос.— Низина Учтепы пустует, если уж на то пошло, дайте хоть ее, ведь и дыни нужны.

— Сказал тебе, не дам. Не дам. И не уговаривай.

В комнате наступила тишина. Я постучалась и вошла. Передо мной стоял красивый парень. Широкоплечий, высокий... Увидел меня и покраснел, видно, смутился. Я поздоровалась. Председатель подошел, подал руку, потом с недовольным видом кивнул на парня.

— Знакомьтесь. Бригадир Абдулла-кавунчи. Никаких забот нет, кроме дынь.

— Большому хозяйству дыни не помеха,— сказала я и посмотрела на Абдуллу. Вдруг мое сердце екнуло. Почему? И сама не пойму. Сулейман-ака непонимающе посмотрел на меня и выпроводил Абдуллу-кавунчи. Потом что-то сердито объяснял мне, я до сих пор не знаю что.

И зачем только я приехала в этот колхоз? Ведь и другие колхозы просили агрономов!

Вечерами в общежитии девушки много говорили о любви. Но я никак не могла понять, как можно полюбить с первого взгляда. А теперь... Неужели я полюбила?! Заставляю себя не думать о нем и не могу. И днем думаю о нем и ночью. Выеду в поле и сама не замечаю, как поворачиваю коня в его бригаду. Нет его, разговариваю с девушками, хочу узнать о нем побольше. Не помню, прошла неделя со дня моего приезда или нет, а я о нем уже знала все.

Когда Абдулладжану было тринадцать лет, его отец ушел на фронт, и они остались вдвоем с матерью. Придет из школы и бежит в поле к матери. Об играх он и забыл. То окучивает помидоры, то прополет лук, ночами, несмотря на возражения матери, стережет дыни. А утром с мальчишками бежит на почту. Так прошел год. За этот год от отца было всего два письма. В первом отец писал: «Сынок, мой дорогой и единственный сын! Войне не видно конца. Я, конечно, не вернусь, пока не уничтожим врага в его логове. Береги мать, поручаю ее тебе. Приглядывай за дынями, которые растут на Учтепе. Под застрехой крыши коровника в старой шапке есть семена чудесной дыни, я привез их из Ферганы. Если сможешь, посади их. Скучаю по тебе. Отец твой Хамидулла-кавунчи».

А во втором... второе написал уже не отец, а командир роты. Оно подняло на ноги весь кишлак. Это была «похоронка».

Три дня пропадал где-то Абдулладжан, а на четвертый вернулся домой на заре, взял кетмень отца и отправился на Учтепу. Вот и заменил прославленного по всей республике Хамидуллу-кавунчи его сын — Абдулладжан. Вывел сорта, которые не успел вывести отец. И вправду, если попадете на бахчу, то раскроете рот от удивления. Рука не поднимется сорвать желтые, как золото, чигирики, ананасы, лежащие стройными рядами в зеленых праздничных чапанах. В прошлом году на выставке в Москве Абдулладжан представлял наш

колхоз своими дынями.

А было так. Вечером мы с председателем пересчитывали в амбаре урожай бригад. Вдруг в воротах появляется Абдулладжан, ведет осла, запряженного в арбу. Арба была покрыта брезентом.

— Эй, кавунчи, что за фокусы? — удивился председатель.

— Дыни привез,— и Абдулладжан почему-то улыбнулся.

— Мало тебе машин?

— Сломались машины.

— Сломалась одна, ну две машины. Так что тебе нужно? Нам некогда.

— А она одна.

Одна? Что одна?

— Дыня одна.

Абдулладжан, улыбаясь, снял брезент. Мы так и ахнули! За всю свою жизнь я не видела такой большой дыни. Не преувеличу, если скажу, что она одна заняла всю арбу. Слезы блеснули на глазах Сулеймана-ака.

— Молодец, сынок! — Он поцеловал Абдулладжана в лоб. — Кто бы мог подумать! Ты превзошел даже покойного отца.

— Теперь вы дадите ему землю? -г- воспользовалась я моментом. «

— Землю?.. Да, землю...— Сулейман-ака задумался, потом махнул рукой.— Сколько?

— Пятьдесят гектаров.

— Пятьдесят гектаров?! Ладно, бери!

Председатель тут же пошел звонить в район.

Абдулладжан подошел ко мне и сказал:

— Спасибо,— и пожал мне руку так, что я чуть не вскрикнула.

— Вам... вам спасибо,— ответила я, растирая руку.— Нелегко вырастить такую дыню.

Тут вернулся Сулейман-ака.

— Ну вот,— он потрепал Абдулладжана по плечу,— завтра приедут из района. Поедешь в Москву.

И правда, все было так, как сказал председатель. Не прошло и недели, как Абдулладжан уехал на выставку. Пятнадцать дней без него мне показались пятнадцатью годами. В эти дни я поняла, что люблю его. Но как быть? Он же ничего не говорит мне. Разговариваем только о деле. И в клубе он не бывает, как другие парни. А если нечаянно заглянет, сидит себе в углу и улыбается. Ладно, пусть только приедет, я

знаю, что делать! В институте парни шутили: «Ох и язычок у тебя острый!» Вот и задам работу этому язычку.

Но Абдулладжан вернулся, а я и слова вымолвить не могу. Наоборот даже, если раньше хоть разговаривала с ним свободно, теперь наедине с ним язык прирастает к небу. В тот день, когда он вернулся из Москвы, долго рассказывал нам о том, что видел и узнал на выставке. Привез диплом выставки. Словно заколдованная, смотрела я на него.

Когда все разошлись, он вызвался проводить меня. Как я обрадовалась! Но чтобы не выдать себя, беспечно ответила:

— Не беспокойтесь!

Я живу на окраине кишлака. По прямой дороге это близко. Чтобы удлинить путь, я свернула налево.

Мы шли рядом.

— Не устаете? — спросил меня Абдулладжан.

— Когда уставать? — засмеялась я.— Времени нет!

— Вы правы. И я очень соскучился по работе. Ведь пятнадцать дней руки были без дела! Да, а вы бываете в нашей бригаде? Как там дела?

Меня словно окатили водой. Я даже остановилась.

— Хорошо! — зло ответила я.— В вашей бригаде дела идут хорошо! Лук пропололи... позднюю... позднюю дыню уже окучивали... перец полили... Еще о чем рассказать?

— Мавджудахон, что с вами? — растерялся Абдулладжан.— Вы обиделись на меня?

— Нет, не обиделась,— я закусила губу.— Зуб заболел. Дальше пойду одна. Спасибо...

— Я провожу...

— Спасибо...

— Мавджудахон, но...

— Нет, нет,— с обидой твердила я.— Не хочу отрывать вас от дел.

И изо всех сил побежала к дому! Не раздеваясь, бросилась на кровать и наплакалась досыта. Что за человек, на уме только работа!

Вот уже год прошел после этого. Чем больше избегаю его, тем сильнее тянет к нему. Но Абдулладжан молчит. А когда разговариваем, не смотрим друг на друга. И Абдулладжан стал избегать меня. На заре уходит в поле, ночью возвращается. В контору приходит, когда вызовут.

Тоску свою я решила заглушить работой. И в стужу, и в зной езжу по полям. Иногда даже ночью где-нибудь на стане. Подняли мы

четыреста гектаров новых земель. Половину засеяли хлопком. На остальной посадили фруктовые саженцы. Пятьдесят гектаров отдали Абдулле-кавунчи. До сих пор я не называла его так. А теперь буду. Даже как-то на собрании так назвала.

Эх, почему я не парень! Подошла бы к нему и спросила: «А скажи-ка, голубчик, правду: любишь ты вон ту девушку или нет? Ведь чахнет она по тебе...» А что, если скажет «не люблю»? Я даже вздрогнула от этой мысли. Нет, жизнь без Абдулладжана — не жизнь. Я встала, хотя и очень устала за день, накинула жакет и вышла на улицу. Ночь темная. Кругом ни души. Через яблоневый сад прошла к реке. Приятно шелестит листва под ногами.

— Луна выплыла из-за туч. Засеребрились волны реки. Я подошла поближе. И вдруг, вдруг...

— Мавджуда! — позвал знакомый голос.

Я стремительно обернулась: Абдулладжан!

— Здравствуйте! — выпалила я, хотя мы и виделись утром.

— Здравствуйте! Что, не спится?

— Да, — улыбнулась я. — А вы?

— Я? — Абдулладжан тоже улыбнулся. — Люблю погулять вечерами. Не спится, есл*(не пройдуь немного.

— С каких пор?

— Да вот уж больше года.

— Пейте снотворное.

— Мавджудахон!

— Что?

— Знаете...

— Нет...

Абдулладжан откашлялся.

— Давайте пройдемся. Вы не против?

— Что же, — с деланным равнодушием согласилась я, про себя подумала: «Ну что, голубчик?»

Мы долго гуляли. По висячему мосту, мимо клеверного поля, дошли до бахчи. Абдулладжан принес дыню. Вынул из голенища нож и только прикоснулся к дыне, она распалась на две половины. Хотя у меня зуб на зуб не попадал от холода, я съела кусочек. Ох, и сладкая!

— На свете есть вещи намного... — Абдулладжан запнулся.

Я удивилась. Не словам, его смелости удивилась я. Но промолчала, будто не слышала. Он, видно, понял это. Сказал, с любовью глядя на

бахчу:

- Может, на будущий год побольше засеять этих семян?
- Можно.
- Вы поможете?
- Конечно.
- Эти дыни можно хранить всю зиму.
- Идемте. Уже поздно.

Дорогой Абдулладжан не проронил ни слова. И я молчала. К чему слова? Мы оба заняты своими мыслями. О чем он думает? Может, о дынях? Пусть думает! Если у человека есть думы — есть и сердце. А я, я думаю о нем. Он стоит этого.

- Мавджуда...— сказал он, когда мы были у яблонь.
- Что?

— А завтра... завтра вы будете гулять?

Сейчас он был похож на ребенка, глаза его светились.

— Гулять? — улыбнулась я.— Да, обязательно. Птицей я влетела в комнату. Не раздеваясь, бросилась на кровать и впервые за многие ночи заснула спокойно и безмятежно.

1960

ОСЕНЬЮ

Медленно, неторопливо шла тетушка Саври по скверу Революции. Куда ей спешить? Что у нее, дети дома плачут или ждут неотложные дела? Все сделано, и плакать некому. Зачем ей спешить? Да и рано еще. Утренний вц- терок еще не согрелся, но уже не щиплет холодом. Иней серебряными сережками свисает с листьев. И до чего же всеильно это солнце! Не будь его, разве появились бы эти сережки? И птицы стаями облепили деревья. Раньше они чирикали где-то в листве, а теперь греются на солнышке. И люди тоже тянутся к солнцу.

В сквере мало народу. Кто на работе, кто на базаре делает покупки, а кто уже идет с работы, как тетушка Саври.

На работу она приходит рано. Подметет пол, сотрет пыль. В некоторых комнатах помоем полы. Иногда протрет окна. Когда приходят служащие, все вокруг блестит.

Вот уже два месяца она работает здесь, но так и не знает, как называется ее контора. Все комнаты заставлены высоченными кривыми столами. Служащие стоя что- то чертят на больших листах

бумаги, а что — она не знает.

На работу ее устроил Сатуболди. У Сатуболди отдельный кабинет, а у дверей всегда сидит женщина. Но ее тетушка Саври видит редко. Уборку она начинает с этой комнаты, когда никого нет.

А закончит работу и идет через сквер домой. Летом в сквере шумно, весело. Куда ни глянешь — всюду люди, даже сесть негде. И утром, и днем, и вечером. Теперь не так. Кругом — пусто. Скамейки — пустые. А какие скамейки!.. Такие удобные! Сядешь, все тело отдыхает. Тетушка садится на одну из них и разглядывает прохожих. Потом по прямой улице идет домой. Она любит ходить пешком, да и привыкла уже. За всю свою жизнь, а ей уже шестьдесят три года, она ни разу не ездила ни в машине, ни в трамвае. Ох, и мучался ее покойный Усман-ака, когда они собирались куда-нибудь! «Ну что ты себя терзаешь», — умолял он ее, уговаривал. Не помогало. Иногда сердился: «Что ты имеешь против транспорта?» Но и это не помогало.

В пятьдесят лет Усман-ака ушел из жизни. Не был ни болен, ни ранен. Вечером ел шавлю — любил покойный эту рисовую кашу с мясом и машем. «Вздремну-ка, — говорит, — что-то сон одолевает». Лег и не встал. Покойный был низкого роста — по плечо тетушке Саври, кроткий, покладистый. Настолько тихий, что не знали, дома он или нет. И смерть его была такой же незаметной. Но в каждый праздник тетушка Саври бывает на могиле мужа.

Трудно ей очень. Но Сатуболди устроил ее на работу, и теперь ей легче, она бывает на людях.

Многие, оказывается, пропали на фронте без вести, не только ее сын. Так-то оно так, но по единственному сыну горюешь сильнее. До сих пор она не знает, правильно сделала или нет, что сняла траур. Она слышала, что кто-то вернулся через двадцать один год. А сколько времени прошло, как ушел Бердали? Только семнадцать лет. Может, и вернется еще. Вечерами, когда она сидит одна за чашкой плова, мысли одолевают ее. И ей кажется, что сейчас войдет Бердали с двумя дынями. Почему обязательно с дынями, тетушка Саври не знает. Но помнит: откуда бы ни пришел Бердали, из школы ли, или еще откуда-нибудь, всегда что-нибудь приносил. Накануне отъезда тоже так было: принес ведро персиков.

Бердали был красивый парень. Он красиво смеялся. И тогда на щеках у него появлялись ямочки. Тетушка Саври очень любила, когда смеялся сын. Смеялся он и на вокзале, когда уезжал на фронт. Этот день

тетушка Саври никогда не забудет. Когда она вспоминает его, слезы так и навертываются на глаза. Припомнит еще свое одиночество и совсем затоскует.

Хорошо еще, что Сатуболди проведывает. Он навещает ее со дня траура, вот и на работу устроил.

Она и ходит теперь через сквер, по прямой улице. Здесь познакомилась с Сабирджаном. Сабирджан — сапожник. Он очень здоровый, широкоплечий. Ей часто хочется спросить: «Почему ты обувь чинишь, неужели нет работы по твоим силам?», но не спрашивает, стесняется. И потом какое ей дело? Каждый занимается тем, что ему по душе. А если сказать правду, то у Сабирджана золотые руки. Он словно родился сапожником. Игла и шило так и играют в его крепких, загорелых руках. А какой он внимательный! Каждый раз вежливо здоровается с ней:

— Ассалом алейкум, тетушка. И куда это вы?

— Домой, сынок, домой,— замедляет тетушка шаги и гордо добавляет: — С работы иду.

— Наверно, устали.— Сабирджан откладывает работу.— Отдохните немного, чайку попейте. Цейлонский. Только что заварил.

Когда тетушка Саври спокойна за дом, она соглашается. А за дом она почти всегда спокойна. До обеда еще далеко. В доме все чисто.

Сабирджан подает скамеечку, она садится. И вот тогда она чувствует усталость. Но выпьет крепкого, как Сабирджан говорит, цейлонского чаю и бодрее. Тепло разливается по телу, и ей не хочется вставать. В такие дни она здесь остается до вечера. Сабирджан много знает, да и говорит умно. Какие новости в мире, о чем говорят руководители государств, чего еще хочет выкинуть Америка,— обо всем знает. Или же говорит про обувь, которую чинит.

— Посмотрите на эти ботинки,— говорит он,— видите, дыра с верблюжий глаз. И каблуки стоптались. Вы знаете, кто носил их?

Тетушка Саври качает головой, нет, не знает.

Сабирджан продолжает:

— Этот человек очень трудолюбивый. Только о работе и думает. Ходит, напорется на камень — посмотрит. Сверху целы — идет дальше. Снять и посмотреть ему некогда.

Сабирджан набьет новую подметку, выровняет каблуки, и туфли опять как новые.

Она хочет спросить его: «С таким умом мог бы управлять какой-

нибудь конторой, зачем сидишь здесь?» Но молчит. Вспомнит сына. «Хотя бы так сидел, и то было бы великое дело»,— думает она, и какой-то ком подступает к горлу. Она знает: если не уйдет сейчас, то расплатится, и прощается с Сабирджаном.

— Долгой жизни тебе, сынок! Пусть твои руки не знают усталости!

— Спасибо, тетушка,— говорит Сабирджан.— Счастливого пути!

Всю дорогу тетушка Саври сдерживает слезы, а дома сразу принимается готовить обед. Иногда это не помогает, слезы так и льются. Выпьет чаю и ждет рассвета. Когда прокричит петух, ей становится легче. На работе и около Сабирджана она успокаивается.

Но... но уже три дня будка закрыта, Сабирджана нет. В первый день это ее не очень обеспокоило. Но сердце все же дрогнуло, когда она увидела з*мок. Она даже подождала немного — может, придет. Нет, не пришел. И на второй день то же самое. А она, оказывается, очень привыкла к Сабирджану. Домой вернулась опечаленная, словно потеряла что-то дорогое.

Есть не хотелось. Легла сразу, но всю ночь не сомкнула глаз. Что случилось? Может, уехал куда-нибудь? Сказал бы. Что же случилось?

Тетушка Саври шла медленно, неторопливо. Зачем ей спешить? Что у нее, дети дома плачут или ждут неотложные дела?

Все сделано, и плакать некому. Да к тому же еще рано. Сегодня она получила зарплату. В универмаг, что ли, зайти? Нужно обувь купить. Уже и зима наступает.

Так тетушка Саври хотела отвлечь себя от мыслей о Сабирджане. Но не могла. Вдруг она ускорила шаги. Прошла и универмаг. А вот и будка. Открыта или опять закрыта? Тетушка Саври шла быстро, размахивая руками. Будка открыта. Тетушка зовет что есть силы:

— Сабирджан!

Кто-то выглянул в окно.

— Что вам, бабушка?

Тетушка опешила. Это был не Сабирджан.

— А где же Сабирджан? — спросила она упавшим голосом.

— Что? — В будке сидел усатый человек.— Проходите, бабушка.— Он указал на скамейку.— Садитесь.

Тетушка Саври опустила на скамейку, словно только и ждала этого. Она очень устала и была бледной. Сняла жакет. Она задыхалась от быстрой ходьбы. Отдохнув немного, спросила:

— Где же Сабирджан?

— Сабирджан? — переспросил усатый. Он прибывал подкову к сапогу.— Сабирджан заболел. Лежит.

— Что с ним? — испугалась тетушка.— Где лежит?

— Дома,— не отрываясь от сапога, ответил усатый.— Дома лежит. Не знаю, что с ним. Мне сказали: «Иди замени его»,— вот я и сижу.

Тетушка Саври медленно встала. У нее онемело все тело. Ноги еле двигались.

— Сидите, бабушка, — сказал усатый,— что за дело у вас к Сабирджану? Может, я сделаю?

Тетушка Саври не ответила. Она медленно пошла домой. Зачем ей спешить? Что у нее, дети дома плачут? Нет. Даже единственного сына аллах отнял у нее. Куда ей спешить? Ведь только полдень. Вдруг похолодало. Повеял холодный ветерок. Тетушка Саври вздрогнула. Надела жакет.

Тетушка Саври добралась до дому и присела на террасе. Сидела долго. Ей захотелось цейлонского чаю. Сабирджан как-то уговорил ее взять у него пачку этого чая. Пока она умывалась, самовар вскипел. Заварила крепкий чай. Но вдруг ее будто осенило. Она оделась потеплее и быстрыми шагами вышла на улицу. Вернулась к будке. Будка была закрыта. Тетушка задумалась. Потом вошла во двор трехэтажного дома, перед которым стояла будка. Во дворе мальчик возился с колесом.

— Сынок, не знаешь, где живет Сабирджан? Сапожник? — спросила она у мальчика.

- Знаю,— мальчик поднялся.— Один раз я ему помогал нести дыню. Показать вам?

— Покажи, милый! — тетушка обрадовалась.

— Ладно,— согласился мальчик.— Только поедем на машине.

— На машине? На какой машине?

Вот видите.— Мальчик показал на колесо. — Я поеду впереди, а вы сзади. Не бойтесь, если я уеду далеко, вернусь потом. Ладно?

— Ладно, сынок, ладно,— закивала головой тетушка Саври.

И мальчик покати колесо.

— Бип-бип-бип! Поехали!

Сабирджан жил неподалеку.

— Вот.— Мальчик указал на маленькую красную калитку.— Здесь он живет. Входите. Я поехал. Бип-бип- бип!

Голубчик мой! Пусть счастлива будет твоя мать!

Тетушка Саври вошла. В узеньком дворике никого не было. Она

подошла к двери. Сердце сильно билось. Она тихо постучалась.

— Кто? Входите!

Это был Сабирджан. Она узнала его по голосу. И успокоилась. Вошла.

Полулежа на кровати, Сабирджан смотрел на дверь.

- О! Тетушка! Проходите.— Он сел на кровати, но не встал.

— Пришла вот,— сказала успокоенная тетушка.— Что с тобой, сынок? Как здоровье?

— Да вот, старая рана,— ответил Сабирджан.

— Какая рана?

— Ноги...

— Что с ногами, сынок? — вновь забеспокоилась тетушка Саври, приближаясь к нему.

— С ногами? — Сабирджан задумался.— С ногами... Нет ног...

— А?! — тетушка так и обмерла.

Наступила тишина. Сабирджан, застеснявшись чего-то, зажмурился. Потом улыбнулся, открыл глаза и посмотрел на тетушку. Лицо ее было залито слезами.

— Ну, что вы, не плачьте,— сказал Сабирджан.— Напрасно. Это война. Лучше расскажите о своей работе. Ну как, вы довольны?

Тетушка не отвечала. Она замерла у ног Сабирджана. Вдруг она закашлялась, морщинистое лицо ее сжалось еще больше, и она громко, как ребенок, зарыдала.

— Сынок, сыночек мой! Пусть будет проклята война, пусть она будет проклята! — повторяла она сквозь слезы.

Поздно она уходила от Сабирджана. Когда вышла на улицу, уже было темно. Она шла быстро, спешила. Как не спешить? Столько дел. Нужно приготовить обед Сабирджану. И он, оказывается, любит плов. По дороге надо заглянуть к Сатуболди. Разве она сама сможет перенести свою постель? И потом сегодня такой хороший день. Нет жгучего утреннего ветра — душа радуется. Ох, и капризна же осенняя погода! Как бы не испортилась! Надо спешить.

1962

Гани Расулов
р. 1936

ВЕЗЕТ ЧЕЛОВЕКУ

Каждое утро Нормурад проходит этой дорогой — то подпевая журчащему арыку, то насвистывая в лад шелесту тала, легонько трепещущего под ветром. Это дорога к тракторному парку, и Нормурад — ладный, среднего роста, брюнет с усиками — весь день потом возится со своим старым трактором, пытаясь вернуть ему былую форму. Вот и сегодня он двинулся в путь ни свет ни заря, собираясь завершить ремонт своего «горючего коня», а по дороге рассвистелся беззаботно, выводя сложную соловьиную руладу — и вдруг оборвал на самой высокой ноте, словно струна лопнула. Показалось — кто-то его окликнул. Кто бы это? Он оглянулся. Никого вроде...

— Э-эй, свистун!

Он снова оглянулся. Так и есть: это председатель стоит подбоченись на крыльце правления и глядит на него.

— Вы меня, раис-ака?

— Тебя, кого ж еще! Небось идешь к своему старичку на свидание? Отложи на сегодня, понял?

— Отложить?

— Отложи, отложи! Я тебе новый трактор дам.

— Ну да! — говорит Нормурад и чувствует, как по его лицу разливается дурацкая блаженная улыбка.— Правда, раис-ака?

— Правда, правда. Только его из города привезти надо. И два прицепа еще захватить. Зайди в бухгалтерию, возьми документы. Ну, бегом.

Нормурад добирался до города будто на крыльях — хотя в действительности на крыле — на крыле попутной битком набитой полуторки — он проехал только кусочек дороги, а там его подвез газик, потом уже — автобус. Пока он предъявлял свои бумаги, оформляя все, что надо, ему никак не верилось, что сейчас он получит новый трактор. Он уже и за ворота завода его вывел, грохоча Двумя прицепами, а все не мог поверить. Отъехав от ворот, он остановился, поставил трактор у обочины мостовой, слез, чинно обошел вокруг машины, перечел

надпись на корпусе трактора— «Членам колхоза «Ок олтин»⁶ от шефов — рабочих тракторного завода» — и тут наконец радость его обуяла: заплясал он какой-то дикий танец, яростно хлопая себя по бокам, так, что проходившая мимо старушка шарахнулась в сторону, а мужчина, шедший следом, остановился и повертел пальцем у виска. При виде прохожих горожан Нормурад малость сконфузился, взобрался на трактор, но радость в нем по-прежнему клокотала. Он включил зажигание и тихонько вроде бы надавил на газ, а трактор вздрогнул и понесся прямо- таки как легковая машина. О таком он только мечтал, когда возился со своим старым тяжеловозом, копаясь в его натруженном брюхе. Господи, хорошо-то как! Дорога ровная, прямая, как стрела, и, кажется ему, люди со встречных машин смотрят на него с восторгом и завистью...

— Эй, парень! — донеслось до него сквозь ровный и могучий гул мотора, и поначалу он даже и не понял, к нему ли это относится, а если к нему, то, конечно, это просто дань восхищения его лихому полету — и только потом, когда его снова настойчиво окликнули, до него дошло, что зовут его: может, кто из кишлачных застрял в городе? Он остановил трактор, осмотрелся — на тротуаре стоял незнакомый человек и кричал:

— ...Так что будь другом, не откажи!

Он, видно, уже высказал свою просьбу, только Нормурад не услышал за ревом мотора.

— А чего надо-то? — закричал в ответ Нормурад и тут сообразил: выключил мотор.

Человек, должно быть обнадеженный приветливым выражением лица Нормурада, снова стал объяснять:

— Жена родила, понимаешь! А мне квартиру дали!

— Ну и что? — сказал Нормурад.

— Так привезти надо!

— Чего привезти?

— Вещи! И жену!

— А где...— начал Нормурад, но мимо как раз грузовики проходили, один за другим...—...где квартира-то?

— В роддоме! — кричал человек,— Недалеко!

Тут грузовики прошли наконец.

⁶ «Ок олтин» — «Белое золото».

— Ты что, доктор? — спросил Нормурад.

- Почему доктор? — человек удивился.— Грузчик я!

— А чего ж тебя в роддом поселили?

— Да не меня! Жену!

— А вещи куда везти? К жене?

— Зачем к жене? На квартиру!

— Ну тебя! — Нормурад немножко рассердился.— Бестолковый ты!.. Садись, показывай дорогу!

— Ой! — человек очень обрадовался.— Спасибо тебе, друг! Вот спасибо! — Он вскарабкался к Нормураду.— Полчаса, понимаешь, стою, всех останавливаю, никто не едет!

— Непонятно объясняешь, вот и не едет, — сказал Нормурад.— Куда поворачивать-то?,

— Вот сюда, направо!.. Ой, спасибо, век не забуду...

— «Спасибо, спасибо», а грузить-то куда будешь? — сказал Нормурад.— У меня не грузовик — трактор! На прицепы разве?

— Во-во, на прицепы! Вещей-то чуть...

Вещей, однако, оказалось порядочно. Пока грузили, пока ехали к новой квартире, сгружали и втаскивали на четвертый этаж — день неумолимо сокращался.

Отдуваясь, Нормурад сказал:

— Ну, все, друг! Не могу больше — сам не успею: мне ехать далеко... Жену как-нибудь доставишь!

— Жену-то доставлю! А угощение как же? — испугался парень.

— В другой раз угощение,—сказал Нормурад.— С меня, может, тоже причитается: я новый трактор получил, понял? Ну, счастливо тебе!

— И тебе, брат! Спасибо! Будешь в городе — адрес знаешь!

Перевозка вещей немножко отрезвила Нормурада, и, хотя в нем по-прежнему пело от радости, ехал он теперь осмотрительно и не торопясь. На очередном перекрестке погас красный свет, желтый зажегся — и Нормурад двинулся с места, успев подумать, что вот он и в городе отлично умеет соблюдать правила движения. И тут раздался свисток. Свистела девушка-милиционер, которую Нормурад сперва и не заметил на перекрестке. Он искренне удивился. Небось трактора нового давно не видала!

Девушка подошла, козырнула:

— Сержант Адылова. Нарушаете правила уличного движения!

— Девушка, красавица, как это я нарушаю? Я па желтый свет

пошел!..

Именно что на желтый. За желтым загорелся левый поворот — а вы куда поехали?

Девушка, да я ж кишлачный! У нас налево не ходят!

На лице сержанта Адыловой мелькнуло мгновенное подобие улыбки и исчезло.

— Шутите! — сказала она.—А если б авария?.. Трактор, да еще с прицепом!

- Красавица! — сказал Нормурад с чувством, — Разве я шучу? Чтоб у меня язык отсох, если я шучу! Чтоб я рулем подавился, если я шу...

Проезжайте! — разрешила сержант Адылова.— И впредь будьте внимательны!

Нормурад чуть и впрямь не подавился от восторга — радость и ощущение невероятного везенья охватили его с новой силой.

— Красавица! — заорал он на весь перекресток,— Вот спасибо! Век не забуду! Арбуз вместе съедим — во-от такой!!!

Он стал показывать, какой арбуз — и чуть не прозевал зеленый свет.

Где-то, почти на выезде из города, Нормурад увидел табачный киоск. Вообще-то он не курил — так, брал в рот сигарету побаловаться. А тут ему захотелось пофорсить: лихой водитель с сигаретой в зубах!.. Он остановил трактор возле самого киоска, слез.

— Сигареты есть, папаша?

«Папаша», средних лет продавец, в седоватой изморози недельной щетины, сказал скрипуче:

— Какие надо?

— «БТ»

— Нету, бери «Приму».

- Таких не держим, папаша! — сказал Нормурад лихо и безо всякого сожаления. Ему-то было все равно, что «БТ», что «При ма», но уж форсить так форсить. Он влез на трактор и включил газ. Сзади послышался зловещий треск, за ним грохот. Нормурад рванул ручку назад и оглянулся. Он забыл о своих прицепах, передний задел киоск — и тот рухнул!.. Нормурад даже замер

от ужаса, вообразив окровавленный труп киоскера. В мгновение ока собралась толпа. Нормурад стал слезать с трактора с таким ощущением, словно всходил на виселицу. И тут из поверженного

киоска выбрался киоскер — живой и вроде еще более небритый, чем был минуту назад. Он огляделся и завелся с пол-оборота — начал орать на Нормурада:

— Хулиган! Бандит! За все ответишь!

Нормурад с чувством обреченности кинулся поднимать киоск, мужчины из толпы тоже навалились. Киоск уже почти поставили на место, как дверца вдруг распахнулась и оттуда посыпался товар: «Прима», «Беломор», спички — и, наконец, блоки «БТ». Добрую половину толпы составляли, видимо, курильщики, только что побывавшие у киоска — при виде огромного количества «БТ» толпа так и ахнула.

— Ах ты, хрыч! — крикнул кто-то, и тут такой гомон поднялся!.. Под этот гомон и громкое отбrehивание киоскера Нормурад тихонько влез на трактор — поехал прочь.

Теперь он вел свою машину, не отрывая глаз от дороги. Дорога на кишлак сворачивала с основной магистрали, но вскоре пересекалась с железнодорожным полотном. Едва Нормурад подъехал к переезду, шлагбаум начал опускаться — и опустился прямо над трактором! Надо же — какие-то сантиметры спасли, а то бы и трахнуло трактор по морде! Нормурад решил чуть подать назад, снял ногу с тормоза...

За трактором стояла арба. Когда Нормурад подал назад, лошади с испуга попятнулись, и арба долбанула по капоту новенькие «Жигули». Владелец «Жигулей» пулей вылетел из машины и кинулся к арбакешу, тот, сам еще ничего толком не сообразив, ввязался в скандал. Колхозник, стоявший сбоку у самого шлагбаума, сказал: «Видал, как городской нахал наших кишлачных поливает?!» — привязал козленка к шлагбауму» и подался на помощь к арбакешу. Там уже образовалось завихрение, в центре которого, громко ругаясь и вращая руками, как пропеллерами, стояли арбакеш и владелец «Жигулей», а вокруг клубилась толпа людей с подъехавших сзади машин и подвод. Между тем поезд прошел, и шлагбаум стал подниматься. Привязанный к нему козленок сначала недоуменно повертел головой, а оказавшись в воздухе, отчаянно заблеял и затрепыхался. Взбудораженная толпа заметила это не сразу, и, когда хозяин козленка услышал своего Йодопечного, тот находился уже на большой высоте и при Последнем издыхании...

Окончания инцидента Нормурад опять-таки ждать не стал. Вскоре после переезда он свернул на узкий проселок, который тянулся уже

меж просторными полями колхоза «Ок олтин». Долина простиралась до самых предгорий, и на яркой зелени хлопковых карт белела невдалеке коробочка колхозной фермы. Коробочка эта так и влекла к себе Нормурада: там работает Лола — и если уж кому первому и хотел Нормурад показаться на своем новеньком тракторе, так именно Лоле. Он повернул к ферме.

Коробочка быстро растет перед глазами Нормурада, из нее появляется девичья фигура — и это... конечно, Лола! Господи, до чего ж ему все-таки сегодня везет!

— Салам алейкум! — кричит Нормурад.

— Алейкум ассалам! — кричит в ответ Лола.— Это что, вас с новым трактором можно поздравить?

— Можно! — отвечает Нормурад и выключает газ.

— Значит, поедем?

— Куда? — говорит Нормурад и чувствует, что сзади вырастают крылья,— не то у него, не то у трактора.

— Как куда? — говорит Лола.— Известно — за сеном! Коровы без корма остались!

Нет, выпадают же такие счастливые дни человеку! Едет Нормурад на новеньком тракторе, а рядом сидит Лола! Нормурад искоса взглядывает на нее — она сидит себе, чуть улыбается, словно так и надо! И Нормурад смотрит вперед, и там, впереди, ему видится уже не колхозный простор, а праздничная толна, да и сам он сидит уже не на своем тракторе, а в черной «Волге», украшенной пестрыми лентами и нарядной куклой, и облегает Нормурада новенький костюм, на голове кокандская тюбетейка, а рядом... рядом Лола, сияющая, в подвенечном платье, с фатой! И Нормурад все больше и больше прищуривает глаза, чтоб удержать счастливое виденье — и вдруг слышит голос Лолы:

— Эй, куда вас несет! Нам же налево!!!

Фу-ты! Ну и денек! Нормурад резко тормозит, еще не успев прийти в себя, и видит, что трактор стоит на самом краю дороги, над арыком.

— Разве нам налево? — виновато бормочет Нормурад.— Весь день сегодня налево ежду...

— Ишь,— говорит Лола с чуть ревнивым укором в голосе,— день в городе пробыли, а уже дорогу забыли !

И от Лолиных слов, а еще больше от скрытого в их интонации смысла все в Нормураде снова воспаряет, он резко подает трактор назад, выруливает на нужную тропинку, спрыгивает на люцерновое

поле, хватает вилы и чувствует себя Фархадом, готовым раздробить скалу. Кажется, и трех минут еще не прошло, а оба прицепа уже завалены травой, и Нормурад слышит слова Лолы:

— Ой, спасибо, Нормурад-ака! Ой, спасибо, корму на два дня хватит.— И голос у нее нежный, воркующий, как у горлинки под крышей...

На трактор и на самого Нормурада смотреть страшно: оба они в пыли, в грязи. По дороге на центральную усадьбу Нормурад тормозит у стремительного сая, что бежал некоторое время рядом с дорогой, въезжает в него — и долго плещется в студеной воде. Трактор выезжает из сая, словно заново рожденный, сверкая свежей краской, да и сам Нормурад будто родился заново. Кишлак уже рядом, усталое солнце висит над крышами, присаживается на них отдохнуть, но, видно, сегодня уж не встанет больше — так и есть, проваливается куда-то за горизонт,— только обугленные крыши чернеют на фоне пламенного неба. Это уже центральная усадьба, вот и правление, а у крыльца стоит раис — так и стоит, руки в боки, словно не шелохнулся с утра, когда говорил с Нормурадом. Прямо как памятник! Нормурад слезает с трактора, подходит к раису и говорит, стараясь выглядеть как можно непринужденней:

— Все, раис-ака! Доставил в целости!

— Доставил? — негромко говорит раис.— Ну, молодец! Ну, спасибо тебе! — Он издевательски кланяется Нормураду в пояс, выпрямляется и вдруг кричит: — Доставил, значит? День ехал?.. Да за такую доставку! Тебя только за смертью посылать, понял? Я уж за тобой милиционера было послал — думал, что случилось. Иди — чтоб мои глаза тебя не видели. Не видать тебе нового трактора!

Нормурад молчит, потом понуро поворачивается и машинально идет по той самой дороге, по которой шел утром. И мысли у него какие-то отчаянно тягучие, безнадежные. Вот и кончился день, думает он. И вдруг слышит позади громкое ворчание раиса.

— Ишь,— говорит раис.— Доставил он, а? Видали?.. Вернулся бы раньше — хоть на ферме помог!.. Доставил... На заводе-то в порядке было, а?

Вся усталость разом сваливается с Нормурада. Нет, все-таки на редкость везет ему сегодня!

— В порядке! — кричит он звонко.— Полный порядок, раис-ака!

— То-то,— ворчит раис.— Давай, отведи свой трактор...

— Есть! — кричит Нормурад, и бежит назад к трактору, а губы у него складываются трубочкой, и рвется из них та же самая соловьиная мелодия, что и утром.

Везет человеку!

1980

Уктам Усманов
р. 1938

ВЫЗОВ В РАЙОН

Когда до годового отчета оставалось три дня, председателя колхоза «Галаба» Махмуда Бекмирзаева вызвали в райком. Узнав об этом, председатель, только что вернувшийся со степных пастбищ, встревожился. Три дня до отчета — и на тебе! Еще если б одного вызвали — так нет, и парторга... и всех двенадцать бригадиров... Может, новый секретарь начинает реформу?..

Перечитав телефонограмму, Бекмирзаев обеспокоился почему-то еще больше. Зима в этом году нагрянула рано, в начале ноября, в кабинете председателя каждый день топили большую черную голландку. То ли от жары в натопленном помещении, то ли от дурных предчувствий — Бекмирзаева бросило в пот, он сорвал с шеи шарф, стянул полушубок с белым меховым воротником и кинул на стул в углу. Секретарша принесла чай и доложила привычной скороговоркой:

— Всех вызванных предупредили, раис-ака, бюро, оказывается, завтра в одиннадцать, так что все соберутся здесь в девять... — Оттараторив, она помедлила — не даст ли председатель какого поручения, — но Бекмирзаев, кивнув, промолчал, и она тихонько вышла.

Бекмирзаеву хотелось не чаю, а холодной воды, но он боялся растревожить застарелую простуду; налил полную пиалу зеленого чая и поставил на подоконник, прямо против щели, откуда сквозило. Интересно все-таки, думал он, что бы это значило. Новый секретарь райкома Хайдар Халиков дважды на прошлой неделе приезжал сюда, в колхоз. Побывал во всех бригадах и мирно уехал. Не упрекнул и за два процента невыполнения!.. Нет, ободрил даже: ничего, дескать, не расстраивайтесь, что делать, погода нынче вон какая... А теперь — на бюро! И всех!

Еще и активистов пригласили!.. Слыханное ли дело. Что за разговор нас ждет?..

И Бекмирзаев устался в пол, как будто на старых половицах можно было прочесть ответ на все вопросы. Сколько лет уже он топчет эти половицы? Шестьдесят первый год ходит по земле, и больше сорока — в колхозных активистах. Был когда-то парнем, что мог и горы свернуть, но за полгода до войны, пася овец в степи, заблудился во

время урагана, застудил легкие, слег надолго... а когда поднялся, сила прежняя так и не вернулась. Болезнь осталась навсегда, и до сих пор нет-нет а и напомнит о себе, стоит о ней забыть. Подлечишься — и живешь дальше, жаловаться грех. Касымов, прежний секретарь райкома, знал про это и не забывал, пусть не каждый год, выделить ему путевку в Крым...

Бекмирзаев взял с подоконника остывший чай и стал пить. Хорошо... Будто огонь в груди тушишь. Но и то спасибо, что горит огонек-то: восемнадцать лет он уже председателем в этом колхозе, и сколько сил истрачено, сколько дел переделано... кто сосчитает! Вообще-то он не из тех стареющих руководителей, что любят приговаривать: «Вот мы... в наше время...» — и попрекать молодых молодостью. Не признавал он таких людей раньше, не признает и теперь, состарившись сам. Течет вода; та же речка, да берега другие; все меняется, и надо видеть то, что есть, а не то, что было, хоть и не просто это: ушедшая жизнь — она и твоя жизнь, ее зачеркнуть — себя вычеркнуть, а человек только человек, поневоле все собой мерит... Но Бекмирзаеву казалось, он умел стать выше этого, слушать и то, что говорят другие, видеть новое за старым, да и в старом — выделить то, что не стареет. Все-таки надо прожить неплохую жизнь, чтобы понять: наше сегодня — продолжение нашего вчера, итог и побед, и ошибок. Вряд ли кто в кишлаке понимает это лучше него...

Все так, и все-таки тревожно. Но чего он разволновался? Сколько уж было этих вызовов в райком, и ведь ниже земли не упадешь; все равно, а сердцу не прикажешь. Стар, видно, становишься. Сам не сознаешь, что это попросту тревожит приближающийся конец и работы, и жизни...

Отхлебывая чай, он посмотрел в окно. За окном уже стемнело, но густые сумерки подсвечивал снег, толстым одеялом покрывший землю. В свете электрической лампочки над входом в правление еще сиротливо мелькали редкие приземлявшиеся снежинки, и что-то в этом тоже было очень грустное. Из соседней комнаты доносился голос шофера Ахмаджана: он рассказывал секретарше о своей дочке. Пора домой, сказал себе Бекмирзаев. «И ему перед завтрашней поездкой надо отдохнуть», — подумал он

о шофере, оделся и вышел. Ахмад с шумом пил чай у печи, но, увидев «хозяина», тотчас поднялся. «И вам домой пора, — сказал Бекмирзаев секретарше, — в случае чего — сторож есть...»

* * *

Дом председателя находился не там, где колхозникам выделяли новые участки для застройки, а на старом гузаре, туда нужно было добираться по узкой дороге, крутившейся меж яблоневых садов. Бекмирзаев, уткнувшись в ворот полушубка, глядел из машины в унылые садовые пространства, не засыпанные снегом деревья, оставшиеся позади, как брошенные всеми сироты. Но когда подъехали к дому, их встретила радостная толпа, высыпавшая из ворот дома на шум машины. Оказалось, это прибыл в гости сын со своим семейством. У Бекмирзаева разом поднялось настроение. Ну, хоть с сыном побеседую толком, без спешки, сказал он себе с удовольствием. Сын, Зафар, жил в городе уже больше десяти лет — там, в Ташкенте, и женился. Два года назад защитил кандидатскую в институте химии, где работал — Зафар занимался минеральными удобрениями.

Бекмирзаев обнял сына, нежно поздоровался с невесткой, ухватил и подкинул набежавшего на него пятилетнего внука Бахрама, расцеловал в пухленькие щеки. В доме было тепло, уютно, прочно, радостно — и давешнее тревожное настроение улетучилось. После ужина смотрели телевизор, потом там же, в мехмонхоне, постелили отцу и сыну, а женщины и детвора устроились во внутренних комнатах.

— Ну, Зафарджан,— неторопливо сказал Бекмирзаев, когда они улеглись,— как дела, сынок?

— Нормально,— сказал Зафарджан как бы нехотя и замолчал. Бекмирзаев тоже молчал, ждал: по тону чувствовал — что-то Зафарджан собирается ему сказать. Чуть погодя сын повернулся к отцу:

— Вообще-то... дела мои и вправду нормальные. Но я...— он опять замялся,— я об одной вещи посоветоваться приехал...

— Ну?..

— Понимаете, отец... хочу в другой институт перейти.

— В другой институт?.. В какой? И почему?

— В пединститут...

Зафарджан снова замолк. Бекмирзаев ждал.

— Понимаете,— сказал сын,— время идет — и у нас все по-старому. Ничего не меняется... Вот у вас... Поработали год хорошо — вас заметили, отличили как-то, и дальше уже легче. А у нас?.. Попробуй-ка наших стариков хоть на сантиметр с места сдвинуть!.. Конечно, у них и звания, и награды; хоть слово поперек скажи — потеряешь все, что

имел... Не-ет, у нас молодым дороги нету.

Бекмирзаеву эта речь сильно не понравилась. Он понял: сын чем-то всерьез обижен, оттого, наверно, поневоле сгущает краски. И все-таки сильно не понравились Бекмирзаеву его слова.

— Ну, сынок... что там у вас ни есть, а об учителях так грешно говорить. Грешно. Ты сам — разве родился ученым? Или с неба тебе твоя ученость свалилась?.. Мне сказал об этом — и хватит, забудь. Перед другими для такой речи и рта не раскрой, самому потом стыдно будет.

— Да нет, отец! — сказал Зафар,—Неправильно вы меня поняли. Никто у них заслуг не отнимает, и с должностей их никто не просит уйти... Они свое сделали, правильно. И нас учили — спасибо им. Шли бы они вперед — и мы следом... Но ведь нет — сделали когда-то свое — и остановились, как завал посреди реки. Но река-то — течь должна... Наука должна двигаться! А двигает науку кто? Молодежь! Ясно же! Все великие ученые — да и наши старики — свое главное сделали к тридцати годам!

— Ну, и что ты хочешь сказать...— у Бекмирзаева как-то странно сдавило горло, он едва не поперхнулся,— ...сделал свое главное — и в сторонку?.. Дай место другим?.. А ты уже больше и не нужен — ни твои знания, ни опыт твой...

— Да ну нет же, отец! — сказал Зафарджан укоризненно.— Ничего я такого не хотел сказать... Но все-таки: жизнь есть жизнь. Кто бы ты ни был — настанет когда-то день, и придется уступить свое место... Разве не так?

Бекмирзаев помолчал. Но сердце болезненно сжалось.

Нет, значит, все-таки не понимал он ничего в этой жизни. Воображал, что он выше этого: молодость, старость... для разумного человека здесь нет разницы... Ан есть? Есть где-то водораздел, только не замечаешь, когда ты его перешел и — оказался за гранью... Ну, почему так задели его слова сына? Не потому ли, что сын и был для него живым мостом в юность?..

— Так, так... сынок,— сказал он сдавленно, и в звуке его голоса прозвучало удушенное не то рычанье, не то рыданье. Сын, лежавший на спине и говоривший, глядя в потолок, удивленно обернулся к отцу. Что-то, видно, сказал не то... Господи, уж не принял ли отец на свой счет?!. Он сказал осторожно:

— Отец, вы говорили, завтра в район едете. Что, собрание какое-

нибудь?

— Да-а,— сказал Бекмирзаев спокойно.— Вызывают в райком. Дело, видно, какое-то... перед отчетом.— Он снова замолк, и Зафарджан тоже уважительно и выжидающе молчал.

Вот, думал Бекмирзаев, хотел поговорить с сыном. Что ж, поговорили. Все теперь ясно. Не о чем больше и толковать.

— Наверно, ты прав, сынок,— сказал он медленно.— Не стоит лежать завалом на дороге... Ну что, спать пора.

— Спокойной ночи, отец!

— Спокойной ночи...

Правильно, жизнь не щадит старых, думал Бекмирзаев, лежа без сна в темноте. Недаром его взволновал этот вызов в райком: наверняка предложат уходить. Может, и впрямь время. Но, кажется, теперь это его не так уж и огорчает. А главное, больше незачем будет бояться накачки, выговоров... того, что могут снять с должности!.. Время теперь сытное, на жизнь им со старухой хватит его персональной пенсии, дети, слава богу, нашли свое место. И сад у него неплохой, есть куда руки приложить. Пора, пора, скорей бы только все это произошло, осталось позади. А он, глупец, иной раз даже гордился, что оказался старейшим среди председателей колхозов в районе. Хотя — немножко стыдно бывало стоя отвечать на вопросы начальства... Ну, ладно, он эту должность не запрашивал, он за нее и цепляться не будет. Невелико счастье, если подумать... одни заботы да головная боль. Уйти, уйти самому. Только вот... что ему останется? Ведь его мысли, его надежды и планы, его мечты и устремления — все связано с председательской работой. Дом налажен, у детей тоже вроде все всегда шло само собой — школа, институты, женитьба, работа... а его жизнь была в колхозе. Ему казалось, и до того, как стал он председателем, существование его было направлено к этому, это само собой разумелось в его будущем. Будущем!.. Эх... Но ведь все эти годы он чувствовал себя на месте! Знал, что его почтительно встречают не из одного уважения к должности — он и должность были одно! Как же теперь? Разорвать пополам? Да вся кровь из него вытечет... Будет он, как мертвый ствол, срубленный под корень: полежит до поры на виду, а там...

Бекмирзаев поневоле стал вспоминать людей, при которых работал... которые уже ушли... Иные — давно. Был еще до войны секретарь райкома Туяков; это он угадал в молодом пастухе, встреченном в степи, руководителя. Запомнил — и потом

порекомендовал выдвинуть. Огромный мужик, крепкий, как карагач. Резкий, грубый. Бывало, выдаст по первое число, выругает почем зря, потом снизит тон, подымет кверху огромный, изуродованный чем-то указательный палец и прибавит наставительно: «Горькое слово полезно... как перец... от горького слова вся машина внутри быстрее вертится...» В молодые годы Бекмирзаев старался ему подражать. Он ушел на фронт — и не вернулся. Сменил его в годы войны Буран Байсунов, пожилой агроном, много лет проработавший в районе, человек, напротив, мягкий до чрезвычайности, пожалуй, и голоса-то никогда не повышавший. Даже в грозные военные годы умудрился он никого не «гнуть», не «искоренять»... а план, однако, выполнялся. Или это сама война умела всех заставить работать с полной выкладкой?.. По правде говоря, тогда Байсунов не очень нравился Бекмирзаеву, не таким, казалось ему, должен быть руководитель района. Его раздражала эта мягкость, негромкая медлительная манера говорить, привычка то и дело протирать потрескавшиеся очки. Теперь он вспоминался почти с нежностью, с каким-то сыновним чувством. Жив ли?.. Нет, конечно. Уже и тогда он был очень немолод. А хорошо бы его теперь встретить... старика... Его в конце концов сняли за что-то. За что, Бекмирзаев уже не помнил — дела вроде в районе шли хорошо. Может, просто время подошло?.. Возраст?..

А сменил его Алимардан Исмаилов, которого забыть и вовсе трудно. При нем ход дел в районе напоминал натянутую нить, которая вот-вот лопнет от перенапряжения. «Не выполнишь, я с тобой такое сделаю!»—это бывали его обычные заключительные слова. И делал. Бекмирзаев сам со стыдом вспоминал, как вернулся однажды в колхоз после очередной исмаиловской накачки и, на взводе, устроил в кишлаке дикую гонку: добрую неделю заставлял людей почти без отдыха убирать овощи, все разом и до конца, потом, конечно, не смог сдать на консервный завод и трети собранного, остальное чуть не все пропало... Да, едва не сняли его тогда! И поделом было бы. И урожаем сгубил, и людей загнал, а уборку нужно было растянуть на месяц... Вот она, школа Исмаилова; много дров он наломал, хоть и продержался сравнительно недолго.

Зато после него пришел Рахим Касымов. Вот был человек!.. Бекмирзаев думал о нем, как о старшем брате, и не потому только, что их связывали особо добрые отношения; нет, Касымов почти к каждому, старался относиться так, словно видел в нем незаменимую ценность

для района... и люди, как правило, отвечали добровольным напряжением всех сил. Спросить-то он умел с человека, хоть и не криком, нет! Но и позаботиться о человеке умел... Бекмирзаев этой его заботе, может, и обязан тем, что до сих пор ходит по земле. Зато себя Касымов не сберег... И тебе, Бекмирзаев, пожалуй, уже недолго...

Ну, что это я, сказал он себе, и впрямь точно на поминках. Он посмотрел на сына и вздохнул; в слабом свете окна, падавшем на кровать, лицо Зафара было едва различимо. Чего ради, все-таки внеочередное бюро райкома?.. По пустякам не вызвали бы столько народу. Конечно, поговорить кое о чем ой как надо. Ведь и в прошлом году план не выполнили, и нынче вот — внезапные холода; кое-где необрунные овощи сгнили в одну ночь... Прошлый год с водой было очень плохо. И где уж тут быть хорошему, когда рассчитываешь главным образом на предгорные источники! В разгаре лета эту воду по каплям считаешь...

И еще одна мысль давно точила Бекмирзаева. Чуть не каждый вечер по телевизору показывают передовые хозяйства. В каждой области есть кишлаки, которые не уступят иному городу. Не клубы — дворцы; чайханы — что твой ресторан; больницы — куда нашей районной!

Л дома? Отличнейшие дома, есть и многоэтажные, хотя правду сказать, Бекмирзаеву они не по душе; а детские сады — загляденье! И природный газ, и цветные телевизоры... Сравнишь с ними свой кишлак — не по себе стардится. А ведь люди здесь наверняка работают не меньше... От зари до зари. И ночь прихватят, если надо. Ну, не та земля... воды мало... многое... Но кое-что построить и у него средств бы хватило! Сколько раз обращался он в район — нет, говорят, у вашего кишлака перспективы, нету, все равно переедете... И весь разговор. Выше обратиться — хоть и подумывал иной раз — что-то мешало. Не страх — неловкость. Вообще-то его кишлак и впрямь не на лучшем месте расположен — у самых гор, воды не хватает, и поля холмистые, трава на пастбищах кончается быстро, колхозный скот приходится перегонять чуть не за сто километров, в Майдантал. Но ведь жили, и живем, и должен тут, наверно, кто-то жить, а раз так... решать что-то надо. Отмахнуться от слов легче всего, только от проблемы не отмахнешься, берет за горло.

Иной раз, в дурную минуту, Бекмирзаев думал: ты сам больше всех виноват, в тебе все дело. Не впервой ему такие мысли в голову

приходят — сказать в районе, отпустите, мол, на пенсию, толку от меня чуть, вон сколько у вас молодых да грамотных... Правда, обычно настроение это потом отступало, уходило под напором неотложных каждодневных забот. Да и то — уйдешь, допустим, устроишься, ведь это значит признать: все твои годы были зря. Народ так и подумает: попусту, мол, нами командовал, всех обманул... Л кое-что он все же сделал. Сделал, это уж от него не отнимешь. И может еще сделать: и опыт есть, и планы, и силы. Невелик кишлак, а людей в нем немало, и Бекмирзаев уже привык думать о людях — за людей...

* * *

Сидя в машине, председатель исподволь оглядывал односельчан. Крепкий народ — и все чем-то похожи, как солдаты в строю. Но какие они разные за этой похожестью, он, может, лучше всех знает... Он смотрел на них почти с таким же чувством, с каким ночью глядел на спящего сына, что-то в этом чувстве было и немного грустное — и радостное, успокаивающее. Успокаивающее, наверное, потому, что несло в себе ощущение взаимности. И они, он был уверен сейчас, относились к нему с долей сыновнего почтения...

Бекмирзаев разговаривал о чем-то обыденном с нар- торгом Фатхиддином Хуснитдиновым, а сам думал: ну, что ответить, если вдруг спросят, кого предлагаешь на свое место? Вот хоть парторг — образованный, работающий парень... но опыта работы с людьми еще мало, не всегда он тут на высоте. Недавно кончил институт, два года работал в колхозе экономистом — хорошо работал. Бекмирзаев сам предложил его на пост секретаря парторганизации и не раскаивается: научится парень, видно, что научится! Только время еще нужно...

Время! А если нет его, этого времени?.. Ему самому было двадцать три, когда Туяков доверил ему колхоз — дальний, маленький, а все же целый колхоз. И не было у него за спиной института, науки, даже грамотности серьезной. Никто его не учил, как делать дело, как вести себя с людьми... жизнь учила, и он не ленился брать у нее уроки. Сам себя человеком сделал. И людям — разве не принес он пользы? При всех своих ошибках?..

Все-то мысли на себя перескакивают. Кого же все-таки предложить? Путабека?.. Начальник четвертой садоводческой бригады — мужик крепкий, и всю жизнь в поле проводит... Но грубоват. А может,

зря я выискиваю в них недостатки?..

Бекмирзаев нащупал в кармане заявление и снова посмотрел в окно машины. Вчерашний снег лежал на полях плотным белым покрывалом, и краев его не видно было.

* * *

В райком прибыли в половине одиннадцатого. В приемной первого напротив девушки-секретаря уже сидело несколько человек. Секретарша, улыбаясь, поднялась навстречу Бекмирзаеву. «Сейчас», — сказала она, пошла в кабинет Халикова, полминуты спустя вышла и пригласила Бекмирзаева. В кабинете Халиков встретил его крепким рукопожатием. «Как здоровье, Махмуд-ака?» — спросил он, в голосе его чувствовалось искреннее тепло. Бекмирзаев с шумом глотнул, сказал: «Спасибо, в порядке...» Это предисловие, думал он; погладит, погладит — да и разделается, как повар с картошкой...

— Другие товарищи немного подождут, — сказал Халиков, — давайте сперва мы с вами поговорим... Я тут человек новый, с районом еще мало знаком, а вы — старейший раис, немало своего труда вложили, опыт у вас богатый, все тут знаете... Я покамест лишь несколько колхозов осмотрел, и ваш тоже. Слабоват, Махмуд-ака, прямо скажу! — Он обезоруживающе улыбнулся при этих словах и добавил: — Извините меня, я в Сырдарье работал, там колхозы другие, богатые колхозы, и жизнь у колхозников иная...

— Там хлопок растят, — угрюмо сказал Бекмирзаев. — А у нас — скот, зерно, овощи...

Халиков посмотрел на него пристально:

— Ну, и?..

— Что скрывать — затрат трудовых на овощи много, дохода мало. — Бекмирзаев потрогал рукой карман, где лежало заявление об уходе. — Вот и живем победней, чем сырдарьинцы...

Халиков выдержал паузу.

— Я думаю, Махмуд-ака, вы немножко ошибаетесь... насчет хлопка. Хлопок требует труда не меньшего, поверьте... Вот если б вы сказали: хлопководство механизировано куда больше — тут я с вами на все сто бы согласился... Будем думать. Но вот скажите — положите руку на сердце — все ли резервы свои вы используете? Внутренние резервы?.. Как я понял, главная ваша беда — нехватка воды. А что сделано, чтоб помочь

в этой беде? Нельзя ли воду из Чирчика поднять?

— Как? — так же угрюмо сказал Бекмирзаев.

— Ну, способы-то есть и совсем простые! Разве из неделимого фонда колхоза нельзя выделить нужную сумму на один-два насоса? Потом — если о людских резервах говорить... В кишлаке у вас около пятисот дворов, а в бригадах работает по три-четыре человека!

Бекмирзаев молчал. Возразить трудно. Можно, конечно, но слишком долгий это разговор, и к чему он еще приведет!..

— Я думаю,— говорил Халиков,— ничего нет странного, что второй год не выполняете план. Погода, конечно... понимаю. Но, Махмуд-ака, погода ведь не мать родная, вечно надеяться на ее милости нельзя... Надо и свою гарантию иметь!

То ли оттого, что Халиков смотрел с тем же искренним дружелюбием, а в голосе его не слышалось никакой начальственной напористости — просто по-товарищески рассуждает человек! — тот смутный сплав заранее выпестованной обиды, приготовленного внутреннего отпора всем возможным несправедливым и справедливым упрекам, невольного раздражения, что этот молодой статный парень вправе укорять и учить его, старого человека, чья жизнь прошла в этом районе, где и домов-то сколько им построено, п деревьев выращено, и людей поднято, воспитано — весь этот тяжело ворочавшийся в груди ком стал таять, плавиться, как масло на теплой сковороде.

— Разговор у нас, конечно, не из легких,— говорил между тем Халиков,— но все важные и добрые дела с легкого не начинаются. И я хотел поговорить сперва с вами наедине, чтоб те же слова на людях вы не поняли... ну, как бы это сказать... неправильно. Я хочу, чтоб сегодняшнее бюро было совещанием: именно посоветоваться надо, да-да! Послушать, что скажут товарищи. Я, знаете ли, уверен: у каждого, кто делает настоящее дело, обязательно есть и важные мысли по поводу этого дела. Вот и хотелось бы узнать, какие у товарищей мысли!.. А у вас к тому же — через три дня отчетное собрание! Так что все, о чем договоримся сегодня, передайте своим колхозникам! — он снова выдержал паузу и добавил, стараясь, видно, чтоб голос его звучал как можно мягче: — Махмуд-ака, я считаю, в первую очередь надо обсуждать самые больные вопросы... те, что сами в двери райкома стучатся. Надо разобраться в делах отстающих хозяйств. Глубоко разобраться, настоящие причины выявить. Мы ведь партийцы, так что не будем бояться правды...

* * *

В густых вечерних сумерках две машины выезжают из района и направляются в сторону колхоза «Галаба». В первой — Бекмирзаев, парторг Хуснитдинов, три бригадира. Бюро райкома недавно кончилось, все устали, молчат, но, по глазам видно, еще перебирают в памяти это необычное заседание, сперва с неловкими, а потом все более горячими речами, да и спорами. Бекмирзаев тоже тасует в памяти сегодняшний день, потом припоминает вчерашний вечер и свою бессонную ночью даже ежится от стыдливого чувства. Надо же, ночь не спал, все думал — о чем? О себе, об одном себе! Готовился, старый дурак, будущую обиду пережить! Видно, и впрямь поднакопилось в тебе хлама, раис. Хорошо, повымели его сегодня... Хоть, правду сказать, ему лично ни одного упрека не адресовали! Молодец этот Халиков. Умница, и человек деликатный. Редкость среди молодых. А может, ты малость подзабыл, какие они, молодые?.. Нет, пожалуй, дела в районе теперь переменятся. И у нас в кишлаке — тоже. На»собрании поставлю вопрос ребром, все откровенно людям скажу. Райком, скажу, поможет, но жизнь наша благополучная, богатая наша жизнь — от нас самих зависит!..

Бекмирзаев поймал себя вдруг на том, что эти заезженные, тысячу раз говоренные слова зазвучали для него самого как новые, наполнились свежим, важным смыслом. И говорит он их мысленно прежде всего самому себе!.. Он всматривался во мглу, двигавшуюся с гор, а когда увидел сияющее скопление огней в ущелье, внутри разлилась бодрящая теплота. Ну, раис, сказал он себе, жизнь продолжается... А стало быть, ты в ответе за каждый из этих домов, где горит свет.

1972

Тимур Пулатов
р. 1939

ПОСЛЕДНИЙ СОБЕСЕДНИК

Дни его клонились... Монгольские кони уже вынюхивали неостывшие следы, храпели и взбадривались от запаха виляющего, загнанного скакуна. Отпадали, теряясь в пустыне, отряды. Одни уходили ночью, не предупредив, другие, открыто бросив ему в лицо обвинение в коварстве, себялюбии. Те области, которым уже грозили монголы, на мольбу Джалалиддина объединиться обещали помощь, но, едва он отворачивался, тут же предавали его.

В его разноплеменном войске — карлуки и гурцы, курды и туркмены — все перессорилось, ибо воевали теперь не за то, чтобы освободить свои земли — от Турана до Ирака и от Джейхуна до Евфрата. Часто видел он, как после удачной стычки с преследующими их монголами ссорились его эмиры за меч с позолотой, и он в отчаянии кусал себе кончики усов, не в силах разнять их — прими он сторону туркмен, лагерь гурцев наутро оказался бы опустевшим, с уже потухшими кострами, начни стыдить и наказывать обе стороны, лишишься сразу двух отрядов...

Он не чувствовал в себе прежней воли, все вокруг расплзлось. Он терял трезвость и цель. Одиннадцать долгих лет сопротивлялся он монголам — дольше, чем любой правитель на их пути, — и отвагу его не мог не отметить и сам враг — Чингис-хан, но сейчас он уже ничего не мог сообразить, неуверенность мешала ему всмотреться в даль. Не терпящий возражений, любящий все делать, как задумал сам, теперь он с беспокойством всматривался в лица тех немногих эмиров, которые еще были верны ему, и делал так, как они подсказывали. И его использовали хитроумно, одни, чтобы лично обогатиться, другие, чтобы свести счеты с обидчиками...

Еще утром он решил ехать в Исфахан, где возле прохладных вод горных речек отдохнут его воины, измотанные жарой. А сам он, выйдя хотя бы на миг из бешеного ритма бегства и преследования, соберется с мыслями в одиночестве, оглянется вокруг, чтобы всмотреться пронизательно в тех, кто остался рядом, и постараться угадать, чего от них еще можно ждать и на что надеяться.

Исфахан привлекал его с детства. Он всегда верил, что в этом

городе его ждет если не удача, то хотя бы успокоение. Монголы не сразу найдут к нему дорогу из-за горной гряды на пути.

Так он ехал... Мимо горы Бисутун, через перевал, откуда вытекает речка Хульвар.

Но уже в полдень владетель Амида Масуд убедил его повернуть коней и идти на аль-Рум. Вкрадчив был Масуд, красноречив. Мол, не время султану отчаиваться, великое дело, начертанное ему судьбой, еще впереди. Надо укрепиться в какой-нибудь неприступной местности, чтобы снова собрать верных людей. И таким местом станет ослабевшая от наводнений и засухи малоазиатская область аль-Рум, которую можно занять без особого труда. И как только мусульманские эмиры увидят его на троне, сразу соберутся под его знамена. Первыми прискачут с заверением своей покорности кипчаки... Сам же Масуд уже сегодня готов прийти к Джалалиддину с четырьмя тысячами всадников и служить султану до победного дня.

Так говорил Масуд. И Джалалиддин знал, куда плут клонит. Знал, что Масуд меньше всего думает сейчас о монголах, озабочен лишь тем, как бы натравить султана на своего обидчика, который в прошлом году напал на крепость Масуда и увел одну из его жен.

В других обстоятельствах Джалалиддин вспылит бы и, не слезая с лошади, пнул бы ногой Масуда в живот, но сейчас не почувствовал во рту вкуса горечи и обиды, а просто и быстро согласился. Мелькнула лишь слабая мысль: «А может, так надо? Разумно?» — и глянул на Масуда с какой-то затаенной мольбой, с невысказанным вопросом: «Я вот проглотил твой обман... Ну а дальше? Будет ли это пределом игры, которую ты затеял? Не сделаешь ли следующий шаг к предательству?» Так он с каждым — жаждал опереться, искал помощи, но и не доверял полностью, метался между верой и неверием, пока окончательно не измотался душой. Но даже сейчас, в свои двадцать восемь лет, Джалалиддин не полностью избавился от той впечатлительности, ранимости, которая была равно обременительна как для правителя, так и для полководца.

Ночью они подъехали к Амиду, но в город въезжать не стали, расположились лагерем по эту сторону реки, недалеко от моста, чтобы быстро переправиться, если появятся вдруг монголы. Никто не верил, что монгольские кони, непривычные к горным тропам, достигнут их здесь, но Масуд на всякий случай распорядился, чтобы не закрывали на ночь городские ворота.

Султан пил с Масудом и, хмельной, вдруг сделался насмешливым и стал кривляться, да так, словно все отодвинулось от него — смертельная опасность, дурные предчувствия, а сам он ни во что не ставит свое положение государя и плюет на все заговоры и интриги, на аль-Рум и на место под солнцем, и смеялся он странно, будто кривился от боли, все время подмигивал Урхану, единственному эмиру, который все еще хранил ему верность. И кривлялся он, и подзадоривал как бы с умыслом, желая скрыть что-то неприятное, даже позорное. И было это поведение не пьяного, а скорее шута или колдуна, проникательного и трезвого, понявшего вдруг смысл всего и содрогнувшегося от этого понимания...

Едва поднес он ко рту кубок с вином, чуть не поперхнулся, но сумел глотнуть, запить вином слезу, которая неожиданно подкатила к горлу. Чтобы справиться с неприятным ощущением, Джалалиддин толкнул в бок Ма- суда.

— Ну, а жена — ха-ха-ха?! которую увел этот... из аль-Рума... Мошенник отпетый... как его назвать? безбожник...

— Ей было шестнадцать,— с непонятным достоинством сообщил Масуд.— Бухарская звезда...

— Луна,—вдруг поправил его угрюмо султан.— Ай, луна, луна...

Близко к полуночи к нему в шатер втокнули женщину. Она лишь коротко глянула сторону султана, когда переступала порог, а потом стояла, насупившись, будто равнодушная ко всему, простая, грубая. Ее поймали недалеко отсюда, гнала она заблудившуюся овцу домой.

Джалалиддин морщился досадливо, глядя на ее босые грязные ноги, и хотя протянул уже в ее сторону кубок вина, но еще не знал, какой тон приличествует данному случаю — насмешливый или же ровный и строгий.

Теперь, как правило, каждую ночь отлавливали для него в окрестных селах женщин, и чем выше поднимался он в глухие горные места, тем чаще попадались вот такие грубые с виду, безропотные, которые, должно быть, уйдя потом от него, так и не догадывались, кто же их сделал пленницами ненадолго.

Сдержанный во всем, не потерявший самообладания даже в эти последние дни, Урхан ничем обычно не проявлял недовольства грубым поведением государя, но сегодня свидетелем всего стал хитроумный, ненадежный Масуд. И потому Ур-хан не выдержал:

— Вашей светлости не подобает проводить ночь с этой черной,—

сухо сказал он и жестом велел гуляму увести женщину.

Джалалиддин нахмурился, обидевшись, и долго молчал, опустив голову. Но затем лицо его разом посветлело и он сказал просто, будто не сожалел:

— А я своих жен всех растерял. И детей... когда обоз отстал...

Затем впустили к нему в шатер ночного гостя, который называл себя бродягой, странником и очень торопился. У Хульварского перевала, где султан останавливался в полдень, чтобы свернуть потом с дороги на Исфакан, он увидел монголов — значит, не потеряли они след Джалалиддина, ни на минуту не прекращая преследования.

Но Джалалиддин не желал верить. Разморенному от духоты, сонному, ничего не хотелось ему в эту ночь более — ни вставать, чтобы собираться, ни бежать,— только оградил бы его от всех этот пестрый колпак шатра, спрятал бы, чтобы мог он сквозь смех, сквозь муть хмеля прислушаться к тому, что пробирается сейчас к его душе. Что-то новое и смутное, но сулящее облегчение и освобождение...

— Поверь, султан, я туркмен. Туркмены никогда тебе не лгали...

— Лгали,— капризным тоном проговорил Джалалиддин и слабой рукой махнул в сторону туркмена, прощаясь. И не заметил, как почти сразу же следом за туркменом вышел владелец Амида Масуд.

А когда занавес шатра закрыл от его взгляда сутулую спину Урхана, Джалалиддин, как будто чего-то ища, осмотрел столик с недопитыми кубками, с подносом, где было еще немного миндаля и сахара, и горько усмехнулся, упрекая себя за пошлости и кривляния. И вдруг вспомнил женщину, которую привели к нему на ночь, даже не утро вспомнил, а остро почувствовал, словно дух ее еще витал в шатре, натываясь на ковровые занавеси и ища выход на волю.

Странно, он ведь даже не глянул на нее внимательно, пьяный взор его сразу же опустился к ее босым ногам, лица ее не разглядел, а откуда это? Как будто он видел ее и запомнил в деталях ее лицо, покрытое красноватым горным загаром, глаза, в которых смешаны покорность и удивление, толстая нижняя губа, выдающаяся так, что почти полностью закрывает верхнюю... Тысячи таких людей проходили перед его глазами, и он всюду скакал мимо, не всматриваясь, не вслушиваясь, а эта женщина вдруг запомнилась и выделилась, и здесь в горах. Зачем? Какой смысл? Ведь не из-за желания же, не из-за похоти. Он ничего к ней не почувствовал, кроме досады, а здесь этот образ, как видение...

В последнее время Джалалиддин все чаще думал об одном

странном давнишнем разговоре, но думал как-то смутно, мучаясь, и сомневаясь. Когда-то в юности он дерзко поспорил с самим Курбой, мудрецом, учителем, мнения которого даже о самом обыденном, банальном принимались всеми в Гургандже без тени сомнения, а тут — шутка ли — речь зашла об истине. Знаменитый аскет сказал тогда, что человек может узнать об этом только перед самым своим уходом, встретившись с последним своим собеседником. В разговоре с ним, может, ничего не значащем и случайном, и постигнет уходящий смысл жизни. Этот миг озарения Курба назвал коротким вздохом свободы, той свободы, к которой человек пробирался сквозь туман ошибок и разочарований всю свою жизнь. Надо лишь не проглядеть в суете и гордыне этот миг — он больше не повторится,— увидеть и разгадать среди тысяч и тысяч того одного, кто обо всем скажет. А каков он, последний собеседник, каковы его приметы, этого нельзя знать заранее, но горе тому, кто упустит свою возможность приобщения, тогда последний собеседник явится перед ним в другом облике, как бы перевоплотившись, но всегда одинаковый со всеми заблудшими — молчаливый и жуткий...

А ведь Джалалиддин... именно в эту ночь ему так захотелось поговорить с кем-нибудь о другом, о чем-нибудь обыденном, нет, ни с Масудом или Ур-ханом о монголах, власти, деньгах — обычные их разговоры. Он ведь потянулся, чтобы спросить у женщины: кто она? как живет?

Что мучает ее? каково ее жилище? урожайный ли этот год? сложили ли сено в стога? О чем он не спрашивал ни у одного живого существа.

Но не успел, теперь не поймешь, она ли это была, пришедшая для последней беседы. Не разберешь, кто виноват, что не разговорились, может, сомневался, медлил, а может, помешали, словом, сложилось так неудачно...

Монголы нагнали их на рассвете. Хотя все шатры в лагере были одинакового цвета, чтобы не выделялся султанский, монголы, выскочив из-за валунов, бросились прямо к шатру Джалалиддина, видно, заранее зная его место. Но неудачно. Запутавшись в каких-то веревках, несколько монголов разом упали. И тут подоспели телохранители Джалалиддина, смешались с монголами.

Пока гулко звенели их мечи, Ур-хан поднял на ноги весь лагерь. И бросился отгонять монголов от шатра Джалалиддина — султан же, не ведая ни о чем, крепко спал. Впервые шум боя не потревожил его.

Когда слуги ворвались внутрь, они увидели, что султан лежит не на своем ложе, в мягкой постели, а на жестком ковре посередине шатра в какой-то странной, беззащитной позе, свернувшись так, что касался согнутыми коленями подбородка.

Еще сонного, ничего не снимающего, поволокли его к выходу в одной белой рубашке, посадили на коня и дали в руки поводья. Кто-то сзади хлестнул лошадь бичом, и она, не взяв разбега, прыгнула так, что едва не лопнули шелковые поводья, унизанные золотыми динарами.

От толчка этого совсем очнулся Джалалиддин. Увидел, как во весь опор несутся за ним монголы, высунув языки от предвкушения удачи, и как Ур-хан со своим отрядом пытается преградить им путь.

- Ур! Ур! А-а-а!..⁷

Лошадь несла Джалалиддина к крепости, главным ее воротам, которые, как обещал Масуд, будут в любое время распахнуты перед султаном и его людьми.

Ни одна стрела не полетела вдогонку Джалалиддину, видно, был приказ монголам брать его живым.

Еще издали заметил султан, как вышли из ворот Амида несколько человек. Он взбодрился, думая, что это встречают его. Но вышедшие постояли, понаблюдали за тем, как сражаются хорезмийцы с монголами, и ушли обратно. А когда крепко заперли за ними ворота, Джалалиддин вдруг сообразил, что там мелькнула фигура Масуда.

— Бейте хорезмийцев! — услышал он, едва поскакал в тени крепостного вала.— Они пришли грабить нас! — И над его головой с треском пролетел шар из горящей пакли, чуть не опалив волосы...

Ур! Ур! А-а-а... Слабеют звуки боя, крики и стоны в зажатых теснинах отдают эхом так, словно последние предсмертные голоса, перекликаясь, ищут друг друга.

Джалалиддин оглянулся и краем глаза увидел, как теснят монголы его воинов по всей лощине к отвесным скалам, бьют их наповал, бросая на камни под копыта своих серых коней. Увидел все это, натянул поводья, думая возвращаться к своим, но лошадь, привыкшая теперь все время уходить от погони и взявшая уже хороший разбег, уносила его все дальше от места боя, все выше — от тесных тропинок к просторам — и опять потом окунаясь в туман узких расщелин.

В последние дни месяца шабан в горы опускалась напряженная

⁷ Бей! (Боевой клич тюрок.)

тишина, заросли арчи и дикого ореха темнели, мох на скалах и камнях, высохнув, сворачивался — на все находило угрюмое оцепенение.

Казалось, что сам этот вид вокруг чем-то сковывает бег лошади. Уйдя от опасности, она не расслаблялась, не шла ровнее и спокойнее, а все время неудачно ступала, спотыкаясь. Будто чувствовала она своим особым нюхом, как следят за ее бегом, перебегая от скалы к скале, чтобы не выпустить из вида одинокого всадника.

Но сам всадник ничего не замечал и не чувствовал. Он всмотрелся и узнал местность, вспомнил, как в отрочестве, лет четырнадцать назад,» проезжал уже в этих горах, немного севернее перевала.

Султан Мухаммед послал тогда отряд против халифа и велел командующему взять с собой и Джалалиддина для боевого крещения. Но отряд так и не дошел до Багдада. В горах выпало столько снега, что многие перемерзли, а успевших повернуть обратно курды обманом завели в тесную лощину и ограбили.

Сколько было у отца тайных и явных надежд, сколько коварства и хитроумия, и где теперь все это? Песком разрисовало, пыль покрыла... Развевалось все, едва показался у пограничного города Отрар Чингисхан. Отец, растерянный, запутавшись в интригах военачальников областей, отвергнутый простым людом за алчность, с первого дня войны все отступал, ни в ком не встречая сочувствия, все был в бегах и за год отдал то, что собирала династия два столетия. До последнего дня он еще на что-то надеялся, честолюбие мешало ему трезво взглянуть вокруг, и, дышь когда был загнан монголами к прокаженному на остров Ашур-Ада, отдал меч свой Джалалиддину.

Сын давно рвался отомстить. Но неоткуда ему, правителю без страны, разогнаться, чтобы, собрав силу, броситься на монголов. Не было ни одной области, где бы он мог остановиться, оглянуться — все успел занять враг. А столица Гургандж, попавшая в руки самозванцев, каждую неделю сменявших друг друга, не пожелала признать этого храброго, но вспыльчивого и безрассудного молодого человека, не искушенного в дипломатических хитросплетениях, и изгнала его, а сама открыла ворота монголам. Да!

И метался Джалалиддин, отступая в чужие земли, изгоняя их правителей, убивая и грабя жителей, желая из разноязычных областей собрать новое государство на пути монголов. Но не собралось, расплодилось, зло рождало зло, не смог силой меча убедить Мазандаран и Армению быть союзниками...

А сейчас лошадь уносила его все выше по каменистой тропе, и Джалалиддин ехал так, в досаде, странной растерянности, потерявший счет времени, совсем не ощущая его течения вокруг — ни по стоянию солнца, ни по теням.

Он с рождения плохо ориентировался во времени, всюду не поспевал и опаздывал, всюду был некстати, и, может быть, это и развивало в нем обостренное ощущение пространства, местности. Легко чувствовал он себя в степи и в горах, быстро передвигался, изумляя преследовавших его монголов своим появлением в самых неожиданных местах.

Но время... Время не удерживало его нигде — ни в Исфахане, ни в Грузии, выталкивая отовсюду своим бестелесным воздухом, течением, не поддающимся разумению... Даже такое качество его натуры, как храбрость, оказалось ненужным для его времени, обременительным.

Сейчас, цепко взглядевшись в местность, он понял, что ведет эта дорога к Майафарикину, где султан найдет приют и защиту Малика Гази. Но ведь чувствовал он и то, что дорога эта последняя, тупик. Дальше пути нет, ни вверх, в заоблачные селения курдов, ни вниз, в степи верных ему туркмен.

Все катилось, жар его порыва выветрился, дни остыли, отбили...

Странно, ведь отец тоже был сравнительно молодым, но, умирая сорокалетним на руках Джалалиддина, он уходил безропотно, с какой-то старческой обреченностью, словно жизнь его не обрывалась так неожиданно и нелепо...

Джалалиддин же долго не признавал своего поражения. И теперь еще в нем что-то исподволь возмущается, сопротивляется. Хотя все эти последние, годы жил он беспорядочно и недостойно, не зная ни в чем меры — ни в любовании собственной властью, ни в обладании богатством и женщинами,— он, оказывается, не пресытился еще. Чувствовал, что есть в этой жизни нечто такое, чего он не испытал, не испил, какая-то неведомая и таинственная ее сторона манила и привлекала. И, чтобы испытать ее, надо отказаться от прошлого, жить просто и бесхитростно, забыв о том, кем родился и на что замахивался. Чтобы никто не помнил, не знал...

Мысли эти взбудрили Джалалиддина, и он ударил лошадь носком в бок, но курд с копьем, уже давно преследующий его, в нетерпении подпрыгнул.

Бежал он наперерез — с валуна на валун,— размахивая в

предвкушении легкой добычи веревкой. Знал он, что лошадь привезет всадника к реке и станет. Опустив морду к бегущей воде, она выплюнет пену и будет долго пить...

Курд был дозорным у дороги и по правилам, увидев издали отряд, не важно, монгола или хорезмийцев, обязан был дать знак другому дозорному, а тот дальше, и так по цепи весть должна дойти в их селение. А Мустафа, староста деревни, решал, узнав, сколько их, пришельцев, нападать ли сразу же на выходе из узкой теснины или же, прячась, преследовать их до Дарвазского ущелья. Сами же курды в своем селении Айн-Дар, стоящем в стороне от дороги, всегда чувствовали себя в безопасности, ибо ходы к нему и выходы были так искусно запутаны, а мосты через пропасти так замаскированы, что никто, кроме своих, не мог к нему пробраться.

Редко в этих краях появлялся одинокий всадник, и курд с копьем соблазнился и оставил свой пост, уверенный в том, что никто из своих не узнает о его проступке.

С тех пор, как началась эта странная война (а странной горцы называли войну из-за мелких, будто ничего не значащих стычек, ибо никто не знал истинного ее размаха на просторах земли), дозоры были усилены — не проходило и дня, чтобы какой-нибудь отряд не оказывался в горах, преследуя или преследуемый, в пылу сражения заблудившийся, но в одиночку никто сюда не отступал.

Раз или два монголы посылали в горы маленький отряд из четырех всадников, чтобы те осмотрели местность и запомнили дороги для идущих следом войск, но всадники были так собранны, а лошади их чутки, как гончие псы, что, еще издали почуяв возню курдских дозорных, быстро скрывались.

Едва курд увидел всадника, сразу прикинул: что с него взять? Меча или другого оружия у него не было, а белая рубашка и шаровары не очень-то прельщали. Скакун, видно по осанке и бегу, благородной масти, но надо будет спрятать его в зарослях до темноты, а потом отвести в соседнее село и продать персам.

Курд думал обо всем этом, продолжая преследовать всадника и всматриваясь в него напряженно. Еще что-то привлекало его загадочное, что поблескивало все время на солнце, когда всадник дергал поводья. Что это? Слишком много блеска для одного перстня на руке. Любопытство еще больше подогревало курда, и он бежал к реке, позабыв теперь об осторожности.

А сам Джалалиддин уже давно слышал шум реки, торопил лошадь, но перекатывающая камни широкая вода открылась в ущелье так неожиданно, что лошадь на скаку прыгнула почти па середину реки, прежде чем остановиться.

Джалалиддин спешил, ледяная вода обожгла его босые ноги. Он съезжился и покачнулся, едва стал на твердое. Лошадь понюхала воду, пофыркала и стала пить маленькими глотками, часто отдыхая и глядя на хозяина.

Джалалиддин чувствовал, как напряжение от бешеной гонки спадает, движения его становятся легкими и свободными. Впервые за много дней ничего не остерегаясь, не щурясь, смотрел он вокруг: на красные заросли шиповника, струю водопада, бегущую со скалы.

Лошадь, осторожно ступая по камням, шла за Джалалиддином и, выйдя на берег, обнюхала своего хозяина.

А Джалалиддин сидел в странной, отрешенной позе, позабыв обо всем на свете — о том, кто он есть и что погнало его в эту дикую, безлюдную местность. Капли воды стекали по его щекам, сверкая на кончиках бороды, и курду, который смотрел на него немигающим взглядом из зарослей, лицо Джалалиддина показалось не то чтобы знакомым, виденным, но вызывающим какие-то далекие чувства, что-то смутное, неясное. Но о чем могло говорить ему это отрешенное лицо со следами былой суровой и беспорядочной жизни? Непонятно. Только одно решил про себя курд: с этим молодым, как и он сам, человеком, низкорослым, но крепким на вид, нелегко будет справиться, хотя и был он безоружным.

Курд разглядел наконец и то, что давно манило и привлекало его своим блеском, и в душе порадовался тому, что не зря столько времени гнался за всадником. Не мигая, он следил за каждым движением Джалалиддина, видел, как тот потянул лошадь к кустам, чтобы привязать и как лошадь поскользнулась, ступив на мокрый валун, и чуть не упала на передние ноги. Поводья лопнули, и нанизанные на них динары рассыпались на берегу. В другое время Джалалиддин не обратил бы на это внимания, тем более что золото это, как и бриллианты, алмазы и сапфиры, все, что украшало, блестело, было лишь мишурой, внешними знаками его власти, но сейчас почему-то он в спешке бросился собирать монеты и прятать их за пазуху.

А курд тем временем уже завязал петлю на конце аркана. Видно было, что преследуемый не торопится переходить реку, и потому курд

готовился основательно, не спеша.

Джалалиддин все еще втайне надеялся, что хотя бы несколько его воинов с отчаянным Ур-ханом во главе смогут обмануть монголов и найти своего султана здесь, возле реки. Джалалиддину казалось унижительным появляться у ворот Майафарикина без сопровождающих, ибо, каким бы дружелюбным ни казался всегда Малик Гази, он может на сей раз встретить султана с еле скрываемым злорадством — так всякий раз вели себя маленькие правители, видя позор и унижение Джалалиддина.

Джалалиддин растянулся на теплых камнях, чувствуя приятное томление: уже давно не предоставлял он себя так свободно власти солнца и воздуха. Ничто не отвлекало его от шума реки, свиста птицы, и он, довольный, подумал: как все-таки хорошо быть одиноким, оторванным от всей этой суеты, какое это высшее благо...

Странно не то, что Джалалиддин позволил себе расслабиться, позабыть об опасностях, которые все время подстерегали его отовсюду. Обостренный нюх загнанного, все время преследуемого, чуткого на любой звук, любой запах, сейчас почему-то притупился, исказился так, что Джалалиддин не чувствовал возню курда за спиной.

Только мелькнуло раз тревожное, когда вспомнил Джалалиддин о женщине, которую привели к нему ночью, подумал, что в эти дни любой встречный человек может оказаться его последним в жизни собеседником... но напрягаться и переживать не стал, тут же забыл обо всем.

А курд уже целился в него, подняв над головой аркан. И, когда замахнулся, подавшись вперед, и петля, свистнув в воздухе, точно легла, обхватив кольцом шею Джалалиддина, курд услышал какой-то странный сдавленный звук, невыраженный крик, будто надломилось что-то, что уже давно дало трещину. Веревка в руке курда не натянулась с обычной силой, а лишь задрожала, затрепетала, словно в пойманном уже не было ни тепла, ни жара. Прыгнув, он потянул веревку, ловко, одним движением связал пойманного большой петлей по рукам и еще ногой надавил ему на грудь, не понимая, отчего это сильный, крепкий на вид человек поддался ему так безропотно, не бился, не кричал, а лишь хрипел, свистел, пытаясь глотать воздух.

Этот слабый свист, смутный возглас обреченного человека были так сладостны для слуха курда, так взбадривали его, что ему не терпелось уже сейчас одним ударом копыя прикончить его — никогда

еще не ловил он так легко, никогда еще человеческая жизнь не казалась ему такой ничтожной, уже надтреснутой, такой соблазнительно податливой. От мысли этой пересохло у него во рту, да так, что казалось, язык распух.

Курд поднял было копьё, но вдруг увидел, как блестит, звенит золото — монеты, выпрыгивая из-под рубашки пойманного, катятся к воде.

Он бросился на землю и пополз; лошадь заржала, метнулась в сторону, пытаясь высвободиться от привязи.

А Джалалиддин, уже справившись с первым страхом, сидел, связанный, с презрительной усмешкой наблюдая за тем, как курд заталкивает монеты за пояс штанов.

Джалалиддин уже все понял. За что, за какие грехи? Почему не погиб он славно, в бою, или, на худший конец, загнанный, как отец, куда-нибудь на остров, на руках близких? По-разному он представлял свой конец, но только не у ног разбойника...

Курд, однако, хотя и любил золото, но не терял голову при его виде — он-то первым и услышал постороннее движение в зарослях и застыл, всматриваясь и сжимая в руке копьё.

Два всадника выпрыгнули к воде, криками «ап! ап!» сдерживая коней, и курд, узнав в одном из них своего жоака Мустафу, встал в напряженной позе в предчувствии дурного, моргая непрерывно глазами.

Эти двое тоже узнали своего, но Мустафа, едущий всю дорогу злой, не пожелал с ним разговаривать. От самых ворот Майфарикина, откуда они выехали утром, он тягостно молчал, думая лишь о том, как отомстить 1'ази, не уступившему его просьбе и, видно, открыто ищущему повод для ссоры. Вместо Мустафы заговорил его телохранитель, кунак.

— Это твой пленник, Агур? — спросил он, кивая в сторону Джалалиддина, и Джалалиддин вдруг приятно удивился тому, что понял его речь, — Похвально...

Курд в отчаянии топнул ногой и, сорвавшись с места, сделал два-три прыжка в сторону всадников, сжимая в кулаках золото.

— Я поделюсь с тобой, Мустафа. Твоя доля свята... Клянусь! Только скажи, чем Гази заплатит мне за убитого брата?!

Джалалиддин насторожился, услышав имя Гази, прислушался, не переставая удивляться тому, что говорят они по-персидски, и втайне

надеясь теперь, что ему, может быть, удастся еще как-то объясниться с ними...

Всадник нетерпеливым жестом пригласил Агура поближе и, когда тот сделал еще несколько шагов с вытянутыми руками, в которых блестели монеты, сказал:

— Но ты ведь оставил свой пост.— И сильным взмахом полоснул его по лицу плетью.

Курд повалился на землю, но быстро вскочил на ноги, и Мустафа с досадой посмотрел, как бежит он к зарослям.

Вожак глянул на своего попутчика, на Джалалиддина, словно упрекая их за то, что ему приходится быть свидетелем такого постыдного эпизода. Джалалиддин в ответ сделал бесстрастное, равнодушное лицо.

Агур прыгнул к зарослям, одним ловким движением на ходу отвязал лошадь Джалалиддина, вскочил и, помахивая копьём, поскакал; и все это сделал с такой дерзкой быстротой, что никто, кажется, не успел ничего сообразить, кроме Мустафы — польщенный резвостью своего подручного, он одобрительно посмотрел вслед коню, скрывшемуся за скалой.

Хотя в горах и не оставляли в живых ограбленную жертву, Мустафа решил сделать исключение и жестом повелел телохранителю забрать Джалалиддина с собой. Мустафа вспомнил о своем завтрашнем госте, бухарском купце Хаджи, которому он в числе прочих подарков отдаст в услужение и этого молодого пленного. И попросит Хаджи быть посредником в его споре с правителем Майафарикина.

С начала войны курды исправно отдавали часть награбленного, ибо разбойничьи их тропы пролегали и по землям Гази, но недавно они напали на майафарикинцев, приняв их по ошибке за хорезмийцев. В ответ май-афарикинцы убили десяток курдов, среди которых был и брат Агура, и грозились предать огню Айн-Дар, если Мустафа не выплатит им большой выкуп.

Попутчик Мустафы спешился и, отбросив конец аркана, освободил Джалалиддину руки. Спросил не из любопытства, а из желания унижить:

— Ты чей?

Джалалиддин с трудом встал на ноги, но петля, обхватившая его шею, мешала говорить, и курд ослабил веревку.

— Я хорезмиец,— сказал Джалалиддин, плохо выговаривая слова,

он давно заметил в себе такую странность — на пределе сил и изнеможения делался косноязычным, хотя одинаково легко говорил и по-персидски и по-тюркски.

Больше ни о чем его не спросили. Телохранитель вскочил на коня и потянул за собой на веревке Джалалиддина.

С противоположного высокого берега увидел Джалалиддин селение и вдруг подумал, что Мустафа может поверить ему. С достоинством держался в седле этот пожилой курд, многозначительно молчал, отринув от себя мелочь житейскую и суету — не пожелал даже, гордец, плетть свою марать о голову провинившегося караульного,— и Джалалиддин понял, что это не просто разбойник, но человек, кроме грабежа вынужденный вести еще и дипломатическую игру, маленький правитель, люди которого, как и всюду, рождаются, скрепленные между собой клятвой, договором, традициями до самой смерти.

Уверен Джалалиддин, что, если с глазу на глаз доверительно поговорить с Мустафой, открыть свою тайну, назваться, его поймут, помогут. Мустафу можно соблазнить золотом. Джалалиддин убедит отвести его в Майафарикин, а за это Мустафа получит от Гази хорошее вознаграждение.

Джалалиддин бежал за всадником по косогору, и веревка на его шее то слабела, то снова натягивалась, когда лошадь неосторожно ступала на скользкий камень.

Так двигались они, приближаясь к селению, и не слышали, как крадется за ними Агур.

Получив удар плетью, Агур спрятался за скалой, дальше бежать не стал, зная, что погони за ним не будет — рано или поздно Агур сам явится к Мустафе с повинной.

Ударив лошадь копьём, он отогнал ее от себя и стал взбираться на скалу — не терпелось узнать о судьбе пленного. Тихо застонал он, когда увидел, что ведут они Джалалиддина за собой. След плети на лице вздулся, но мучало его другое — странный жар во рту, даже надавил на язык, не распух ли...

Агур уже собрался прыгнуть вниз и бежать за Мустафой, но в это время к реке выскочили трое всадников. Придержали лошадей, всматриваясь в следы на берегу и озабоченно поглядывая вокруг. Один из них был Ур-хан, и курд, давно не видевший всадника в одежде, так богато шитой золотом и камнями, застонал. Двое других, одетых поскромнее, но тоже нр» дорогим оружием, помчались через реку вслед

за эмиром, явно стараясь найти чей-то след.

Агур хотя и понял, что прорвались они к реке по той самой тропе, на которой находится его пост, но не очень сожалел, что увезли с собой всадники столько золота. Заботило Агура другое. Приседая поминутно и прячась за валунами, он бежал к селу, страдая оттого, что пленный был свидетелем его позора.

Па всем пути Мустафа пять или шесть раз проходил мимо постов. Караульные сидели или лежали на скалах, положив рядом копья, но никто не удосужился встать и поприветствовать своего вожака. Но это нисколько не задело Мустафу, видно, такое обращение к старшему по чину было принято среди курдов.

Селение, к которому они приблизились, своим видом почти ничем не отличалось от множества других в горах, мимо которых приходилось проезжать Джалалиддину. Единственное, что еще как-то привлекало, сами жители, не сеющие, не пасущие скот, а живущие своим недобрым промыслом, но и это их занятие, казалось, никак не отпечаталось на их облике. Были заметны лишь сдержанность и равнодушие, с которым курды встречали своего вожака.

На главной улице, по которой всадник тянул Джалалиддина, шумел водопад, стекая в ручей. Женщины, стирающие белье и перебирающие шерсть у своих хижин, лишь глянули на эту тройку, и Джалалиддин, привыкший к иному обращению со старостами, правителями, засомневался: действительно ли Мустафа — их вожак. И только старик, сидящий у ручья, опустив ноги в воду, и жующий какие-то листья, заинтересовался возвращением Мустафы:

— Ну, как с тобой Гази? Прогнал?

— Не захотел и слушать, — пробормотал Мустафа, — потребовал столько золота... — И в сердцах махнул плетью по воздуху.

— Что ж, будем сражаться. — Старик помял листья между ладонями и снова бросил на язык.

Мустафа усмехнулся и молча проехал мимо него.

А Агур тем временем уже успел добежать до села. Припав к ручью, он пил, но жажда не утолялась, язык не остывал.

Хижина, возле которой Мустафа спешил, ни видом своим, ни богатством ворот не отличалась от остальных на улице. Телохранитель взял у него из рук поводья и поскакал дальше, ведя за собой и лошадь хозяина, а Мустафа крикнул:

— Мато!

Вышла толстая женщина, вся черная, и, ни слова не сказав мужу, накрутила на руку конец протянутого ей аркана. И лишь глянула на Джалалиддина, недоумевающая. Мустафа поспешил пояснить:

— Я его завтра подарю Хаджи. А Хаджи помирят меня с Гази...

— Ойе! — одобрительно воскликнула Мато и потянула за собой веревку во двор. Мустафа же, не заходя в дом, пошел дальше по каким-то своим делам.

Дворик, в который ввели Джалалиддина, со всех сторон был окружен стеной из сложенных вкривь и вкось камней. Дымился котел под орешинной, на ветви которой были подвешены подковы разной величины. Обрезки кожи валялись всюду под ногами.

— Садись! — потянула Мато пленника к орешине и привязала его, оробевшего вдруг, послушного, спиной к дереву. Уходя, она пояснила ему как-то доверительно: — Старик мой любит сапожничать в свободное время... Так, для себя.— И, покачиваясь лениво, все удалялась, пока не вошла в дом.

И хотя был привязан он, как овца, и хотя говорила с ним женщина, как с безъязыким, Джалалиддин с интересом всматривался, приглядывался... Защекотало в носу от дыма очага. Запах чужой, непонятноц жизни взволновал его, и это волнение заставило задуматься.

Как быть теперь? И надо ли раскрывать свое имя? Что изменится в его судьбе в Майафарикине? Ведь все уже скатилось, жар порыва выветрился, дни остыли, отбили...

А Агур уже был недалеко от этого дома. Старик, по-прежнему жующий листья, лишь на мгновение остановил его:

— Агур, ты слышал? Гази прогнал нашего Мустафу. Некому теперь заступиться за убитых. Вай-вай! — И, обхватив голову руками, он сделал вид, что сильно мучается, сокрушается.

Агур лишь промычал в ответ, тыча пальцем в щеку, и побежал дальше.

«Ну а это? — думал Джалалиддин.— Новое?»

А что, если он и впрямь возьме* себе другое имя и будет жить просто, в рубище, босиком погоняя верблюдов Хаджи? Но каково оно, это новое? Как прожить его? Не успел он спросить об этом у женщины той ночью...

Прежняя жизнь кончилась, а другой он не знал, и это незнание страшило его.

Мато вышла из дома, покашливая. Села у порога, и, не глядя на Джалалиддина, принялась чистить тыкву. Услышав топот за стеной, она подняла голову, прислушалась тревожно и, увидев, как вбежал во двор Агур, странно прижав к груди копьё, проворчала что-то себе под нос.

Агур глянул на Джалалиддина, затем высунул язык и опять потрогал его пальцем.

От жеста этого повеяло таким холодом, таким он был смертельно нелепым и страшным, что Джалалиддин поерзал, хотел сорваться, забыв о том, что привязан.

— Мато! — закричал Агур. — Почему этот хорезмиец еще жив?!

— Что ты! Что ты задумал? — Мато бросилась преграждать Агуру путь. — Он молодой, пусть служит Хаджи...

Но Агур уже успел прыгнуть к орешине.

— Мой брат, которого они убили, был лучше! — сказал он и с силой поднял копьё над головой Джалалиддина, желая еще раз услышать слабый свист, тот смутный возглас, который взволновал его своей загадкой...

Случилось это в конце лета 622 года⁸. А через несколько дней в горах начались обычные для этого времени осенние ливни. Река вздулась и принесла труп Джалалиддина в одно из городских озер Майафарикина. Для Гази смерть султана была долгожданным поводом, и он приказал перебить все мужское население Айн-Дар, а самое село сжечь дотла.

Отряд майафарикинцев вел на погром Ур-хан-эмир, который прорвался в город из-за того, что Агур оставил свой пост...

1984

⁸ По мусульманскому летосчислению.

Шукур Халмирзаев
р. 1940

ОБИДА

Кабировой едва исполнилось восемнадцать, а она уже была председателем артели. Тогда же, в сорок третьем, она и в партию вступила, полгода пробыла на курсах подготовки партийных кадров в Ташкенте. А потом — одна руководящая работа за другой: Людей в те трудные годы не хватало, и куда ее только ни «бросали»: и вторым секретарем райкома, правда ненадолго, и директором детского дома, и руководителем лесхоза. И кому было дело до того, что она и четырех-то классов толком не закончила — отец ни за что не хотел пускать в школу, тайком бегала, урывками постигала премудрости науки. Уж какая это грамота — одно горе: слова без ошибки не могла написать и очень стеснялась. Ну, а подпись свою научилась ставить бойко да размашисто на разных деловых бумагах. И кто ее смел упрекнуть — мужиков раз-два и обчелся, и не всякая женщина согласилась бы взвалить на себя такую работу, какую везла Кабирова-апа. Ее и молоденькую уже так величали — Кабирова-апа, а потом и подавно.

Верно говорят: жизнь как сон. Незаметно отсчитало время пятьдесят пять лет. Как-то после очередного совещания секретарь райкома Ибрагимов попросил ее задержаться.

— Бегут годы, апа, бегут... Вы уже не молоды, апа. Конечно, это еще не старость! Но думаю, вам уже работать трудно. А лесхоз — хозяйство непростое. Вот мы и хотим предложить вам, дорогая Кабирова-апа, работу полегче. Как на это смотрите?

— Совсем мне не трудно. Я там уже одиннадцать лет, все до мелочи знакомо. А что Гулямова?.. Ведь ее хотите вместо меня назначить? Я сразу угадала ваши планы, как она из Москвы вернулась. Что у нее за плечами-то — школа да... институт. А опыта — никакого! Ну... пусть привыкнет немножко, а там... видно будет...— Голос Кабировой сорвался.

— Я вовсе не хотел вас обидеть, товарищ Кабирова,— в раздумье проговорил секретарь,— дело требует молодых рук... да и ног, если хотите: сколько ходить приходится... А опыт, что же — дело наживное. Вы когда начинали, вам сколько было? Восемнадцать? Ну вот, видите, а Гулямовой двадцать четыре, да и вуз закончила...— Ибрагимов пожалел

о сказанном. Но потом, решив, что, хотя это и больно ей слышать, повторил:

— Да, да, вуз, это, знаете ли, в сегодняшних условиях очень важно... Теперь нельзя работать по старинке. А Гулямову посылали учиться специально, с прицелом...

— А, так вот еще когда было задумано, а я-то из сил выбиваюсь, стараюсь...

Ибрагимов встал из-за стола, обошел его и, подойдя к Кабировой-апа, как можно мягче заключил:

— Значит, решили! Подумайте, где бы вы хотели работать, чтобы не было обременительно,— детский сад, школа, словом, подумайте! У нас люди везде нужны, вы знаете. А как только решите, жду вас... — он помолчал, потом добавил: — или хотите, чтобы я сам этим занялся?

Кабирова отрицательно покачала головой, встала, молча протянула руку Ибрагимову. Он почувствовал слабое, безвольное пожатие.

...Прошел месяц, другой, третий пошел, а Кабирова не появлялась в райкоме. Она оформила пенсию, труда это особого не составило — непрерывный стаж — тридцать семь лет! Но обида грызла, точила, по ночам не давала сомкнуть глаз. Все валилось из рук, ведь к домашним делам за свою жизнь она так и не привыкла, ее покладистый добрый Шомурад-ака с самого начала взял на себя все домашние заботы, хотя сам работал продавцом в магазине уже много лет. Он редко возражал жене, но однажды, когда Кабирова-апа в очередной раз завела разговор о том, как незаслуженно ее обидели, отправляя на пенсию, не выдержал.

— Сидела бы себе дома и не хорохорилась! Ну, скажи, зачем тебе работать? Много ли нам с тобой нужно? Детей в люди вывели, чего тебе мотаться?

— Да что вы понимаете? — кипятилась она. — У вас разве подход государственный?.. Это не мне одной вред — делу. И какая такая моя вина, чтоб просто так освободить от должности? Нет, все из-за той девчонки, Гулямовой, знаю я. Выскочка! Вовремя подоспела! Сколько лет я могла еще трудиться мирно да спокойно!

— Во-во, мирно да спокойно! Не того теперь надо в твоём хозяйстве. Оно с тобой вместе состарилось, понимаешь?.. Пора дорогу молодым уступить!.. Ну... не расстраивайся, мать... мое дело тебе посоветовать, чтоб ты себя зря не изводила. А там как знаешь,— сдался Шомурад-палван.

— Я напишу в обком! Вот, увидите, напишу! — не унималась Кабирова. Добрый голос мужа ее не успокаивал, наоборот, выводил из терпения.— Да, да, напишу! Вроде самого Ибрагимова заладили: «для пользы дела, для пользы дела!» Знаю эту пользу!.. А обо мне — вы подумали?..

Но в обком она так и не написала, хотя не раз садилась за стол, положив перед собой чистый лист бумаги. Ну, кто станет всерьез принимать ее каракули? Ошибки и почерк так и остались у нее на уровне начальной школы. Впрочем, она в этом даже себе самой не признавалась, и в ее неотвязных думах снова и снова брало верх одно: она — опытный руководитель, молодые должны у нее учиться...

А время шло. Кабирова ходила угрюмая и все ждала, что вот-вот явится нарочный из райкома, пригласит к Ибрагимову, и тот, поняв наконец свою ошибку, вернет ее на прежнее место, в лесхоз. И снова Шомурад-ака с болью в душе слушал ее жалобы. Слушал, жалел, потом уставал, начинал зевать, прикрывая рот рукой, чтоб не обидеть жену. Незаметно переходил к разговору о заботах по дому, просил помочь ему в хозяйстве. Она вяло соглашалась, но нет-нет да слезы ее душили. То и дело вспоминалось далекое военное прошлое, когда она секретарствовала в своем районе, и в каких только почетных президиумах ни сидела, на каких трибунах ни выступала с пламенными речами. Уж что-что, а говорить она умела. Как уважали ее люди! А теперь с ней не считается даже собственный муж. Кабирова растеряла связи и с подругам, с которыми трудилась долгие годы, хотя они жили не так уж далеко. Кое-кто, конечно, уехал. Но ведь прежде, еще год-два назад, они встречались, ну хоть раз в два-три месяца, приглашали друг друга в гости: Кабирову-апа звали, конечно, на все семейные торжества. А теперь и глаза никто не кажет! Прежде она времени не выкраивала. Даже старшего сына в Ташкенте навестить,— после свадьбы всего раз и была у него. Теперь она дважды съездила к Камалю, несколько раз к младшей дочери, что училась в андижанском пединституте. Куда девать время-то? Раньше, оглянуться не успеешь — дня как не бывало. Теперь он тянется бесконечно, Кабирова-апа не знает, что такое «погулять»; да и совестно ей расхаживать без дела по улицам, где можно встретить людей, столько лет относившихся к ней с почтением.

— Ну, скажите, чем я хуже Маликовой? Ведь она-то работает еще,— заявляет она мужу.— Нет, как ни говори, здесь что-то не так!.. Кто-то действует мне во вред, не иначе. Кто-то, наверное, пожаловался на меня

в райком, очернил. Конечно, вам смешно...

Себе Кабирова ни за что не хочет признаться в том, что и Маликова, и многие ее подруги-одногодки, имея семьи, детей, учились и работали, кончали вечерние десятилетки, заочные институты, специальные курсы повышения квалификации. Нет, нет, не в этом дело,— гнала от себя эти назойливые мысли Кабирова-апа. Она-то уж знала точно: не в этом.

Бежали дни; и в райком ее не вызывали, и письмо так и не было написано.

Но однажды скучное существование нарушила жена председателя потребкооперации Унсина-апа. Кабирова так радостно, так сердечно встретила ее, что не знала куда усадить.

— Да не хлопочите вы, Кабирова-апа, я на минуточку!

— Как, в кои-то веки вас сам аллах послал...

— Знаете, ападжан, очень много работы.

— Правда-правда,— проговорила Кабирова-апа; комок подступил к ее горлу, и она неожиданно заплакала.— Слышали, дорогая Унсина-апа, как они со мной поступили? Отстранили от дела! Пусть песок засыплет глаза моим недругам!

— Полноте, ападжан, не огорчайтесь! Райком, я думаю, поступит по справедливости. Вы коммунист с многолетним стажем. Сделали много полезного для государства, для района...

— Конечно, конечно,— подхватила ее слова Кабирова-апа.— Когда я, оседлав коня, ездил в ночь-полночь по делам района, теперешние руководители еще не могли себе и носа утереть. Вы сами это знаете. А теперь... А, да что говорить!..

— Знаю, ападжан, все знаю.

Кабирова-апа засуетилась, готовясь угостить Унсину-ана пловом. Позвала младшего сына:

— Беги скорее в магазин к отцу и попроси мяса и риса!

Унсина-апа удержала мальчика:

— Нет, нет, дорогая ападжан! Я ухожу. Присядьте-ка, у меня есть к вам... дело.

Кабирова-апа присела на краешек курпачи и с надеждой устремила взгляд на подругу, которая была, помнится, года на три моложе ее.

— Недавно я ездил в Самарканд...— начала Унсина-апа.

— А я и не слышала, вот видите, какая стала, ни о чем не знаю, что творится вокруг,— Кабирова-апа горестно махнула рукой.

— Так вот, дорогая ападжан. Оказывается, один из наших земляков еще мальчишкой уехал в годы войны в город. Родители у него умерли, остался сиротой. А теперь он профессор, доктор наук. Нас с мужем пригласили на его пятидесятилетие. И вот я поздравила его от имени всех односельчан. У него очень славная жена, два сына, оба в аспирантуре. После банкета он задержал меня, и, видно, я разбередила ему душу, вспомнив наш кишлак. «Дорогая Унсина-апа,— сказал он мне.— Видите, все мои мечты осуществились — у меня любимая работа, хорошие сыновья. Чего мне еще желать? Однако теперь, видно, старею, появилась у меня забота. Я-то уж не смогу сам переехать жить в Кукташ из-за своих научных дел. Женился мой старший сын. Теперь очередь младшего. Как бы мне хотелось, чтоб взял он в жены девушку из родных мест!.. Конечно, о смерти думать не хочется, но ведь так устроен мир, пусть же хоть один сын будет крепкими узами связан с отчим краем...»

На Кабирову-апа слова эти произвели впечатление, она молча склонила голову. А Унсина-апа как ни в чем не бывало продолжала:

— Вы хорошо это придумали, домулла, говорю я ему. И тут же вспомнила о вашей дочери, ападжан, и назвала ему вашу Насимухон. Есть, говорю, у нас хорошая, славная девушка из достойной семьи, мать у нее заслуженный человек, отец тоже. Ну, Кабирову-апа, не зря я это сказала? А?

Слова Унсины-апа застали Кабирову-апа врасплох. Она никогда всерьез не думала о своей дочери как о невесте. И оттого ли, что ее собственная судьба сложилась, как она считала, неудачно и бесславно, она не раз повторяла: «Учись, доченька, заканчивай институт... А то и дальше: иди в аспирантуру». Конечно, ей не раз говорили о том, какая ее дочь милая и приветливая, особенно сосед и старинный знакомый Самат-олифта и его жена, которые, пусть в шутку, а нет-нет и заводили речь о помолвке: их сын, служивший в армии, был близким другом сына Кабировой, Камалья. И когда Камаль приезжал погостить из Ташкента, Кабирову-апа замечала: дочь и товарищ сына, как бы ненароком, переглядывались. Однако Кабирову-апа не придавала этому серьезного значения, а потому всегда говорила, пусть-де, мол, Насима пока учится... а там видно будет.

Вот почему теперь она растерялась от неожиданности и на миг призадумалась. Она будто воочию увидела профессора, будущего родственника, конечно, чуть сутулого, в очках, с седеющим ежиком

волос, увидела и других его коллег, и даже младшего сына, аспиранта. Представила и пышный банкет. Перед глазами Кабировой-апа возникла даже кумачовая трибуна... И на мгновение она представила себя участницей этого пышного торжества. Ее сломленный недавними испытаниями дух словно бы сладостно воспарил, сердце переполнилось радостью.

Но вот беда: ни разу она не думала всерьез о замужестве Насимы, и теперь испытывала какой-то суеверный страх. Она сказала тихонько:

— Дорогая Унсинахон, породниться с такими достойными людьми — истинное счастье, однако... мы пока не собираемся выдавать дочь замуж.

Ападжан, ведь и домулла хочет, чтобы девушка училась дальше и кончила институт. Ей же немного осталось?.. Он и сам говорит: хочется, мол, чтобы наша невестка была образованной, культурной. Сами понимаете, апа, только такой и должна быть невестка, пришедшая в семью ученых...

Унсина-апа лукаво взглянула на подругу и, словно не желая того, подлила масла в огонь:

— Если бы состоялась свадьба, я уверена, нам всем было бы хорошо... Возможно, после этого и нынешние районные руководители,— тоже ведь гостями будут! — лучше вас бы узнали!

— О-о-о,— воскликнула от избытка чувств Кабировой-апа, неуверенно покачивая головой и внутренне замирая от восторга: «...И то верно, стану сватьей самого профессора!.. Это уж непременно так, и пусть пожар опалит жилище моих недругов!»

Давно ушла задушевная подруга, а Кабировой все еще не в силах была сдвинуться с места. Ей виделся огромный весенний сад и в нем церемония свадебного торжества.

Она едва дотерпела до вечера. Муж задерживался, в магазине была очередная ревизия. Поэтому, когда Кабировой услышала наконец под окном его шаги, она в нетерпении бросилась навстречу. Но, к ее удивлению, после сбивчивого рассказа жены, Шомурад-палван рассмеялся:

— Так вот зачем твоя Унсина приходила. Я-то думаю: каким это ветром ее занесло?

И уже серьезно добавил:

— Дочь — чужая добыча, все равно когда-нибудь замуж выдавать придется. Но, по правде говоря, женушка... не очень мне по

душе родниться с такими .учеными людьми. И сын наш, Камаль, я знаю, то же скажет... А в общем — сама соображай!

В один из жарких майских дней их снова навестила Унсина-апа и принесла с собой, как и прошлый раз, большой бумажный сверток сладостей.

— Хочу предложить вам, апа, небольшую прогулку,— сказала она.— Сама соскучилась, и вы, я знаю, скучаете!..

— Это куда же, дорогая Унсина? — оживилась Кабирова.

— В Самарканд поедем,— заговорщически зашептала Унсина.— Одни знакомые давно уже зовут в гости. Воспользуемся случаем, а, отдохнем, мяса у них из тандыра отведаем, разгоним малость тоску? Договорились?

— Уж не знаю, как вас благодарить, дорогая Унсина, я, пожалуй, готова, — счастливо улыбнулась Кабирова-апа.— Такая подруга приглашает меня, разве я могу отказаться? — Про себя она подумала: «Не иначе, она поведет меня в дом профессора!» И снов#в мыслях ее возникли и пронеслись сладостные видения, замерло сердце, а где-то внизу закопошились страх и неверие в возможность удачи. Словно угадав ее мысли, Унсина предложила:

— Захотите — сможем заодно и домулле навесить. Познакомитесь... А какие они с женой милые люди!.. Обещаю, ападжан: вы об этой поездке не пожалеете!

— Хорошо, хорошо,— поспешно согласилась Кабирова-апа.— Но не думайте, я своего решения не изменила и твердого обещания профессору насчет своей дочери дать не смогу... Унсина-апа залиvisto и не очень естественно расхохоталась.

— Ах, дорогая моя, да не беспокойтесь вы! Уверена, до этого еще далеко!

Ушла Унсина, незаметно наступил вечер, пришел с работы Шомурад-ака. И Кабирова-апа тотчас поделилась с ним новостью.

— Ну, женушка, ты помаленьку из ума начинаешь выживать! — муж рассердился не на шутку.— Унсина твоя хочет ввести тебя в дом профессора и по всем статьям окрутить! Чего ради? Наверное, чтобы ему услужить? Иначе зачем бы ей понадобилась эта поездка? Ты столько времени тоскуешь без работы, а разве хоть раз за это время она заглянула к тебе, справилась о твоём здоровье? Скажи? Ну, подумай, не будь это нужно ей самой, пришла бы она к тебе? Как ты думаешь?

«Прав он,— горько вздохнула Кабирова-апа,— прав!» Унсина была

из тех ее приятельниц, которые рядом, когда тебе хорошо, но когда беда, их как ветром сдувает. Ведь ни разу после ее ухода на пенсию Унсина не заглянула к ним, не посочувствовала ей.

Однако желание поехать в Самарканд взяло верх, и, забыв о резких словах обычно молчаливого мужа, Кабирова чуть свет стала собираться в дорогу. Едва проснувшись, она услышала под окнами шум мотора. У дома остановилась «Волга» мужа Унсины. Она сразу узнала ее, раздвигнув оконную занавеску. Куда девались вчерашние сомнения, досада на Унсину за ее нечуткость. Лакированные туфли, темное атласное платье, дорожная сумка, приготовленная с вечера... Что еще?.. Кажется, все, что может пригодиться в такой поездке. И она мысленно подытожила спор с мужем, будто оправдывая собственное упрямство: «Ладно, Шомурад-ака, увидим еще, кто прав!»

На следующее утро, переночевав в Самарканде у подруги Унсины, женщины отправились в гости к профессору Акобирову. Дом его производил впечатление интеллигентной респектабельности — без кричащей роскоши, с достатком, который не бил в глаза, но в то же время создавал необходимую солидность. Когда за женщинами закрылась уличная калитка и они пошли по дорожке, ведущей к дому, Акобиров сразу заметил их, хотя и был занят хозяйственными делами: чинил водопровод. Он пошел навстречу гостям, молодо и широко улыбаясь. Улыбка очень красила его загорелое лицо с живыми темными глазами. «Милости просим, землячки!» — гостеприимно пригласил он.

Эта неподдельная открытость с первых минут покорила сердце Кабировой. И когда вечером за столом гостеприимного профессора собрался кое-кто из ближайших соседей — дружбу с ними Акобировы поддерживали уже много лет, с тех пор, как поселились на этой тихой самаркандской улочке близ университета, — Кабирова так была оживлена, так разругянилась, обретя былую живость и словоохотливость, словно уже и впрямь сидела на великолепном свадебном торжестве, где царствовали она и ее дочь Насима. Сердце ее учащенно билось, губы сами собой складывались в приветливую улыбку, и ей казалось: отныне вся ее жизнь пойдет бок о бок с такими вот милыми, остроумными людьми, какими оказались и ее будущие сват и сватья, и приглашенные по случаю знакомства с нею, Кабировой, гости.

Ни разу в течение вечера не пришла ей в голову мысль, что не ко

двору она тут, что желание профессора женить своего сына на девушке из родных кукташских мест, может быть, просто каприз избалованного славой человека, желание прослыть оригинальным в кругу коллег. Ни разу за весь вечер не подумала она и о дочери, о том, что, приняв сегодняшнее приглашение, уже в какой-то степени легкомысленно решила судьбу Насимы, сделала первый шаг в неизвестность, еще совсем не представляя, кому в жены прочит она свою дочь, что за человек сын этого профессора. Как не заметила и мимолетных иронических улыбок хозяйки дома Шохисты-ханум, когда Кабирова брала хлеб вилкой, а тонкие ломтики сыра — руками, когда чересчур громко смеялась грубоватым шуткам застолья, которые, пожалуй, приличнее было бы вообще не замечать.

В самый разгар ужина, будто невзначай, Унсина сообщила йидящему рядом с ней Акобирову, что, мол, ее подруга Кабирова как раз и есть мать той девушки, о которой она, Унсина, уже гозорила ему. Акобиров радостно закивал в ответ и, повернувшись к Кабировой, сидящей по другую его руку, тут же решил взять быка за рога.

— Что же в таких случаях, дорогая ападжан, полагается делать дальше?..

Снова сердце Кабировой наполнилось гордостью: значит, она произвела должное впечатление здесь, в этом кругу, если профессор так форсирует события. И не задумываясь, ответила:

— Дорогой домулла, если вы, такой уважаемый человек, просите нашу дочь стать вашей невесткой, можем ли мы с мужем отказать?..

Таким образом, вопрос был почти решен, и обе женщины, договорившись, что на следующий день рано утром они поедут навестить Насиму в Андижан, любезно распрощались с гостеприимными хозяевами, которые, в свою очередь, обещали в ближайшее время приехать познакомиться с будущей невесткой и всей ее семьей — благо, у Насимы начинались каникулы и она собиралась провести их в родном Кукташе.

Насима и впрямь приехала домой на каникулы, а следом — за день до визита профессорской четы — прибыл и старший сын Кабировой, Камаль. В доме сразу стало тесно, шумно, многолюдно, радости родителей не было границ. Шомурад-ака, видя оживленное лицо жены, — в последние полгода он отвык от этого, — радовался перемене; но где-то в глубине души грыз червячок сомнения: слишком веселой вернулась жена из Самарканда, может быть, она продолжает свою

свадебную затею?.. И в самом деле, едва сели обедать, Кабирова заговорила о предстоящей помолвке как о деле решенном. Насима, не ведавшая, что ее судьба почти решена, побледнела и едва слышно произнесла:

— Как же так, мама...

Неожиданно повысил голос Камаль.

— Как это получилось, мама? Откуда пошли такие разговоры? Не принято сейчас так поступать, ведь Насима даже не знает этого человека! Разве она вам в тягость?.. А у тебя, сестренка, есть кто-нибудь на примете? Ну, кого ты избрала в душе, кто тебе нравится, скажи нам об этом, не стесняйся. Может, любишь уже кого? Ты скажи, я ведь твой брат! Сейчас же поеду и откажу им!

— Не надо, акаджан! — умоляюще сложила ладони Насима.

— А как же насчет сына Самада-олифты? По-моему, ты к нему равнодушна, а? Или я ошибаюсь?

Насима вспыхнула:

— Нет, нет, что ты! — Ее пальцы нервно вздрагивали, Камаль видел это.— Ведь мама так хочет...

Брат знал, какой послушной росла сестренка. Она никогда и ни в чем не перечила родителям, а мать просто боготворила, и Камаль сразу подумал: все его доводы впустую — как мать скажет, так Насима и поступит. «Господи,— подумал Камаль,— ну почему она такая робкая, нерешительная. Росла вроде свободно, никто ею всерьез и не занимался, мать и отец вечно на работе. Откуда эта угнетенность, подавленность? Вон какие у нее бойкие подружки, пальца в рот не клади, одна другой шустрее. А эта — «как мама хочет»...» В сердцах Камаль даже топнул ногой — так уж у него получилось.

— А, да мне-то что, в конце концов! Что я уговариваю, ведь тебе с ним жить! Подумала ты об этом? Уже взрослый человек, институт заканчиваешь... Мое дело сторона, приехал и уеду. А ты, сестричка, еще не раз вспомнишь о нашем разговоре, помяни мое слово...

Кабирова обстоятельно объяснила сыну, как все получилось, но упрямец не сдавался, и голос его, теперь уже слишком громкий, неприятно поразил ее слух.

— Да какое это имеет значение, профессор он или нет? Хоть академик! Это его личное дело... Вы понимаете, мама. Насима совсем не знает этого парня! И мне не по душе родниться с людьми, которых мы тоже не знаем!..

— Сынок, ты еще молод. Не знаешь жизни, как и твоя сестра...— попыталась было прервать его мать, но Камаль, словно не слыша, продолжал:

— ...И вообще, я считаю бестактным навязывать На-сима мужа против ее желания. Отец, вы-то как думаете?

Шомурад-палван молча кивнул в знак согласия.

После обеда Камаль, не успокоившись, поднялся на балахану к сестре. Они сели рядом, он обнял ее за плечи.

— Вроде вот-вот должны прибыть твои будущие родственники? Так мать говорила... Давай в двух словах, между нами, что ты сама-то об этом думаешь?

— Не знаю!..— голос Насимы был вял и безволен.

— Да пойми ты, решается твоя судьба, малышка. А ты — «не знаю!». Кто же должен знать-то, как не ты? — наседал Камаль.

— Не знаю!..— едва слышно повторила сестра.

Помолвка состоялась в тот же день. Насима все время молчала. Жених, долговязый парень, тоже не отличался разговорчивостью; как и его будущая жена, он послушно исполнял волю родителей. Свадьбу решили сыграть, как только Насима получит диплом. Камаль, окончательно поссорившись с матерью, на следующий день первым автобусом уехал в Ташкент.

Кабирова, конечно, затаила обиду на сына. Правда, она тешила себя мыслью, что сын вспыльчив, но и отходчив, как она сама, он еще образумится и станет ее союзником в осуществлении заветной мечты. Теперь она уже не сомневалась, что время это близко. В самом деле, не прошло и месяца после помолвки, как снова появилась Унсина.

— Ападжан! Меня просто одолевает супруга домоллы. Каждый день мне звонит! Говорит, что Насима ей очень понравилась. И спрашивает, нельзя ли все-таки поскорее сыграть свадьбу? Ведь у них в Самарканде пединститут ничуть не хуже андижанского, вот и будет там заканчивать учебу...

— Дорогая Унсина, я понимаю и нетерпение, и... но мы же договорились...

В конце концов Кабирова и тут уступила, ибо ее желание целиком совпадало с желанием родителей жениха. И в начале сентября в Ташкент Камалю уже летела телеграмма с приглашением на свадьбу Насимы.

Так уж принято — на свадьбу денег не жалеют. Оправдание одно:

пусть запомнится! И еще: чем мы хуже друзей, родственников. И летят тысячи и тысячи на свадебный стол, на приданое молодым,— деньги, заработанные десятилетиями нелегкой работы. Родители, как пчелы, добросовестно копили, откладывали по копейке, отказывая себе порою в самом необходимом. Пусть детям будет хорошо! Разве для детей что-нибудь жалко? Пусть детям хорошо будет, чем бы ни обернулось это расточительство...

И свадьба Насимы с Азатом прошла богато и пышно. Даже в два приема, сначала в Кукташе, потом в Самарканде. В кишлак, как и обещала Унсина, съехалось все районное начальство. Рядом с Кабировой сидел первый секретарь райкома товарищ Ибрагимов. Подумать только — он подливал ей вина, их бокалы постоянно соприкасались, и Кабировой не терпелось тут же, немедленно, начать разговор о своих делах. Но что-то все-таки ее удерживало. Только раз за время свадьбы случился небольшой конфуз. Пришел Самад-олифта, давний друг и сосед по улице, пришел сильно под хмельком и стал скандалить у ворот. Господи, ну кто мог подумать, что этот баран Самад станет выкрикивать такие бранные слова в адрес Кабировых! А его жена, оглушенная звуками свадебного бубна и громкими песнями, горько плакала в это время у себя дома, жалея своего единственного сына... Но Кабирова не знала этого. Соседей не пригласили на той, а сильно подвыпившего Самада не пустили даже на порог.

И в Самарканде свадьба прошла с не меньшей пышностью. Сидевшая во главе стола на почетном месте Кабирова по-настоящему блаженствовала. Только Шомурад-ака покидал пиршество несколько раздраженным. Причина этого раздражения выяснилась позже. Уже отъехав от дома новых родственников на почтительное расстояние, он нарушил обычное молчание.

— Хоть и живут они зажиточно, а жадные,— резюмировал он.— Глянь на халат, что мне подарили: едва до колен! Я что, нищий какой, я все же отец невесты!.. И свекровь нашей Насимы мне не понравилась, чую, ядовитая она баба!..

Кабирова на сей раз благоразумно промолчала.

А на следующий день после Свадьбы дочери, встав рано утром и одевшись попроще, — в платье, что в последнее время неизменно носила на работу, Кабирова отправилась в райком.

— Вот и выросла ваша дочь, своей семьей обзавелась, еще раз поздравляю, в очень достойную семью она вошла! — такими словами

встретил ее Ибрагимов.— А вы сами, похоже, снова изнываете без работы после свадебных хлопот? Ну, что решили после нашего разговора? Я думал, появитесь через, месяц-другой, а уже почти год прошел. Какую работу себе подобрали, чем могу помочь?

Кабирова сначала просто оторопела от этих слов, потом изменилась в лице, покраснела, ее будто хватил столбняк, она не в силах была ни шевельнуться, ни звука из себя выдать. После всего, что произошло, после того, как Ибрагимов сидел с нею рядом на свадьбе, стал, можно сказать, своим человеком в доме,— и такой прием!.. Да он должен был...

Она не успела подумать о том, что же должен был сделать секретарь, как безудержные рыдания вырвались сами собою. Захлебываясь слезами, Кабирова прошептала:

— Что я худого сделала людям? Что? И вам тоже?..

Больше она не в состоянии была терпеть это издевательство. Резко поднявшись, выбежала из кабинета и всю дорогу до дома, не вынимая из сумки платка, тыльной стороной руки вытирала градом катившиеся слезы. Войдя в дом, она почувствовала невыносимую головную боль.

— И зачем только... я не умерла, бедная...— причитала она.— Хоть бы Камальджан, мой сыночек, приехал меня навестить! — рыдала она уже в голос.— Позовите моего сына, дайте взглянуть на моего Камальджана...

Шомурад-ака долго не мог понять причины горьких слез жены, а узнав в чем дело, пытался ее успокоить. Но жена твердила одно и то же: только приезд Камаля поможет ей избавиться от мук, вернет душевный покой. И Шо-мурад-палван написал в Ташкент письмо, которое заканчивалось такими словами: «...Если срочно не приедешь, боюсь, не увидишь больше мать».

Камаль после злополучной помолвки дал себе зарок никогда больше не появляться в родном кишлаке. Не приехал он и на свадьбу, хотя жена его и уговаривала; но теперь получив отцовское письмо, испугался не на шутку. Мать все-таки! Мать!.. Несколько раз перечитал он последние строки, написанные дрожащей рукой отца, и, против воли, чувствовал, что жалеет его, а не мать. Сколько он помнил себя, отец всегда находил для него ласковое слово, заботился о нем, стирал, гладил, кормил, хотя на работе проводил целые дни. Теперь Камаль тоже старался вникать в дела своего сына (тот пошел уже в школу), хотя жена Камаля, не в пример Кабировой, была рачительной хозяйкой и доброй матерью.

Но мать, конечно, было жалко. И Камаль, отпросившись с работы на три дня,— это стоило ему немалых трудов: в институте, где он преподавал, сессия была в самом разгаре, — поехал в Кукташ. Кабирова не вставала с постели уже несколько дней, но заслыша шаги сына, безошибочно угадала, что это он, протянула ему навстречу руки, обняла, расплакалась.

Под вечер Шомурад-ака с Камалем долго сидели на ступеньках веранды, и Камаль согласно кивал в ответ на слова отца.

— Сын мой, что было, то прошло. Ты ведь знаешь, сестра твоя ни в чем не виновата. Ты должен навестить ее. И свекровь, и свекор, и муж Насимы спрашивают у меня все время о тебе. Нехорошо как-то... Ты навести их. Как-никак единственная сестра... И живет у чужих людей...

«Да чем она виновата передо мной? — спрашивал себя п Камаль,— Тем, что вышла замуж не по любви? Так от этого сама больше всех страдает. Виновата мать, что связала с этим браком бог знает какие свои надежды... Виновата Насима, что покорилась... А теперь всем плохо, и к чему искать виновного, когда все уже свершилось? И не поправишь...» Словом, Камаль пришел к выводу, что сестру навестить просто необходимо. Ведь и правда, его нарочитое отсутствие могло породить разные, не в пользу сестры, кривотолки. К чему усугублять ее и без того трудную долю...

Узнав о намерении старшего сына поехать в Самарканд, Кабирова, перевозмогая головную боль, тотчас поднялась в постели.

— Я сама отвезу Камалю! — решительно отвела она все доводы мужа, уговаривавшего ее не делать этого ради ее же собственного здоровья. Как всегда, она настояла на своем, и уже на следующее утро Шомурад-палван провожал ее, поддерживая под руку до автобуса.

Впервые появившись в доме Акобириных, Камаль по-своему оценивал все и всех. За простецкой сердечностью и веселым нравом профессора ему виделись постоянная преднамеренность и заданность поведения. Жена же профессора казалась плохой актрисой, разыгрывающей с собственным мужем заранее продуманные мизансцены. И под постоянным испытующим, как показалось Камалю, взглядом этой пары жизнь невестки явно не ладилась. Насима сильно исхудала, глаза стали еще больше, под ними чернели тени, появились морщинки. А еще недавно ее лицо было таким юным и свежим!.. Не пришелся по душе Камалю и муж Насимы. Он просто выходил из себя всякий раз, когда этот худощавый верзила, любящий сын, вскакивал

из-за стола, едва мать выходила и входила в комнату. И, хотя он не услышал от сестры ни единого слова жалобы, но видел, что она мучается этим бессильным своим молчанием, невозможностью выговориться. Камаль был уверен, что это так. Хотя, попробуй он сам заговорить, что бы он сказал?.. Акобиров был неизменно приветлив с невесткой, помог ей перевестись в Самаркандский пединститут на биологический факультет, как и обещал. Что жена профессора глядела на невестку свысока?.. Но так она смотрела на всех окружающих, за исключением разве что мужа, к которому обращалась всегда с подчеркнутой учтивостью. Как разозлился Камаль, когда, выходя из дома, заметил: во дворе все еще стоит его подарок, привезенный утром,— плетеная корзина, в которой, он преподнес хозяйке отрез ханатласа. Ему вспомнилось, как он добывал этот атлас, как ежедневно наведывался в универмаг. Когда он, с трудом сдерживаясь, сказал об этом матери, она вся как-то сжалась, пытаясь оправдать сватью:

— Наверное, закрутились, забыли забрать... Не обижайся, все мы люди.

Он ничего не сказал, а ведь готов был опять разругаться с матерью. «Конечно,— думал он,— мы совершенно чужие в профессорской семье. Все мы, и Насима тоже. Нету в них душевного тепла, нету...»

И, уже сидя в автобусе, не мог удержаться от вопроса:

— Ну, матушка, вы рады наконец? Насима устроена, у нее знаменитый свекор, вот, скоро и квартира у молодых своя будет, мне сказал ее муж, кооператив им покупает профессор...

Лицо Кабириной скривила страдальческая улыбка.

— Конечно, рада, сынок. Твоя сестра попала в хорошую семью. Она... по-моему, вполне счастлива.

Камаль горько усмехнулся.

— Вам-то, мама, какая корысть от этого брака? Не понимаю я что-то!..

Отвернувшись от Камалю к окну, мать заплакала. Там, за стеклом, проносились такие знакомые с детства пейзажи. Одинокий карагач. Как она сейчас похожа на него!.. Овеваемый со всех сторон ветрами, стойко выдерживал он палящее солнце и непогоду, не требуя помощи, не моля о живительной влаге. А там, ближе к горизонту — угрюмые горы, на которых обнажились известковые породы... Как же постарела ее душа за это время... Как устала! И когда перед ее мысленным взором пронеслись такие уже далекие мгновения ее жизни, как она, верхом на

коне, легко взбиралась на эти горы по извилистым скользким тропкам, как с горячими речами выступала с трибун — сколько их было в ее жизни,— как гордым руководящим оком взглядывала порой на односельчан, она впервые подумала, что навсегда прошло то время, и любая попытка вернуть его только укоротит ее завтрашний день. Да, то, ее время, было иное. А нынешнее требует от человека знаний, чего у нее нет... И, по правде говоря, не было. Одного опыта теперь мало. Даже и молодости одной недостаточно, и сил, и желания делать дело. Эти знания-то и есть у молодой Гулямовой... Ну и пусть поработает, заключила мысленно Кабирова. Она хотела добавить: «Посмотрим еще...» — и оборвала себя. А неделю спустя Кабирова решительным шагом вошла в приемную Ибрагимова, записавшись на прием сразу по приезду из Самарканда. В одну из бригад лесхоза срочно требовался бригадир. Об этом она и собиралась поговорить с секретарем райкома. Но не хотела писать заявление. Хотела сказать ему все это лично.

1981

Уткур Хашимов
р.1941

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ

— Мама собралась уезжать...

Хуршид поднял голову от чертежа на письменном столе и, будто не понимая слов жены, удивленно на нее посмотрел. Назира, появившаяся в дверях комнаты, вытирала пухлые руки о подол фартука, одетого сверху выходного атласного платья.

— Куда же она поедет в такое время, ведь уже поздно?..

— Говорила я ей,— лениво произнесла Назира,— склонив голову набок,— но все бесполезно.

Хуршид взглянул на часы, примостившись на полке книжного стеллажа, занимавшего всю стену.

«Однако уже шесть... Может, успею до вокзала и обратно?»

И нерешительно произнес:

— Не подбросить ли мне мать на машине?..

Назира пожалала плечами, продолжая вытирать руки о фартук, он не видел ее глаз, она избегала смотреть на него.

Он хорошо знал, ее опущенные ресницы всегда выражали несогласие: Хуршид до тонкостей изучил характер жены. Главное для нее было во что бы то ни стало настоять на своем, из-за этого то и дело вспыхивали поначалу мелкие, а последнее время все более серьезные размолвки.

— А домла не обидится? — холодно, но настойчиво напомнила Назира.

«Конечно, обидится! — подумал Хуршид, нерешительно поднимаясь из-за стола, и тут же споткнувшись об угол завернувшегося ковра, мысленно выругался: «А, черт, как во дворце шаха, и на полу, и на стенах, кругом ковры, дышать нечем!»

В прихожей маленькая сухонькая тетушка Фазилат, как звали ее в кишлаке, мать Хуршида, сидела на краешке кресла, обхватив руками узелок. Видно, она так сидела давно, словно дожидаясь чего-то и не решаясь беспокоить сына.

Как постарела его мать! У Хуршида сжалось сердце. Будто она стала даже ростом меньше, на лице, обрамленном темным шерстяным платком, прибавилось морщин, под глазами набухли мешки, явный

признак нездоровья.

— Приезжаете, мама, раз в год,— в сердцах вырвалось у него,— и сразу обратно... Словно в чужой дом...

Хуршид обиженно нахмурился.

Старушка с трудом поднялась с кресла, прижимая к груди узелок будто невесть с какими драгоценностями.

— Сестренка твоя, Мавлюда, одна там, сыночек, ты же знаешь, я не могу ее надолго оставить.

— Мама! Мавлюда уже не маленькая, останьтесь еще хоть на денек, я очень прошу вас!

Хуршид умоляюще взглянул на мать, но тут же понял, проси не проси, мать все равно не останется.

— Никак не могу привыкнуть к вашим городским домам, сынок, ты уж прости меня, старую. Тесно мне здесь, дышать трудно...

«Вот-вот, и матери трудно здесь дышать!» — подумал Хуршид.

— Ну ладно, раз уж решили, давайте я хоть отвезу вас на вокзал,— неуверенно предложил он, оглядываясь на жену, но тотчас почувствовал, что предложил скорее для приличия, нежели искренне. Назира молчала, лишь многозначительно постукивала пальцами по циферблату золотых часиков на руке.

— Не надо, сынок! — улыбнулась тетушка Фазилат, будто разом ощутила холодную отчужденность невестки и ту борьбу, которая шла в душе ее сына.— Не надо,— повторила она,— Чиназ ведь не за горами, и мне не впервой туда добираться.

Народа на автостанции было немного. В углу небольшого застекленного вокзала, притулившись возле своей поклажи, в низком кресле дремал какой-то старик. Чуть поодаль женщина с усталым лицом, покрасневшими глазами кормила грудью ребенка. У окошечка кассы весело переговаривались три молоденьких девушки. Старик то и дело просыпался от громкого голоса диспетчера, объявлявшего номер рейса и время отправления очередного автобуса. Тетушка Фазилат купила билет, до отхода автобуса еще оставалось время, и она решила выйти на улицу: ей стало вдруг отчего-то очень тоскливо в полупустом зале автовокзала.

Короткий зимний день был на исходе. Почти совсем стемнело. В тусклом свете горевшей на портале автовокзала лампочки слабо мерцал на ветках акаций выпавший недавно снег. Темнело шоссе, там снег всегда быстро таял, а берег арыка, тянувшегося вдоль обочины

шоссе, сохранял свою белизну. Мальчишка лет семи упрямо пытался пробить лед, сковавший арык. У подножья ступенек, ведущих в автовокзал, сидела женщина и продавала горячие манты. Мельком взглянув на мальчишку, долбившего лед, зло прикрикнула:

— Сапоги порвешь, негодник, чтоб ты провалился!

Тетушка Фазилат, подождав, когда женщина перестанет браниться, заступилась за мальчишку.

— Не ругай ребенка, милая! — голос ее дрогнул. — Не ругай!

— А вы не вмешивайтесь не в свои дела! Были бы на моем месте... А, да что там... И папаша его тоже хорош... Ни копейки в дом! Все пропивает! Они-то мне жизнь и сгубили! Чтоб им обоим пропасть! — не на шутку разошлась женщина.

Тетушка Фазилат промолчала. «Благодарила бы лучше бога, что сыном наградила! — думала она, идя к автобусу. А ведь и так случается: кто-то все готов отдать, чтоб вот такой мальчишка родился, а бог детей не дает».

Вот и ее сын, Хуршид, страдает, что у них с Назирой нет детей. Наверное, отчасти и это было причиной постоянных разладов в семье сына. Потому-то ей так тяжело там бывать. А еще и потому мать редко навещалась в гости к сыну, что всякий раз, бывая у него, испытывала какое-то странное ощущение, будто она находилась не в доме, предназначенном для повседневной жизни, а в ювелирном магазине: куда ни повернись, того и гляди сломаешь что-нибудь или разобьешь или не там пройдешь...

Свернув на бетонку, ведущую в Чиназ, автобус набрал скорость. То ли от усталости, то ли от тепла, блаженно разлившегося по телу, пассажиры дремали. Тетушка Фазилат удобно устроилась на переднем сиденье, ровный гул мотора успокаивающе действовал на нее, спать не хотелось, и она смотрела в окно. Небо очистилось от облаков, и поблескивающая в вышине луна словно съежилась, побледнела от холода и неотступно следовала за автобусом. Покрытые снегом поля, белые деревья, безмолвно кружились в каком-то волшебном танце под тусклым лунным сиянием.

Сколько раз за свою долгую жизнь тетушка Фазилат ездила по этой дороге! Верно говорится, судьба играет человеком. Захочет — повернет так, захочет — эдак... Но человек многое терпит на своем веку, ко всему привыкает...

Когда муж ушел на войну, осталась она одна с Хуршидом. Тяжко ей

приходилось. Но недаром говорится — небо высоко, а земля тверда. Однажды соседка посоветовала молодой матери: «Крепко держись, Фазилат, за свою корову. Продавай молоко в городе, глядишь, и перебьешься как-нибудь».

Хороший, справедливый человек был председатель колхоза в войну, разрешил ей ездить в город, но с одним условием: чтоб до полудня была она в поле.

И вот тетушка Фазилат с бидоном молока или катыка каждый день в половине пятого утра садилась в поезд на разъезде, где он стоял меньше минуты, и быстро добиралась до Ташкента. Там, на оживленных улицах, бойко покрикивая «Ки-и-с-лое мо-о-локо!», она живо продавала или обменивала на хлеб или крупу свой товар. Голодное было время, в Ташкенте жило много эвакуированных семей, ни у кого не было достатка и почти в каждой семье маленькие дети. В обмен на молоко давали крохи, у кого что было. Всему была рада тетушка Фазилат. Возвращалась в кишлак то на поезде, то на попутной арбе и тут же, без отдыха, взвалив на плечо тяжелый кетмень, шла в поле.

Хуршид был на редкость спокойным ребенком. Иногда целыми днями лежал в люльке возле сандала, будто не по возрасту Понимая, что иного выхода нет. Постепенно тетушка Фазилат обзавелась в городе постоянными клиентами, и теперь ей не приходилось тратить много времени: разнесет молоко и домой.

Ей не забыть, как однажды тяжело заболел Хуршид, у всякой матери это одно из самых тяжелых воспоминаний. Так и у Фазилат. Помнит, будто вчера это случилось, как всю ночь метался ребенок в жару, простудился, должно быть. Глаза сомкнула лишь под утро. А когда прибежала на разъезд, поезд уже отходил. Что было делать? Не попадешь в город, можешь лишиться постоянных покупателей. Только к полудню добралась она до Ташкента: половину дороги на арбе, вторую пешком по снегу в галошах на босу ногу. Проклятый снег то и дело набивался в галоши, ноги сводило судорогой. Наверное, тогда и нажила себе ревматизм, надолго слегла в постель. И если бы не соседи, неизвестно, что бы с ними стало.

Но, как говорится, пятнадцать дней месяца темны, зато остальные — светлы. Вот и настали светлые дни: кончилась война, муж вернулся, хоть и раненый, но живой. У других и этого не было. Хуршид в школу пошел. А вскоре и дочка родилась. Мавлюдой назвали. Но недолга была

радость тетушки Фазилат, умер от ран муж, такое нередко после войны случалось. Теперь все надежды она связывала со своим сыном. Хуршид стал ученым человеком. Так и муж говорил ей, пусть, мол, учится,мышленный растет мальчик. Так и учительница позже в школе говорила — способный.

Размечталась однажды тетушка Фазилат. Вот и школу уже кончает ее сын, и институт одолеет, потом женит его на самой симпатичной и доброй девушке кишлака, такую свадьбу справят, что надолго всем запомнится. Но, как говорится, человек предполагает... Не суждено было сбыться этим ее мечтам. Конечно, нельзя сказать, что они вовсе не сбылись. Институт-то Хуршид окончил, но в Чиназ не вернулся. Сказал, что хочет диссертацию защитить. Ну, диссертацию так диссертацию, не очень-то разбиралась тетушка Фазилат в тонкостях науки, но раз сын так захотел, разве она против, тем более что речь идет о науке. Но тут вдруг сын женился. Невесту нашел себе городскую. И свадьбу сыграли не так, как мечтала Фазилат, не в кишлаке, а в городе. Соседи посмеивались тогда: мол, сынок-то оказался примаком, в доме тестя живет. Хотя она готова была сквозь землю провалиться, настолько невыносимы были эти насмешки, но вида не подавала. И стойко отражала эти нападки — пусть-ка ваши детки, уважаемые соседи, попробуют стать учеными, а что касается квартиры, так вранье это все, у него своя есть, в гостях была, видела.

Слава богу, за Хуршида она спокойна. Теперь и жена у него есть, красавица да умница, тетушка Фазилат уверена в выборе сына, и квартира на зависть многим. Недавно вот и машину купил. Только редко, ох как редко стала навещать она сына. Но это ничего, она же не одинока, у нее, есть дочка, Мавлюда, а ведь дочь всегда ближе матери, недаром... И тут ей на ум снова пришла пословица, она так много их знала, на все, почитай, случаи жизни, что, как ни горько, сын — отрезанный ломоть...

Заскрипели тормоза, и автобус остановился, прервав воспоминания тетушки Фазилат. Взглянув в окно, она удивилась: как быстро они сегодня доехали. Когда же вышла из автобуса, почувствовала, как болезненно сжалось вдруг сердце. «Отчего бы это? — и неясное беспокойство овладело ею.— Здорова ли Мавлюда? Ведь как- никак три дня не была дома. Мало ли что...»

Скользя по утоптанной тропинке, Фазилат быстро шла к дому. Тревога не оставляла ее ни на миг, наоборот, продолжала расти так, что

уже она почувствовала боль около горла и глухие удары сердца ощутила. Но вот наконец и дом ее совсем близко, вот уже она увидела издали свет в окне. Все вокруг дышало покоем и тишиной, Фазилат замедлила шаги, заставляя успокоиться себя, умерить перебои в сердце. У двери она остановилась, еще раз чутко прислушалась, но нет, все было спокойно, ни звука не доносилось из дома. Тогда она, прислонившись спиной к двери, облегченно вздохнула и кончиком платка вытерла пот, проступивший на лбу.

Хуршид никак не мог подняться с кресла, на котором только что сидела Фазилат. Он мысленно представлял себе весь путь матери от своего дома до автовокзала, куда надо было добираться еще одним автобусом. Представлял, как она, обхватив руками узелок, в котором были покупки для Мавлюды, сначала мерзнет на остановке, потом на автовокзале в ожидании рейса на Чиназ. Его мучило запоздалое раскаяние, он ругал себя за то, что всегда в конце концов поступает так, как хочет Назира.

Жена сидела перед зеркалам и, прихватив губами шпильки, укладывала волосы в замысловатую высокую прическу и наблюдала за мужем. Потом, словно спохватившись, поднялась, вышла в прихожую, изобразив на лице неподдельное удивление:

— Как, вы до сих пор еще не готовы? Как же мы будем выглядеть в глазах домлы, если явемся к нему словно гости?

Хуршид, нахмурившись, поднялся.

— А что так торопиться? Что я— мальчик на побегушках?

Поднятая рука Назиры, в которой она держала последнюю шпильку, долженствующую закрепить на ее голове окончательно то, над чем она столь долго трудилась у зеркала, замерла в воздухе. Нахмурившись, она смотрела на мужа не мигая. В ее глазах застыло холодное удивление. И, хотя на сей раз он не услышал от нее ни единого упрека, он прекрасно знал, что она хотела сказать.

Да, да, да, Хуршид был должником Фаиза Махмудовича. Конечно, домла сделал для него больше, чем родной отец. А сегодня у домлы такой день, он защищает докторскую диссертацию. И вчера попросил Хуршида и Назиру распорядиться насчет банкета. Да, он так и сказал, что лучше, чтобы они встречали гостей в ресторане, пусть даже на защите не присутствуют... Вот так. И еще Фаиз Махмудович попросил, чтобы Хуршид был на машине, потому что после банкета кое-кого надо будет отвезти домой...

И Хуршид сегодня носился целый день как угорелый. Теперь должен ехать в ресторан, встречать гостей. А его старая мать должна была сама добираться до автовокзала. Но разве он мог ей рассказать об этом? Разве она это поняла бы?..

Чуть ли не бегом спускаясь по лестнице, он снова подумал о матери. «Мама тоже хороша... приспичило ей ехать именно сегодня».

Войдя в гараж, Хуршид открыл дверцу «Москвича». Теперь он спешил, но мотор не заводился, видно, переохладился. Он иступленно выжимал газ. Кстати сказать, неотступно сверлила мысль, что и машина эта приобретена благодаря домле. Нет, сколько бы услуг не оказывал теперь Хуршид Фаизу Махмудовичу, он вечный должник, никогда не расплатится с ним, как бы ни старался. Это теперь становилось совершенно ясно, как божий день..

Началось это давно, еще в студенческие времена. Какая у бедного студента стипендия! Хуршид подрабатывал на товарной станции грузчиком, но, конечно, никто об этом не знал, даже соседи по комнате в общежитии. Не то, чтобы он стеснялся, нет, он с детства считал, что любой труд, честный труд не зазорен. Но ребята, его соседи по комнате, тоже не ташкентцы, получали подкрепление от родителей, ему же мать не могла посылать ничего: подрастала Мавлюда, заработанного мамой едва хватало на них двоих, а он, Хуршид, никогда бы и не взял у нее, зная, с каким трудом она зарабатывала на жизнь. И гордость не позволяла ему признаться, как ему достается то, что другие получали без малейших усилий. Так продолжалось почти все пять лет, пока неожиданно не раскрылась его тайна. Как-то, почти перед самой защитой диплома, он шел на станцию. Уже совсем стемнело. Разгружали контейнер с мебелью. Вдруг Хуршида кто-то дернул за рукав.

— Молодой человек, помогите, да, да, и здесь и дома поднять на этаж, я хорошо заплачу!..

Обернувшись, Хуршид едва не остолбенел от неожиданности. Это был не кто иной, как их доцент, Фаиз Махмудович, не далее как вчера принимавший у него последний экзамен.

— Вы Авазов? Не так ли? — мгновенно вспомнил он, похлопав студента по плечу.— Начинайте грузить! Вот так встреча!

Покончив с делами, в тот день Хуршид засиделся у Фаиза Махмудовича допоздна. Поужинали, и за разговором время пролетело незаметно.

— Вы хорошо подготовились к госэкзамену,— сказал прощаясь

домла,— у вас и знания, и творческая смекалка есть. Что вы думаете насчет аспирантуры? Можно ведь и в заочную, будете работать и учиться.

Через неделю Хуршид был оформлен на работу в лабораторию Фаиза Махмудовича...

Мотор не заводился, и Хуршид совсем разнервничался. Все сильнее и сильнее обуревала его злость на себя, на обстоятельства. Это состояние усугубляла Назира, стоявшая у ворот гаража и нетерпеливо постукивавшая модными сапожками на высоких каблуках. Хуршид почему-то вспомнил сейчас тот день, когда они познакомились. Вот так же шел снег, и будущая жена его была в этой же шубке, которая так идет ей. И сапожки вроде были такие же... На новогоднем вечере он читал монолог Гамлета, который помнил еще со времен школьного драмкружка. И читал, наверное, неплохо, все дружно аплодировали.

На троллейбусной остановке ему показалось, что девушка, нетерпеливо переступавшая с ноги на ногу, улыбнулась вдруг ему. Он не решился заговорить первым, хотя она сразу ему понравилась. Но, видно, в тот вечер взошла его счастливая звезда и девушка первой заговорила с ним.

— Если вы Гамлет,—пошутила она,—то где же ваша Офелия?

, — Офелии... нет,— признался Хуршид. И это было чистой правдой. Он не встречался ни с одной девушкой, главное, убеждал он себя, кончить институт, все остальное придет потом. Сказать по правде, у него и времени-то свободного не оставалось, все отнимала учеба.

В тот вечер он узнал, что Назира учится в политехническом на химфаке.

Наверное, и ей приглянулся высокий серьезный Хуршид, а уж про него и говорить нечего, он влюбился, как говорится, с первого взгляда. С того вечера он и дня не мог прожить без нее. Они часто виделись, и как-то Назира, несколько смущенно, призналась, что в доме от свах нет покоя и что родители не против были бы выдать ее замуж, но, конечно, с ее согласия... В смятении, охватив шем его, Хуршид не знал, что и предпринять, что ответить на признание девушки. Он не готов жениться, это было ясно, откуда студенту раздобыть денег даже на очень скромную свадьбу. Семья Назире более чем состоятельная, он об этом догадывался хотя бы по тому, как девушка была одета, как никогда не умела отказывать себе ни в чем. Она не раздумывая покупала понравившуюся ей вещь, в то время как он сам дорожил

каждым рублем. В отчаянии он однажды открылся во всем Фанзу Махмудовичу.

— Познакомьте меня со своей невестой,— предложил домла.

.И на этот раз, как считал Хуршид, счастье улыбнулось ему. Оказалось, что отец Назиры, ответственный работник районного управления торговли, был старым знакомым Фаиза Махмудовича. И, конечно, отец ничего не пожалел для единственной дочери. Куда уж там было тетушке Фазилат тягаться с новыми родственниками! Хуршид ходил сам не свой, видя, как мать Назиры старалась односельчан Фазилат и Хуршида посадить в самом конце свадебного стола; но что тут поделаешь, все решали родственники невесты.

И Хуршиду припомнилось расстроенное лицо матери, которая чуть ли не на следующий день после свадьбы сразу уехала домой. Почти как сегодня... Ни слова не сказала сыну...

Стартер по-прежнему не давал искры, и Хуршид свою злость неистово вымещал на машине. Наконец, уступив яростному напору хозяйской руки, мотор заработал, и Хуршид вывел машину из гаража. Облегченно вздохнув, Назира села рядом, но не сдержалась:

— Пропади пропадом всё, мы опаздываем, посмотри на часы! Черт, неужели отец подсунул нам неисправную машину?

«Ну, опять двадцать пять!..— Хуршид, бегло взглянув на часы, прибавил скорость.— Будь неладна и машина ваша и деньги!»

Известно, человек за рулем должен быть внимательным. Но на этот раз Хуршид не мог сосредоточиться. Он не мог избавиться от накопившегося раздражения, не мог забыть последнее свидание с матерью, мучили угрызения совести перед нею. Снова и снова вспоминалось недавнее...

Вскоре после свадьбы многое стало удивлять его. Знакомые жены, которых она называла не иначе как высшей аристократией. Разговоры тестя и его близких, которые не шли дальше проблемы: кто сколько получает, у кого какой марки машина, в каком магазине можно приобрести пятисотрублевые серьги, как доставить из Риги модный столовый гарнитур... Среди этих людей — смешно сказать — Хуршид казался себе подопытным кроликом, запрятым в клетку, откуда нет выхода. Он все больше увязал в неоплатных долгах перед родственниками жены и мучился от этого. Росла в нем тоска по прошлому, тянуло бросить все и уехать в кишлак, к матери, но желание это становилось с каждым днем все невыполнимей: еле успевал с

делами в городе.

Часто во сне ему виделся родной дом, будто снова он мальчишкой, растянувшись на берегу канала, греется под лучами радостного весеннего солнца. Наплававшись до изнеможения, сощутив глаза, он смотрит на солнце до тех пор, пока перед глазами не «вспыхивает множество фиолетовых кружочков. И эти солнечные зайчики наполнили его неизъяснимой радостью, с этим ощущением он и просыпается, и оно живет в нем еще долго-долго, пока в этот сладостный сон не вторгается реальность грядущего дня, и тогда одна-единственная мысль не дает ему покоя: с каким удовольствием он променял бы сейчас все что есть у него на то невозвратимое время...

Машину тряхнуло, подбросив на выбоине асфальта, которую Хуршид не заметил, он запоздало свернул на обочину дороги, не сбавляя скорости.

Да, всего полгода он водит машину. И опять же благодаря Фаизу Махмудовичу, который как-то, то ли в шутку, то ли всерьез, спросил его тестя, почему бы не купить зятю машину. Появился «Москвич», появились новые заботы. А знакомые жены все чаще задают ему вопрос, когда же он защитит диссертацию. Уже позади три года аспирантуры, а конца работе нет. Видно, за слишком сложную тему взялся. А выше головы не прыгнешь. Слова эти все чаще приходили ему на ум. Ошибся в нем Фаиз Махмудович, ошибся, пророча ему научное будущее. Он мог признаться только самому себе, что был лишь и сноли и те л ем чужой воли и чужих идей, правда, пунктуальным, работоспособным, но исполнителем. Но если этот воз ему не по силам, почему он не дает дорогу другим, которые не только хотели, но могли бы стать творцами. Разве мало у них в институте таких, как он, случайно попавших в науку, которые до седых волос будут на побегушках у своих научных руководителей? Да вот взять хотя бы то, что предстоит сегодня ему. Фаиз Махмудович защитит докторскую, а он, Хуршид, будет в ресторане обслуживать гостей на банкете, развозить их по домам...

Горькие мысли его внезапно прервал сильный толчок и последовавший за ним сильный удар, сопровождаемый пронзительным криком Назиры. Хуршид мертвой хваткой вцепился в руль и повернул голову направо: Назира, согнувшись в три погибели, прижимала руки к лицу.

«Авария!» — эта мысль молнией пронзила мозг, и он резко

повернул руль вправо. Но тот не слушался его: машина по какому-то, одной ей ведомой закону, стремительно продолжала двигаться поперек дороги. Молниеносно обернувшись туда, откуда, как ему казалось, исходила эта неведомая сила, Хуршид увидел огромную махину самосвала, упершегося в бок его «Москвича». «Сейчас мы перевернемся и самосвал раздавит нас!» — с ужасом пронеслось в голове Хуршида, съезжившегося от страха. И в этот страшный миг перед его глазами встала мать. Должно быть, прошло несколько мгновений, но они показались ему вечностью. Наступила внезапная тишина. Самосвал замер на месте, «Москвич» Хуршида, словно накрепко припаянный к нему, дернулся в последний раз и тоже встал.

На лбу Хуршида выступил холодный пот, руки словно одеревенели и не слушались его.

— Не бойся,— нашел он в себе силы успокоить Назиру и обнять ее за плечи.— Не бойся! — увереннее повторил он,— ведь самое страшное позади... остались живы...

Назира, уже пришедшая в себя, отвела его руку. Лицо ее, блее мела, исказилось от страха, губы дрожали, и она вдруг разрыдалась.

Хуршид толкнул было дверцу, чтобы выйти из машины, но она не поддавалась, вогнувшись внутрь кабины и крепко зацепившись за сиденье.

— Открой свою дверь, попробуй! — попросил он рыдающую Назиру.

Жена в полубморочном состоянии, кое-как с его помощью открыв свою дверцу, нетвердым шагом вышла из машины, с трудом добрела до ближайшего телеграфного столба и без сил опустилась на кучу снега. Хуршид, едва передвигая ноги, обошел машину. В этот момент дверца самосвала с грохотом отворилась и на дорогу прыгнул молодой парень, бледный, с безумно бегавшими от страха глазами.

— Вы живы? — Он подбежал к Хуршиду чуть не плача. Тяжелое дыхание мешало говорить, тоненькая ниточка усов на верхней губе судорожно подрагивала.

Хуршид молча кивнул ему, посмотрел на «Москвича», бок которого был изрядно помят, вдребезги разбито боковое стекло. Странное дело, он нисколько не огорчился: помятая и разбитая машина напоминала его самого, и Хуршид горько усмехнулся.

Как всегда случается при дорожных происшествиях, откуда ни возьмись, набежал народ. Хуршид глазами отыскал Назиру, теперь она

стояла шагах в трех от него, и какая-то незнакомая женщина оттирала ее виски снегом.

В поднявшемся шуме и гомоне ничего нельзя было разобрать. Откуда-то появился молодой инспектор ГАИ, безуспешно уговаривающий разойтись собравшихся. Подойдя к Хуршиду, он спросил:

— Вы водитель «Москвича»?

Хуршид снова молча кивнул.

— Повезло вам, считайте,— улыбнулся инспектор,— из таких аварий редко кто выходит живым.

И уже более строгим голосом задал вопрос:

— Чей самосвал?

— Мой! — чуть не плача отозвался паренек.

— Как это произошло? — Инспектор придвинулся вплотную к парню.— Рассказывайте!

— Они,— он кивнул на «Москвича»,— ехали очень медленно. Я хотел обогнать. Навстречу, откуда ни возьмись, «Волга» выскочила...

Он не успел договорить, как раздался властный голос Назеры,— Хуршид сразу узнал его:

— Изуродовал машину, пусть платит!

Жена уже не плакала, и, гордо подняв голову, была уверена, как всегда, в своей правоте.

— Заплатит, гражданка, заплатит,— успокоил ее инспектор, отбирая у парня права.— Подадите в суд и взыщете с него. Ваше право!..

И тут вдруг что-то случилось: сквозь плотное кольцо людей, окруживших место аварии, с трудом протискивалась какая-то старушка в бархатной допотопной безрукавке, в платке, плотно обтягивающем ее голову. С возгласом: «Сыночек мой!» — она бросилась обнимать водителя самосвала, а тот гладил ее плечи и говорил какие-то слова, которых не было слышно из-за шума. Нотом так же неожиданно старушка вдруг, повернувшись к инспектору, стоящему рядом с парнем, буквально повисла у него на шее.

— Сжался, сынок, дорогой! Один-единственный ведь он у меня!..

Хуршид стоял ошеломленный, не в силах сразу понять, что происходит, откуда взялась эта старушка, почему она умоляет инспектора. И пока он понял наконец, что старушка эта — мать шофера самосвала, его пронзила одна-единственная мысль: как похожи они, эти две старые женщины, эта и его мать — такие же сухонькие, та же

бархатная безрукавка времен войны, в которой она ни свет ни заря отправлялась каждое утро в город, чтобы выжил он, ее сын, ее кровинка...

Не дав воли нахлынувшим слезам, он положил руку на плечо чужой матери.

— Успокойтесь, мамаша! Вашему сыну не сделают ничего дурного. Поверьте мне...

Старушка теперь повернулась к нему.

— Сынок, родной, дай бог счастья твоим деткам!

И тут вдруг словно прорвало водителя самосвала:

— Как же я не хотел ехать! А? Но нет, жену свою послушался! Мама вчера к старшей сестре в Келес поехала. Только я вернулся с работы, пристала жена ко мне: привези, говорит, да привези мать! А то ей трудно из Келеса добираться. Вот я и привез... Не думал — не гадал, что они со свекровью будто две оглобли у одной арбы...

Хуршид невольно улыбнулся. Завидовал тому, как тот ругает свою жену. Завидовал жене этого парня, которая любила мать своего мужа как свою родную. Мать всегда достойна такой любви...

Его вернули к действительности слова инспектора:

— Ну, в суд будете подавать? — Инспектор строго смотрел ему в глаза.

Хуршид взглянул на жену и решительно ответил:

— Странно все это слышать, товарищ инспектор. Зачем нам суд? Сами как-нибудь договоримся. Случайность ведь, разве непонятно? В жизни и не такое бывает...

Инспектор пожал плечами, словно хотел сказать: «Дело хозяйское!», а мать паренька все еще недоверчиво глядела на Хуршида.

1981

Асад Дильмурадов
р. 1944

СЧАСТЬЕ В ПОДАРОК

Стою у окна. Кружевной каймой мороз украсил стекла. В приотворенную форточку влетает ветер н, вздувая тюлевую занавеску, обдаёт меня морозной пылью. Зябко. Словно льдом, сковано сердце.

Когда подошел я к окну, еще только опускался вечер. По улице суетливо сновали автомобили. И тротуар с высоты пятого этажа казался муравьиной дорожкой. Люди шли с тяжелыми сетками, кошелками, с большими свертками, сталкивались, обходили друг друга. Каждый спешил домой, нес кому-то подарки. И я давно приготовил подарок, но сегодня мне его некому подарить.

Деревья, отягощенные снегом, оставались безучастными ко всему, дремали под пушистым покрывалом. Ночь уже распростерла над городом крылья. Дома в туманной мгле угадываются по квадратам окон — желтым, зеленым, оранжевым, красным. Сегодня они особенно ярки. И много их, как звезд на небе. И впрямь, глядя вдаль, не отличишь, где кончается город и начинается небо. Редко увидишь зимой такое обилие звезд. Они мерцают, и, отражая их свет, переливается снег на деревьях, и сугробы по краям тротуара, будто посыпаны блестками. Время от времени промчится автомобиль, мелькнув красными огоньками стоп-сигналов — кто-то торопится, боясь опоздать к застолью.

Наверное, во всем городе одному мне некуда спешить. Этот Новый год я встречаю в одиночестве. Уже неделю я сижу дома, и меня даже не тянет к людям. Я словно отторгнут от мира. Не хочется ни с кем разговаривать и даже слышать чей-то голос. Едва из репродуктора полилась музыка, я чуть не сорвал его со стены. Меня раздражал бы и собственный голос, если бы мне вздумалось поговорить с самим собой...

В канун праздника одиночество становится невыносимым. Я, пожалуй, не буду ждать полуночи. Все, что есть в холодильнике, выложу на стол, открою бутылку коньяку и буду пить из маленькой хрустальной рюмочки, глядя в зеркало и чокаясь со своим изображением. Представив себя со стороны, я грустно улыбнулся.

Может, я все-таки напрасно повздорил с усто? Может, следовало все стоически вынести?.. Усто — это мастер. Нет, по моим понятиям, усто

должен не только учить своей профессии — он должен быть достойным подражания во всем: в поступках, делах, в отношениях с людьми. У моего усто золотые руки, иначе не скажешь. А сам... Уж лучше мне не говорить, а вам не слушать: у меня внутри опять начинает все вскипать и клокотать...

Резкий звонок заставил меня вздрогнуть. Пока я включал бра возле трюмо и отпирал дверь, прихожая вновь заполнилась трезвоном.

— Вам телеграмма! — сказал пожилой мужчина.

От кого бы это?

Вместо суюнчи я пригласил неожиданного гостя разделить со мной праздничную трапезу. Но он, в свое оправдание показав кипу телеграмм, которые еще предстояло ему разнести, поблагодарил меня и заспешил вниз по ступенькам.

Я развернул телеграмму.

«Звезды только думают, что никому не достанутся. С Новым годом, с новым счастьем! Хумор».

Я несколько раг повторил про себя эти строки.

Эх, Хумор, Хумор! Спасибо тебе! Я был бы счастлив, если бы ты сейчас оказалась рядом... Спасибо тебе, Хумор!

Хумор — это дочь усто. Семь лет назад он похоронил жену. Говорят, он так переживал, что и сам слег. Хумор выходила его. Теперь она была его единственной опорой и надеждой. Никого у него больше нет — ни близких родственников, ни дальних.

С усто Кули меня познакомил мой учитель. Поступив в профтехучилище, я долго не мог себе выбрать специальность по душе. С детства любил выжигать по дереву. И недурно у меня получалось. Учитель в профтехучилище всякий раз говорил: «Фархаджан, вам нужно развивать свои способности. Я вас познакомлю с хорошим мастером...» Ну и свел меня с усто Кули. Мало того, настоял, чтобы я пошел к нему в ученики.

Усто тогда был помоложе. И опрятнее был внешне.

Приходя на работу, надевал он синий халат и повязывал парусиновый фартук, пестрый от красок, как картина абстракциониста.

Оглаживая бородку, начавшую сесть, усто как-то окинул меня взглядом — в глазах недоверие, усмешка.

— Что ж, пусть приходит. Сразу-то не скажешь, выйдет ли из него толк,— сказал он не мне, а моему учителю.

— Ну как, пойдешь к нему? — спросил меня учитель.

Я пожал плечами, с досадой подумал: «Столько учился — и опять в ученики?»

На обратном пути учитель возбужденно рассказывал, каким важным делом занимается усто Кули. Он изготавливает краски, по качеству почти не отличающиеся от тех древних, секрет которых был давным-давно забыт: покрывает глазурью плитки, идущие на облицовку реставрируемых зданий, возведенных зодчими прошлых веков. И как бы читая мои мысли, сказал:

— Этому искусству, брат, нужно учиться всю жизнь...

Так я стал учеником усто Кули. Два года исполнял все, что он приказывал: тер краски, формовал плитки, обжигал их в печи, покрывал глазурью и снова отправлял в печь. И, думаете, хоть раз услышал от него доброе слово? Как бы не так...

Усто за эти два года сильно изменился. Ссутулился, стал неуклюж. Кожа на щеках с красными прожилками одрябла, а борода стала редкой и совсем белой. Густые серые брови нависали над усталыми, чуть припухлыми веками, от чего он всегда казался хмурым, как ненастный деньг

И только когда усто брал в руку кисточку, он преображался, становился задумчиво-одухотворенным. Подвижное лицо его выражало то удивление, то восторг. Он сидел на жесткой подстилке, подобрал ноги, и, склонясь над низеньким столом, долго и напряженно работал. В эти часы он не произносил ни слова. И напрасно было обращаться к нему — он не слышал ничего. Если же кто проявлял настойчивость, усто в сердцах швырял на стол кисть и оборачивался с такой досадой, что незадачливый ученик с извинениями пятился и никогда больше не осмеливался беспокоить его. Даже Хумор не тревожила его, пока он сам не откладывал кисть, чтобы одарить себя недолгим отдыхом.

Изразцы, обработанные кистью усто, вначале, казалось, не представляют ничего особенного и мало чем отличаются от изделий его учеников. Но после повторного обжига они становились необыкновенно красивыми. Ими любоваться я мог часами, волнуясь и испытывая восторг, который обычно испытываешь, когда стоишь перед прекрасной картиной в музее.

...Я сидел на табурете и наблюдал за его работой. Его грубые волосатые руки с въевшейся в них краской казались мне волшебными.

Иногда усто поднимался с места и подходил к кому-нибудь из

учеников. Когда он проверял мою работу, я чувствовал себя, как на угольях. Я почему-то боялся усто. Точь-в-точь как робеет перед учителем первоклассник, не выучив урока. Издав неопределенное «хм», что могло означать и удивление, и одобрение, и неудовольствие, он отходил и снова принимался за дело, отрешаясь от всего земного. А я ломал голову, понравилась ему моя работа или нет, но спросить не решался.

Когда усто отсутствовал, разбегались по своим делам и его ученики. Кто отпраивался в чайхану поиграть в шахматы за пиалой чая, кто в закусочную усладить себя кружкой прохладного пива. Меня тоже порой донимала жажда, но я не уходил: не хотелось, чтобы Хумор оставалась одна. Наш цех, казалось, становился просторнее, светлее. Смягчалось и строгое лицо Хумор. Правда, она почти никогда не смотрела в мою сторону, и мы очень редко разговаривали.

Она сидит, задумчиво глядя в открытое настежь окно, где с яблони срывается и медленно кружится в воздухе пожелтевший лист да чирикают невидимые в ветвях воробьи.

На улице тепло и солнечно. До работы ли в такой погожий день! Мне хочется заговорить с Хумор. Я не сразу решаюсь. Ведь мы порой за день и словом не обмолвимся. Не только потому, что усто нелюбит, когда во время работы точат лясы, или парни могут о нас плохо подумать — просто я не привык общаться с девушками, почему-то побаиваюсь их и даже стесняюсь.

Я незаметно поглядываю на Хумор. Она смотрится в маленькое зеркальце, поправляя смолисто-черные локоны на висках. На голове у нее бордовая, вышитая бисером тибетейка.

— Хумор, вы обманщица.

Она кладет зеркальце в ящик стола и лукаво улыбается. По ее лицу пробегает румянец, глаза лучатся.

— Почему?

— Я ждал вчера...

— Папе нездоровилось, я не могла его оставить,— Она опускает голову.— А вам понравился фильм?

— Я не пошел. Я очень долго ждал вас. Потом порвал билеты и ушел. А что с усто?

Ей не хочется говорить. Видимо, то же самое, что с ним все чаще случается в последнее время, был в гостях и не рассчитал сил.

— Да, отец ваш постарел.

— Седьмой десяток, что поделаешь.

— Его мастерство передалось вам.

— Что вы! Вон какие нежные узоры он выводит, а мои... Нет, у меня так не получается. И, наверное, никогда не получится.

Одна стена в нашем цехе заставлена полками. На них сложены различные плитки — квадратные и прямоугольные, большие и маленькие. Они переливаются всеми цветами радуги, орнаменты не повторяются. Краски на них не простые. В их состав входит множество различных компонентов, сочетать которые умеет только мастер.

— А усто многих обучал своей профессии?

Хумор не ответила. Она взяла жженую плитку и стала водить по ней кистью. На оранжевую шершавую поверхность лег замысловатый, тусклый пока еще, почти однотонный орнамент. Эта плитка должна второй раз побывать в печи. Лишь после этого рождаются на свет прочные, изящные, сверкающие многоцветьем изразцы, которым не страшны века.

— Хумор! Почему ваш отец недружелюбен ко мне?

— Он не любит вас.

— А других?

— Тоже. Он думает, вы скоро бросите это дело.

— Почему он так считает?

— Многие учились у него, но никто не задержался. Жаловались, что труд тяжелый, а заработок мал.

Дверь распахнулась с шумом, как от порыва ветра. На пороге, ссутулясь, стоял усто. Держась за косяк, он исподлобья оглядел нас, потом шагнул через порог и, ни слова не говоря, пошатываясь, направился к полкам с готовыми изделиями. Хумор, провожая его тревожным взглядом, выпрямилась на стуле, напряглась. Она поняла, что отец опять не в себе — провалиться б этой водке!

Усто подошел к Хумор. Взял одну из обработанных ею плиток, которые еще не обжигались в печи, стал внимательно разглядывать. Брови мастера нервно передернулись, лицо сморщилось, как от боли. Он с размаху швырнул плитку на пол, разбив ее вдребезги.

— Ты казнишь меня! Истерзала мое сердце! Сколько раз тебе говорить, что этот узор нужно класть нежнее!

Усто был особенно придирчив при оценке узоров мелких и мягких, как лепестки джиды. Порой казалось, он требует невозможного: «Если вы изобразили розу, должен ощущаться запах розы».

Узоры, которые находил сам усто, напоминали то цветочки алычи с пестиком и тычинками, то незабудок. И когда я подолгу глядел на них, и впрямь ощущал запах весны... Если работа учеников не удовлетворяла усто, ничто не могло спасти их от его гнева.

Усто резко повернулся и отошел к окну. Смотрел на улицу, заложив руки за спину, и шумно дышал.

Плечи Хумор вздрагивали. Она бросила кисть и, не поднимая головы, направилась к двери. Мастер не заметил, как она вышла. Его внимание что-то привлекло на цветке яблони — то ли оставшийся случайно плод, насквозь пронизанный солнцем, то ли золотистый лист, как кружевом обвитый шелковистой паутиной. Протянув руку к окну, он тихо позвал:

— Хумор!

— Она ушла,— сказал я.

Усто обернулся. На его просветлевшее лицо снова набежала тень. Он не спеша приблизился ко мне. Слегка наклонясь, уперся рукой в край стола и принялся рассматривать мою работу. Я же, затаив дыхание, следил за его бровями. Сейчас они вздрогнут, лицо исказится, и к моим ногам полетят осколки разбитых плиток.

— Все вы одинаковы! Все-е! Вы что, и вправду считаете это узорами? Вы думаете, что станет с этими линиями после обжига? Вот здесь полоска оборвется, а вот здесь переместится влево...

Я бы давно надерзил злomu старику — отвел бы душу и ушел. Ушел... если бы не Хумор.

Усто ворчал, доказывая, что я тупица: больше года в учениках, а руку не набил. Что и говорить, даже к его ругани привыкнуть можно, но как привыкнуть к этой утомительной работе? К концу дня и глаза болят, и плечи, и пальцы.

Усто обмакнул кисть в краску и стал осторожно править мои узоры. Я заметил, как его лицо, испещренное тонкими красноватыми прожилками, смягчилось, в глазах появился свет. С каждым его мазком рисунок на плитке оживал. И постепенно озарялось улыбкой его лицо, как земля озаряется солнцем после грозы.

— Что, сынок, Хумор ушла?

— Да, усто.

— Что ж ты не остановил ее?.. А впрочем, и не вернулась бы она. Обидел я ее... С характером, в меня...

Странное происходит временами с усто. Только что в нем, как в

паровом котле, бушевал гнев, а сейчас глаза повлажнели, острый кадык заходил беспрестанно. Жилистая сильная рука энергично водит кистью по плитке, будто он переносит на глину боль своего сердца.

Свободной рукой он вынул из кармана большой платок и вытер глаза. Захотелось сказать ему что-нибудь хорошее.

— Ну, что вы, отец, право. Хумор сейчас вернется.

— Вернется... Конечно, вернется.— Усто кивнул.— Она добрая, уже тысячу раз простила меня. Только счастье ее уж не вернется...

Усто бросил кисть в банку с водой, чтоб не высохла, и придвинул ко мне плитку — посмотри, дескать, как надо. За эти несколько минут он заметно устал. Он и нас учил целиком отдавать себя работе.

— Это я сделал ее несчастной,— произнес усто, скользнув по загроможденному столу Хумор отсутствующим взглядом.

— Оставьте, отец...

— И эти шалопаи пропадают где-то. Если человек не любит свою работу, разве получится из него художник? И уж тут им нечего делать.

— Ну что вы расстраиваетесь, отец. Попьют чаю и придут.

— Пусть не приходят. Один был способный ученик, и тот покинул меня.

Значит, все еще болит у него душа. Да только что теперь пользы? Говорят, старые люди мудры, но далеко не мудро поступил тогда усто.

Я хорошо помню тот день, когда в первый раз пришел в эту мастерскую. Может быть, и не запомнил бы — но тогда впервые я увидел Хумор. Проходя мимо, она с Интересом взглянула на меня и, сказав с улыбкой: «Са- лам»,— проследовала к своему столу. А я подумал: «Вот, оказывается, где скрывается самая красивая на земле девушка!» Мне еще неведомо было, что она — дочь усто.

Весь день я старался не смотреть на девушку, но как- то само собой выходило, что то и дело оборачивался в ее сторону. Оказывается, невозможно не смотреть на девушку, если она тебе нравится. Щеки у Хумор розовые и нежные, как персик. Брови тонкие, бархатистые. А вот глаза... Взглянет она на тебя — и ты ослеплен их светом. И еще казалось, нет на свете приятнее звука, чем перезвон серебряных монист на концах ее сорока косичек.

«Конечно, у нее есть парень,— подумал я.— Разве такая красивая девушка будет одна».

Хмурый взгляд усто в тот день преследовал меня. Я понял: если он заметит, что я чаще смотрю на девушку, чем на плитку, которую

раскрашиваю, меня тут же выгонят. А для меня это было бы самым большим несчастьем. Я всеми силами стал выказывать усто свое усердие.

Спустя четыре дня я о Хумор знал все. Товарищи, с которыми я работал, рассказали мне, что год назад Хумор полюбила одного из учеников усто. Он был способным джигитом, и ее отец благоволил к нему, старался передать ему свое мастерство. Когда до свадьбы оставались считанные дни, парень вдруг заявил, что нашел себе более выгодную работу. Усто пришел в ярость: он показал ученику на порог и сказал, чтобы его ноги здесь больше не было. А на второй день, когда все же пришли сваты в надежде уговорить усто, отец невесты не пустил их даже во двор.

Правда то или нет, но говорят, что усто дал обет выдать дочь только за того, кто в совершенстве овладеет секретами его мастерства.

Но пока такого парня не сыскалось. Кто же согласится с рассвета до темна работать с Привередливым мастером, а получать гроши. И парни перестали свататься к Хумор.

Многие жители махалли, получив отказ, перестали с ним общаться. Но усто, кажется, и не переживал, целиком отдался любимому делу, и ничто иное его не интересовало. Одной и той же дорогой он каждый день спозаранок приходил на работу и возвращался домой затемно. Хумор тоже привыкла к образу жизни отца, все реже и реже стала появляться на улице, перестала общаться с подружками, которые почти все уже вышли замуж и жили, погруженные в семейные заботы. Впрочем, и Хумор в доме хватало дел. Двор у них большой, у самого Сиба — мутной речки с крутыми обрывистыми берегами, окаймляющей Самарканд с юга. Во дворе сад. Весной, когда деревья цветут, кажется, будто дом их погружен в белорозовые облака. Хмельной аромат разливается вокруг и манит пчел. А летом и в самый зной под деревьями прохладно. Хумор любит свой сад, холит каждое деревце.

Хумор очень редко отправляется к центру города — в магазин, на базар или по другим делам. Не для нее шум и многолюдье улиц, она от них устает. Даже памятники старины, которыми она прежде так восхищалась, наскучили ей. Пусть умиляются те, кто их видит впервые. Жизнь ее отца как бы слилась с этими величавыми зданиями, веками поражавшими взор человека.

...Утром Хумор пришла одна. Она была в ярком, как пламя, атласном платье. Волосы аккуратно уложены вокруг тубетейки. Она кивнула

мне и села на место. Прежде никогда еще не видел я ее такой грустной. Мне стало тревожно.

Двоих парней, которые с нами работали, все еще не было. Может, и вовсе не придут. Сговорились, должно быть. С тех пор, как я здесь, уже человек шесть покинули мастерскую.

— Хумор! Почему вы вчера ушли?

— Я устала.

— Только из-за этого? Вы, наверное, обиделись?

Хумор пожала плечами и усмехнулась:

— .Привыкла уж.

— Хумор, ваш отец очень хороший человек.

— Я знаю.

— Он вас любит.

— Знаю.— Она вздохнула.

— Тогда почему...— Я замолк.

— Это началось, когда умерла мама... Он очень переживает, что у него нет сына, который продолжил бы его дело.

— А вы?

— Что я? Я слаба, и, увы, нет у меня таланта.

— Тогда пусть обучит кого-нибудь...

Хумор задумчиво смотрела вдаль. Ее лицо сделалось каменным.

— После того, как ушел Муслим-ака, он не хочет никого учить.

Я слышал о нем, о Муслиме. Это тот, кого любила Хумор. В него верил усто и нередко вспоминает его, особенно когда сердится на нас. И Хумор, видно, его не забыла. Сидит, подперев руками щеки и закусив губу. Чтобы отвлечь ее, спрашиваю:

— Усто придет?

— Обещал — после обеда.

«Вдруг и сегодня напьется!» — пробегает тревожная мысль. В последнее время усто пьет почти каждый день. К делам мастерской он словно бы потерял всякий интерес. Реставрационные работы в городе увеличиваются из года в год, а усто это нисколько, кажется, не волнует.

Усто пришел после обеда. Он был изрядно пьян. Опершись о край стола, он засопел над самым моим ухом. Меня это покорило, мурашки пробежали по спине. Я поднял голову. Надо мной склонилась красная холодная физиономия с взъерошенной бородой, с тусклыми стеклянными глазами, под которыми провисли мешки. Я искоса глянул на Хумор. Она сидела как изваяние.

— Эх-х, сынок! — со вздохом махнул рукой и отошел в сторону. Открыл окно и, обдуваемый ветром, сел на табурет. Он, кажется, всхлипнул.— Эх-х, напрасно ты прожил жизнь, мастер Кули!

— Что с вами, усто?

— Младенец!.. Разве понять тебе, что погибает одно из величайших искусств, умирает оно вместе со мной! Да что ты вообще понимаешь? Вот тот негодяй... Муслим, тот понимал. И рука, и глаз у него были верные, да только вот сердце холодное. Тому нужны были деньги. Все променял на деньги, ушел, сукин сын!

— Отец! — Хумор вскочила и подошла к отцу. Обхватила его влажную от пота голову, прижала к себе.— Не надо. Пожалуйста...

— Теперь-то что...— Он разомкнул руки Хумор, легонько отстранил ее.— Теперь все кончено. Перевелись люди, у которых здесь вот,— он сильно ударил себя кулаком по груди,— бьется горячее сердце! А без него, будь ты хоть семи пядей во лбу...

— Слабовольный человек вы! Вот и все,— не выдержал я.

Усто передернулся, как от удара. Брови его круто взмыли — словно сова крылами махнула. Он резко встал, опрокинув табурет, и подошел ко мне, пронзая меня взглядом. Я сидел, напряжусь, но не отвел глаз. Он хотел что-то сказать, не нашелся, махнул рукой и быстро пошел к выходу.

Оставшись с Хумор одни, мы долго молчали.

— Не сердитесь, Хумор,— сказал я.

Она не ответила. Ее щеки были пунцовыми. Такими обычно становились они, когда она заглядывала в печь, где обжигались наши плитки. Готовая плитка выпала из ее рук и раскололась.

— Не огорчайтесь, это к счастью,— сказал я.

Она опять не ответила. Должно быть, обиделась за отца. А мне какво? В ушах все еще звучит голос: «Перевелись люди, у которых вот здесь... бьется горячее сердце!»

Солнце садилось, за окном сгущалась тьма. Я встал и включил свет. Пора было идти домой, но мне хотелось закончить хитроумный узор, который применяют при реставрации завершающей части свода. Несмотря на сегодняшние волнения, мне, кажется, таинственным образом удалось причудливо соединить весь этот сложный калейдоскоп красок и узоров. Впрочем, кто знает, может, потому и получилось, что весь день пребывал в волнении? Может, рука не равнодушно водила кистью?

Хумор тоже не спешила домой.

Я поставил готовую плитку на полку и, отступив, залюбовался ею. И Хумор отложила работу и смотрела на мою плитку. В ее грустных глазах промелькнул огонек, а уголки губ вздрогнули от улыбки.

— А знаете... у вас получилось не хуже, чем у Муслима...

— Благодарю, — буркнул я.

Мы вышли из мастерской вместе. Воздух был свеж, как ключевая вода. Над черным силуэтом «Биби-Ханум» сияла большая круглая луна.

— Я провожу вас.

Хумор молча пошла вперед, я последовал за ней. В проходной старик сторож заварил душистый зеленый чай и пригласил нас разделить с ним его скромный ужин. Мы поблагодарили и ступили на малолюдный темный тротуар. Кое-где на столбах под металлическими колпаками тускло светились лампочки. Автобусы в столь позднее время ходят редко, и мы пошли пешком. Пересекли небольшую площадь, миновали два-три переулка и, оказавшись на окраине города, свернули к одной из балок Афрасиаба. Тропинка, вьющаяся по самому краю оврага, выводила прямо к дому Хумор. Вокруг видны залитые голубоватым светом пологие холмы, до поры прячущие от людей свои тайны. В сухой траве неумолчно свиристыят цикады. Справа от нас, за холмами, виднелась россыпь огней большого города. Над нами низко проносились летучие мыши. Хумор пугалась и вздрагивала. Об этих глухих местах, где ведутся раскопки, ходит недобрая слава. Люди и днем-то обходят их. Хумор взяла меня за руку и прижалась к моему плечу. Когда тропинка, убегая вниз, тонула в черноте обрыва, признаться, и мне становилось жутковато, хотя с Хумор вдвоем мы не раз бывали в этих местах. Среди развалин, где велись раскопки, нам иной раз удавалось найти черепок от древнего сосуда с росписью или стекляшку, сохранившую хоть каплю краски.

— Вы боитесь? — спросил я, стараясь придать голосу спокойствие.

— А чего мне бояться? Уже дом близок. Во-он огонек.

И правда, впереди за темнеющими кучами деревьев горел огонек. Хотя дорога по трущобам Афрасиаба ночью и кажется нескончаемо длинной, я огорчился, что этот огонек так близок. Идти бы и идти вот так, прижимая к себе руку Хумор и ощущая ее тепло. Порой, сделав неловкий шаг, она задевала меня боком, и я чувствовал, как она дрожит.

— Посмотрите, как много сегодня на небе звезд, — сказал я.

— Говорят, у каждого есть своя звезда, но это неправда...

— Я вам подарю одну из них, и тогда это будет правдой.

Выбирайте!

Хумор усмехнулась.

— У древних согдийцев звезда считалась символом счастья. Хотите вон ту, самую большую и яркую?

— Звезды ничьи. Они никогда никому не достанутся.

Ее голос печален. Я замедляю шаги. Она взбегает на холм и там ждет меня. Под сиреневым покровом ночи она еще прекраснее. Я протягиваю руку, но она смеется и спешит дальше. Я никогда не испытывал такого сладкого волнения. Может, это чары афрасиабских холмов влились в мою душу?

Я догоняю Хумор, беру за плечи. Она резко оборачивается. В широко открытых глазах испуг. Я осторожно касаюсь губами ее дрожащих ресниц. Она отстраняется, мягко оттолкнув меня ладонью, и идет, опустив голову, к калитке.

Хумор простилась со мной и ушла. Я постоял несколько минут в ожидании, пока в ее окне загорится свет. Неподалеку плескались о глинистый берег волны Сиаба. И почему-то от этих звуков радостный трепет постепенно уступал место щемящей сердце тревоге.

Кривыми узкими улочками, над которыми нависали, еще более сгущая мрак, ветви старых шелковиц, я вышел на дорогу, поймал такси и поехал домой.

Всю ночь я не мог уснуть, все думал о Хумор. Перед самым утром меня одолел сон, я не услышал будильника. На работу опоздал. Усто что-то объяснял дочери. В ответ на мое приветствие лишь взглянул в мою сторону. Зато Хумор мне робко улыбнулась.

Усто целый день не покидал цеха. Возился у полок, перебирал изделия, переставлял их, словно сортировал. Садился на свою подстилку и брался за кисть, но вскоре опять вскакивал и подходил к полкам. Мне не сказал ни слова, лишь изредка бросал в мою сторону хмурые взгляды. Я тоже не обращал на него внимания. Работал и думал о Хумор. Во мне все пело. День выдался солнечный, мастерская была наполнена золотистым светом. На что ни взгляну, все меня радовало. Огорчали только краски: они блекли в сравнении с красотой Хумор. Я с огорчением понял, что плитки, которые с утра я старательно разукрашивал, не стоят и ломаного гроша. Пришлось заново накладывать краски, сочетая их так, чтобы они обрели сочность и в тени заиграли,

словно солнцем озаренные.

Только под вечер, к концу работы, усто подошел ко мне и внимательно посмотрел на мою работу, потом на меня. Так учитель смотрит на своего ученика, когда не верит, что ученик сам выполнил трудную задачу.

— Сыровато, — сказал он и пошел к выходу.

Я стиснул зубы. Что скажешь? Слово усто — закон. Но что собственно «сыровато»? Вот так всегда: задаст загадку, а ты отгадывай.

Не скрывая раздражения, я сказал Хумор:

— Ваш отец всегда недоволен, но почему он ничему не учит? Или отдал все свои знания Муслиму?

Хумор склонилась над своим изделием, ее худые плечики как-то скорбно приподнялись.

Раздосадованный, я ушел.

Что ж, усто, я разгадаю твою загадку сам! Пусть отсохнет мой язык, если я еще когда-нибудь обращусь к тебе с вопросом. Все буду постигать сам. Придет время, и ты, усто, будешь любоваться моей работой. Еще пожмешь мою руку. А потом... Потом будет свадьба. И та, по которой вздыхали джигиты, станет моей...

Так я думал, шагая по тротуару, натываясь на встречных и не слыша ругани. Кто-то толкнул меня в спину, но я не обернулся. Не заметил, как миновал остановку автобуса, пришлось вернуться обратно.

Но и в последующие дни мне везло ничуть не больше. Неизвестно где пропадая по несколько дней, усто вдруг появлялся в мастерской и принимался скрупулезно проверять мою работу, безжалостно ее бракуя. Я подавлял все возрастающий во мне гнев и старался не смотреть на него. «Может, он испытывает меня, черт бы его побрал? — думал я.— Может, такова доля всякого ученика?» И на следующее утро опять с усердием принимался за работу.

В тот день, мне казалось, я превзошел себя. Отработанные мной плитки уподобились цветным кружевам.

— Поздравляю,— сказала Хумор.

И это ее слово, прозвучавшее тише шелеста ветерка, было для меня выше всяких похвал.

Мы уже прибрали на столах и хотели уходить, когда появился усто. Ни слова не говоря, он включил все лампы, сел на подстилку и взялся за кисть. Делая вид, что работаю, я с опаской посматривал на усто.

Приладив плитку на колене, он водил по ней кистью. Пальцы его дрожали, а плитка то и дело соскальзывала с колена. Вот рука сделала неверное движение. Он вскочил и с силой ударил плитку об пол. Его лихорадочный взгляд метался по мастерской и вдруг будто прилип к йолкам. Он было шагнул к ним, я вскочил и преградил ему дорогу, я понял, что он задумал.

— Не надо, усто!

Он оглядел меня с головы до ног, будто дивясь, откуда я тут мог взяться. Хотел отстранить меня, но я стоял прочно и, стиснув его руку, отвел в сторону.

— Все это ни к черту не годится! — он показал на полки.

— Напрасно вы так говорите, усто. Вы же еще не смотрели.

— Я и так знаю, знаю наперед.

— Если бы вы свое искусство...

— Искусство погибло!

— Вы сами губите его, усто!

— Щенок! Щено-ок! — Усто размахнулся и отвесил мне пощечину.— Это вы его губите!

У меня потемнело в глазах. Я не мог сдвинуться с места. Видел, как он ринулся к полкам, но я не в силах был и пальцем шевельнуть. Все гремело, грохотало. Вскрикнула Хумор. Усто вытолкал дочку из цеха и ушел сам. Наступила тишина. Жуткая тишина. Сердце изнывало от боли, будто его резали на куски. Я стоял оцепеневший и оглядывал валявшиеся вокруг меня осколки. Подобрал обломок величиной с ладонь и долго смотрел на него.

Я с трудом сдерживал слезы.

Она ушла. Оставила меня одного. Пошла успокаивать отца. А что со мной, ей все равно. Я ей не нужен. Совсем не нужен. Ради чего же тогда я терплю все это? Дурень, какой же я дурень! Все кончено. Оставлю навсегда эту неприветливую, но ставшую мне мучительно близкой обитель. Хумор же мне будет светить всю жизнь, как недосыгаемая звезда. Ведь звезды никому не достаются.

Среди груды осколков я с радостью увидел одну плитку, которую расписал сегодня. Ни трещинки, ни царапинки. Так может радоваться только человек, потерявший что-то очень дорогое и неожиданно вновь обретший.

Я подсел к столу Хумор и на обратной стороне плитки написал: «Хумор! Вы правы, звезды никому не достаются. Прощайте, Фархад».

Прислонил плитку к мраморной подставке для кистей и покинул цех.

С того дня я сижу дома. Чувствую себя разбитым, больным. Только мысли о Хумор приносят душе облегчение. Иногда вечером подойду к окну и ищу на небе ту звезду, которую хотел подарить ей. Может, и она в эту минуту, вспомнив меня, смотрит на нее. И, выходит, прав был я, она думала обо мне, моя Хумор, коль прислала телеграмму!

Я не представляю большего счастья, чем встретить Новый год с Хумор. Да кто мне подарит такое счастье? Что это! Опять звонят в дверь? Кого несет в столь поздний час?

Я открыл дверь и... не поверил глазам. На пороге стоял усто, припорошенный снегом. Он отряхнулся, сняв с головы шапку, и, не дожидаясь приглашения, прошел в комнату. Я, теряясь в догадках, последовал за ним. Не глядя на меня, он подал мне руку и глухо произнес:

— Прости меня, сынок!

Я удивленно смотрел на его состарившееся лицо.

— Поверь хоть раз мне, старому дураку. Ты хороший художник!

У меня вмиг потеплело на сердце.

— Раздевайтесь, усто!

Я открыл бар и выставил на стол коньяк, потом принес вазу с фруктами, конфеты. Он сделал вид, что не заметил моих хлопот.

— Пойдем к нам, сынок. Хумор там ждет... на стол накрывает. Думаю, ты не откажешься встретить Новый год с уходящим художником.

Он все перевернул во мне, упомянув имя Хумор. Не владея собой, я приник головой к груди усто. От него пахло краской и жженой глиной.

Мы вышли на улицу. В ясном небе мерцали звезды. Это неправда, что они никогда никому не достаются.

1979

Мурад Мухаммедост
р. 1949

ГАЛАТЕПИНЦЫ

В чайхане Барата Кривого, куда пришел Ибадулла Махсум, было, как всегда, многолюдно. В тени и прохладе, под сенью огромных чинар и лип, некогда посаженных самим Раимом Хайбаровым, каждый топчан представлял собою картину, достойную кисти незабвенного Бехзада. Все тут было и чинно, и красиво — дастарханы цвета здоровой печени, тканые из шерсти верблюдов местного араба Узака, веснушчаторумяные лепешки от Мамата-наввая, без единой трещинки или даже щербинки чайники и пиалы, и само плавное течение речи, и грациозно-ленивые движения, не лишённые доли нарочитости, и, конечно же, сами галатепинцы, венец и краса всего ритуала... словом, тут царил покой и согласие, и невольно думалось человеку: куда же спешить, когда жизнь так прекрасна!..

Что и говорить, уютно было в чайхане Барата Кривого, на каждом ее топчане. Исключение составлял разве что топчан с левого края, он выглядел бы так же достойно, как другие, если б сидело на нем десять, пять, три, ну, хотя бы два человека, но там, к сожалению, сидел только один человек. Сам по себе топчан этот был ничем не хуже других, может, даже лучше, с добрым паласом, с мягкими курпачами и подушками, он мог бы смотреться даже с одним человеком, но, увы, этот единственный человек был пьян. Бутылки, разумеется, возле него не было, но судя по тому, как человек морщился, когда подносил пиалу к губам, вся беда была заключена в довольно объемистом чайнике перед ним. Кажется, другие его даже не замечали. Зачем, спрашивается, докучать пьяному человеку, все равно ничего ему сейчас не втолкуешь, другое дело, когда он немного протрезвеет, тогда все можно, и пожурить даже пожестче, по-галатепински...

Как только Ибадулла Махсум показался за оградой чайханы, Кривой Барат, несмотря на занятость, сам вышел ему навстречу и ввел в круг почтенных завсегдаев, где уже сидели старик Хуччи, мулла Данияр, пастух Наим и прочие уважаемые галатепинцы. С ними был еще один человек лет сорока — сорока пяти, которого Ибадулла Махсум не знал, но, в знак особого расположения к сидящим, поздоровался весьма любезно.

Не успел он занять свое традиционное место рядом с муллой Данияром, как возле топчана появился чернявый старичок и поклонился собранию.

— Отведайте нашего чаю,— пригласил его Ибадулла Махсум.

— Нет, я только на минуту, Махсум, вы тогда правду сказали, моя коза действительно родила троих козлят,— радостно воскликнул старичок.— Точно угадали, Махсум!..

— При чем тут это, угадал или не угадал,— рассеянно ответил Ибадулла Махсум.— Она троих и должна была родить. По походке было видно.

— Все-таки вы угадали, Махсум,— не согласился старичок.— Надо же, вышло по-вашему!.. Может, и в следующем году, а?

— Все вам мало, Атабай,— с легкой укоризной сказал Ибадулла Махсум.

— А вдруг?.. — с надеждой спросил Атабай.— Скажите, Махсум, ведь слова ваши сбываются...

— Я вам не пророк,— скромно заметил Ибадулла Махсум.

— А все-таки?.. — не унимался Атабай.— Скажите, Махсум!..

— Не будьте таким жадным, Атабай,— одернул его старик Хуччи.— Пожалейте коз. Подождите годик, а там видно будет... Как вы думаете, Махсум?

— Ваша правда, почтенный, там видно будет, — улыбнулся Ибадулла Махсум.

— Спасибо, МахСум,— поблагодарил Атабай,— только вы не забывайте!..

Ибадулле Махсуму не понравилась настырность Атабая, и он нахмурился:

— Лучше следите за своим сыном, Атабай. Не дай бог, уйдет с цыганами.

— Аллах с вами, Махсум, накаркаете еще! — испуганно всплеснул руками Атабай.— Как это он уйдет? Он у нас послушный...

— Послушный, слов нет,— согласился Ибадулла Махсум.— Но все же будьте начеку. Вы за ним не замечали никаких странностей? Ну, скажем, в зимнее время он не худеет?

— Зимой худеет,— забеспокоился Атабай.— А что это могло бы быть, Махсум? Надеюсь, не хворь? Ведь и я худею зимой, но, слава богу, прожил вон сколько лет. Что это значит, Махсум?

— Цыганская тоска, вот что, — сказал Ибадулла Махсум.— Боюсь,

он и вправду уйдет с цыганами. Видно, это у него в крови.

— Не может быть! — не поверил Атабай.— Мой прапрадед, и тот не был цыганом!

— А его прадед? — спросил Ибадулла Махсум.

Атабай не нашелся ответить, потому и загрустил, и тут во всем его облике проступило нечто цыганское, то ли тоска по долгим скитаниям, то ли еще что, неизвестно — что, но явно цыганское.

— Что, он и вправду из цыган? — спросил пастух Наим, когда Атабай, не проронив ни слова, оставил чайхану.— Вот не знал!..

— Да какой из него цыган, — улыбнулся Ибадулла Махсум.— Просто он какой-то жадный.

— Ну, так бы и сказали,— пастух вздохнул облегченно,— А то — уйдет с цыганами! Куда это он уйдет?..

— Конечно, не уйдет, — ответил Ибадулла Махсум.— Хотя, кто его знает... Что-то Мустафу не видать, почтенный? обратился он к старику Хуччи, чтобы переменить разговор.— И на базаре его не было.

— Слег,— сказал старик Хуччи.— Нароботался, бедняга. Племянника хочет женить, а тот пьет день и ночь.

— Нет, сейчас уже не пьет,— возразил мулла Данияр.— Исправился. Говорят, недавно Турабая побил.

— Тогда другое дело,— рассудил старик Хуччи.— Значит, действительно исправился. Я бы сам побил Турабая...

— У него собака пропала,— сообщил пастух Наим.— Целых два дня околачивался возле моего дома, будто я украл его собаку.

— Ты выкрал несколько овец, Наим,— заметил старик Хуччи.— Вот Турабай и подозревает.

— Но когда это было, почтенный...— смутился пастух.— Ведь я тогда совсем молодой был.

— Собаку надо искать под Большим Обрывом,— сказал Ибадулла Махсум, желая облегчить положение Наима.— Старый был пес. Добрая собака умирает вдали от людей.

— Откуда это знать Турабаю!..— вмешался старик Хуччи.— Он же хочет вечно жить!..

— Грешно так хотеть,— заявил мулла Данияр.— Тут не знаешь, как достойно прожить те несколько десятков лет, дарованных аллахом, а он чего захотел!.. Лишний день — лишние грехи.

— Можно бы попробовать, если бы жизнь всегда была хорошей,— рассудил пастух Наим.— Но ведь она не часто нас балует. Вот, спросите

у Нурмата,— он показал на пьяного человека с крайнего левого топчана,— хочет ли он вечно жить? Боюсь, не захочет.

— Точно,— поддержал его мулла Данияр,— Жена от него сбежала. Не желает воротиться. Думаю, Махсум это знает?

— Это я ему говорил еще в позапрошлом году,— сказал Ибадулла Махсум.— А он не послушался, женился на ней.

— Паршивый пророк!..— подал голос пьяный Нурмат со своего топчана, будто услышал слова Ибадуллы Махсума.

Услышав такую дерзость, Ибадулла Махсум лишь улыбнулся, дав понять, что ничуть не обижен. Тогда решились улыбнуться и другие — приятно было видеть подобное спокойствие. Не улыбнулся лишь Барат Кривой, хозяин чайханы. Он решительно направился к топчану, где сидел Нурмат.

— Пусть сидит, не трогайте его, Барат,— попросил Ибадулла Махсум.

Чайханщик, хоть и был не на шутку рассержен, повинился, вернулся к самоварам.

— Ничего тут не поделаешь,— грустно сказал Ибадулла Махсум.— Она должна была сбежать.

— Сам он виноват,— поспешил его успокоить старик Хуччи.— Надо было жениться на другой. Вот я, бывало, целыми неделями за табуном ходил, а жена — ничего, сидела, ждала...

— Это ваша жена,—возразил Ибадулла Махсум,— Нечего сравнивать!

— Все-таки,— вмешался мулла Данияр,— вы не должны были говорить, что она сбежит от него, вот и сбылось...

— Паршивый пророк!..— опять донесся голос Нурмата.

— Жалко парня,— посочувствовал пастух Наим.— Будь он из Сарсана или Чонкаймыша, еще бы ничего, но ведь свой, галатепинский...

— Что я еще могу? — виновато произнес Ибадулла Махсум.— Я бы сам рад, он мне не чужой, родной племянник!..

— Пес тебе племянник! — заорал уже Нурмат.

— Вы не сердчайте, Махсум, похоже, он не выспался,— сказал старик Хуччи с явным смущением.— Вообще, вам надо было помягче, мол, она может сбежать, мол, надо предотвратить, беда бы какая не случилась, а вы, Махсум, возьми и скажи: сбежит твоя жена, Нурмат!..

— Разве она не сбежала? — спросил Ибадулла Махсум.

— Сбежала,— грустно подтвердил старик Хуччи.

— Разве я не был прав, почтенный?

— Вы правы, Махсум, тысячу раз правы, я еще не встречал человека правдивей вас, Махсум, но все же...

— И почтенный Хуччи прав,— согласился мулла Данияр.— Вы, Махсум, пожалуйста, впредь не будьте таким категоричным, попробуйте... Ведь ангелы разные бывают, и добрые среди них есть, есть и злые, чаще злые и говорят: «Да сбывтся твоему слову!..»

— А зачем? — недоуменно спросил пастух Наим.— Зачем ангелам-то вмешиваться?

— Им аллах так велел,— уклончиво ответил мулла Данияр.

— Они же бесполое,— старик Хуччи рассудил чуть иначе.— Оттого, что бесполое, им, должно быть, все равно.

— Не грешите, почтенный,— слегка пожурил мулла Данияр старика Хуччи, затем вновь обратился к Ибадулле Махсуму: — Попробуйте говорить правду, Махсум, но чтобы она была чуть помягче...

— А что тогда останется от правды? — спросил Ибадулла Махсум.— И вообще, как прикажете ее смягчить?

— Не знаю — как, но я уверен, это вам под силу,— кротко улыбнулся мулла Данияр.— Попробуйте, Махсум...

— Попробую,— мрачно пообещал Ибадулла Махсум.— Не лучше ли будет, если я вообще говорить перестану?

Ему не ответили. По лицам галатепинцев можно было понять, что они смущены. Ведь это так трудно — сказать о своих добрых чувствах. Ибадулла Махсум живо себе представил, каково было бы ему самому, если бы его друг Хуччи вдруг перестал говорить — страшно даже подумать! Его охватила такая тоска, а затем — и жалость к другу, смешанная с умилением, что он чуть не прослезился.

— Дядя! — грустные мысли Ибадуллы Махсума опять были прерваны криком Нурмата.— Вы меня слышите, дядя?!

— Слышу, Нурмат,— мягко ответил Ибадулла Махсум.— Иди домой, отдохнуть тебе надо. Мы завтра с тобой поговорим.

Нурмат ему не возразил, попытался даже встать, только — тщетно. Тогда чайханщик сам поспешил ему на помощь.

— Вь. уж не взыщите,— обратился Ибадулла Махсум к гостю, когда Кривой Барат и его помощники вывели пьяного Нурмата.— У нас свои дела...

— Нет, что вы, Махсум-бобо! — горячо возразил гость.— Я ведь не

чужой, все понимаю.

С этими словами он поспешно взглянул на старика Хуччи. Тот его сразу понял.

- Наш гость из Шоркудука приехал, Махсум,— представил старик Хуччи, — Зовут его Хаджикул, сын покойного Абдурахмана.

— Шорника Абдурахмана? — спросил Ибадулла Махсум.

— Нет, покойный шорник, он из Сарсана был, а наш гость из Шоркудука явился.

Вы, почтенный, чуть ошиблись, покойный шорник родом из Шоркудука, потом уже переселился в Сарсан,— возразил ему Ибадулла Махсум.— В Сарсане тогда своего шорника не было. Но в Шоркудуке остались еще четыре Абдурахмана, трое из них уже покойники. А он чей? Может, Абдурахмана Лопухого сын?

Гость смущенно кивнул — он сам был лопухим.

— Хаджикул хочет жениться на Зубейде, вдове покойного Хазраткула,— сказал старик Хуччи.— Но сперва хотел бы знать ваше мнение, Махсум...

— Ну что же,— одобрительно посмотрел Ибадулла Махсум на гостя. — Не век же ей траур носить, хорошо он задумал, сын Абдурахмана...

— Его отец был хорошим табунщиком,— сказал старик Хуччи, в его устах это означало высшую похвалу.

— А у него самого конь есть? — поинтересовался Ибадулла Махсум.

— Есть, — ответил гость.— Он, может, не такой породистый, как у почтенного Хуччи-бобо, но тоже очень добрый...

— Такого скакуна, как у Хуччи, нигде не найдешь,— произнес мулла Данияр.

Старик Хуччи даже расцвел от удовольствия.

Хороший он парень, Махсум, вы уж поверьте мне, — заявил он.— Дай бог ему счастья с Зубейдой!

— Я согласен, — сказал Ибадулла Махсум,— У нас хоть один шоркудукец будет. А то все галатепинцы да галатепинцы. Нам очень не хватает тихих людей, почтенный й.

— Он хотел бы ее увезти к себе,— вставил мулла Данияр.

— Лучше, если Зубейда здесь останется,— рассудил Ибадулла Махсум.— Она женщина, ей трудно будет среди чужих...

— Я же мужчина, Махсум-бобо,— несмело возразил гость.

— Это мы еще проверим,— оборвал его Ибадулла Махсум.— Сиди и

молчи, пока мы сами все не решим.

Гость умолк.

— Хаджикул правду говорит,— заступился мулла Данияр за гостя.— Мужчине не подобает селиться в доме жены. Вы мудры, Махсум, но на этот раз неправы. Это в вас другой человек, просто галатепинец говорит. Неужели вы сами не чувствуете, что неправы?

— Чувствую,— признался Ибадулла Махсум.— Жалко стало.

— Только и осталось что идти ее сосватать,— предложил мулла Данияр.— Как вы думаете, Махсум, Зубейда согласится?

— Не знаю.

— Как это так, Махсум,— обиделся старик Хуччи,— вы все знаете, а этого не знаете?

— Не знаю,— упрямо повторил Ибадулла Махсум.— Я об этом ни разу не думал.

— Как же быть? — забеспокоился мулла Данияр.— А вы подумайте, Махсум. Сейчас не получится,— возразил Ибадулла Махсум,— Раньше надо было. А так, с ходу... Остается посвататься, тогда и станет известно, согласится она или нет. Ну, вставай, сын Абдурахмана!..

Все заулыбались, даже сам гость, который, позабыв всякое приличие, тут же вскочил на ноги, но вскоре вынужден был погасить свою улыбку — так строго посмотрел на него Ибадулла Махсум.

— А кто пойдет сватать? — спросил мулла Данияр.

— Я сам пойду,— сказал Ибадулла Махсум.

— Может, и я пойду, Махсум?..— несмело спросил старик Хуччи.

— Нет, почтенный, лучше я один...

Ибадулла Махсум осушил пиалу, затем не спеша встал и сошел с топчана. Когда он надевал кавуши, мулла Данияр не выдержал и спросил:

— Как думаете, Махсум, будет прок?

— Не знаю,— ответил Ибадулла Махсум.— Теперь я ничего не знаю.

...Походка Хаджикула была очень неуверенной, робкой. Видно было, что он обеспокоен. В сравнении с ним Ибадулла Махсум выглядел просто молодцом. Красивый скакун Хаджикула, что был под ним, как бы придавал особую значимость возложенной на него миссии.

С широкой улицы они свернули на улочку справа, которая долго вела меж дувалами садов, затем плавно спускалась вниз к речке, а там, перейдя через мостик, превращалась в тропинку, что все тянулась да вилась по берегу, никак не желая расставаться с речкой.

Всю дорогу попадались люди. При виде женских и детских голов, то и дело вырвавшихся над дувалами, Хаджикул съеживался, озирался, словно мышшь, которая ищет, куда бы ей юркнуть.

Когда осталось шагов сто до заветных ворот, Хаджикул остановился. Ибадулла Махсум вынужден был слезть с коня и взять его за руку.

— Не смущайся,— сказал он и увлек за собой жениха.

— Может, в другой раз?..

Но Ибадулла Махсум не хотел и слушать. Вскоре они дошли до ворот и остановились отдышаться.

— Видишь? — показал Ибадулла Махсум на полуразвалившиеся дувалы двора.— Плохо, когда в доме мужчины нет.

Хаджикул ничего не ответил. Может, ему неприятно было думать о муже Зубейды, даже о покойном.

Ибадулла Махсум привязал коня к железной скобе на створке ворот и негромко постучался. Ответа не последовало.

— Может, я все-таки пойду,— несмело сказал Хаджикул.

— Заладил себе, пойду, не пойду!..— рассердился Ибадулла Махсум,— Будь добр немного постоять, ты что, жениться пришел или кокетничать?

Хаджикул покорно замолчал. Ибадулла Махсум постучался сильнее:

— Эй, есть живая душа?!

Во дворе залаяла собака. Створка ворот медленно отворилась, и в проеме показалась голова мальчика лет одиннадцати — двенадцати. Ибадулла Махсум отстранил его и вошел во двор. Хаджикул последовал за ним.

Собака, привязанная под тенистым карагачом, залаяла еще сильнее. Зубейда, видимо, не ждала гостей, она убирала навоз в открытом хлеву. Посмотрела в сторону ворот, узнала гостей и покраснела. Лопата с грохотом выпала из ее рук. Курицы, что клевали в яслях, испуганно вспорхнули и перелетели через плетеный забор, кудахтача и поднимая пыль. Женщина закашлялась, взялась за ручки тачки и высыпала ее содержимое обратно на землю, затем, поняв, что сделала, пище покраснела...

— Добро пожаловать, Махсум-бобо,— смущенно произнесла она, когда вышла из хлева.— Пожалуйста, к супа проходите. Как поживают ваши, как невестка, она сына родила?..

— Нет, дочку,— сказал Махсум.— У них в роду все такие, сперва

десяток девочек, и только потом одного мальчика... Будем ждать, Зубейда.

Под карагачом жалобно заскулила собака.

— Вы садитесь, — сказала Зубейда, все еще обращаясь к одному только Махсуму, — Я сейчас, отнесу еду собаке...

Ибадулла Махсум прошел и сел на супа. Хаджикул не сдвинулся с места, смотрел, словно замороженный, на красивый стан вдовы. Зубейда быстрыми движениями сняла с очага маленький казан, перелила содержимое в собачью посудину и направилась к карагачу. Собака завиляла хвостом.

— Садись, сын Абдурахмана, — сказал Ибадулла Махсум.

Хаджикул робко сел.

— У нее собака почти не лает, — молвил он грустно.

— А кто это лаял, когда мы вошли, не муж ли твоей тетки? — рассердился Ибадулла Махсум. — Неблагодарный же ты!.. Знавал я твоего деда, хороший был человек, всю жизнь носил одну-единственную пару сапог, и те ему были малы, но он — ничего, терпел, ни разу не говорил, мол, жмут... Ты что воротишь нос?.. Пока еще неизвестно, согласится ли она вообще!..

Хаджикул молчал, боясь сказать лишнее: жалко было бы потерять такую женщину, которая, надо заметить, могла соперничать по стати (да по всем статьям!) с иной юной красавицей.

— Иди, носи воду, — приказал Ибадулла Махсум мальчику, который безучастно стоял возле супа.

Мальчик принес кувшин с водой и полотенце.

— Хороший кувшин, — сказал Ибадулла Махсум, вытирая руки. — Небось от покойного остался?

— Его, — подтвердила Зубейда. — Если понравился, можете себе взять.

— У меня свой. Оставь его себе, может, на старости лет молиться начнешь.

— Когда это будет! — сказала Зубейда.

Очень скоро, — строго ответил Ибадулла Махсум. — Сколько сейчас тебе лет?

— Тридцать семь.

— Тридцать восемь, — уточнил Ибадулла Махсум. —

В пятницу это было, отец твой пришел ко мне, сказал, дочка у меня родилась. В тот самый день, когда рыжую корову почтенного

Хайбарова укусила змея, ты меня не проведешь, Зубейда!..

Женщина опустила глаза.

— Ладно, не смущайся, садись на супа,— сказал Ибадулла Махсум.— И сыну скажи. Есть одно дело, обговорить надо. Вот этот человек, зовут его Хаджи, сын покойного Абдурахмана Лопоухого, приехал из Шоркудука. Одинокий, как и ты, Зубейда. Вот мы решили тебя выдать за него замуж, за сына Абдурахмана.

— Я не думаю выходить замуж,— сказала Зубейда, краснея.

— Ты сперва послушай, отказать всегда успеешь, ну, давай поднимись на супа,— приказал Махсум, затем, когда женщина села, продолжал: — Скажи, Зубейда, что ты вообще видела хорошего на свете, кроме нескольких лет жизни с этим, аллах меня прости, нытиком?..

— Он был мой муж,— молвила Зубейда.

— Дай мне сперва сказать, разве я не прав, он только и знал, что ночами напролет молился, вот бог и забрал к себе...

— Не говорите о нем так!..— обиделась Зубейда.

— Ладно, оставим его,— согласился Ибадулла Махсум. Теперь скажи прямо, хочешь ли выйти замуж, только не тяни, сразу отвечай.

— Не хочу,— ответила вдова.

Ибадулла Махсум не поверил ей, немного подумал и решил пустить пробный шар.

— Ваз ты не хочешь,— начал он,— почему сказала «да» топ свахе, что послал этот человек? Ведь сперва женщин посылают?

Зубейда с укором посмотрела на Хаджикула: эх ты, все успел выложить!..

Ибадулла Махсум повторил свой вопрос.

— Я не говорила «да», Махсум-бобо,— заговорила Зубейда.— Баба я, одним словом... Немного пожаловалась на свою жизнь, а она, ведьма, возьми да прими это как согласие.

— А теперь скажи ты, сын Абдурахмана,— обратился Ибадулла Махсум к Хаджикулу.— Она сказала твоей свахе «да»? Сказала или нет?

Хаджикул растерялся, он с мольбой посмотрел на Зубейду и пробормотал:

— У вас один ребенок, у меня тоже... Вот, браком бы сочетаться...

— О браке еще рано говорить,— урезонил его Ибадулла Махсум.— Ты сам с ней хоть говорил?

— Говорил, Махсум-бобо,— признался Хаджикул.

— Ну, а что ты на это скажешь? — спросил Ибадулла Махсум у Зубейды.

— С базара он возвращался, попросил воды напиться,— ответила женщина и опять покраснела.

— Не пить же он зашел,— улыбнулся Ибадулла Махсум.— Вон сколько людей на дороге, у них он ничего не просит, идет от базара совсем в обратную сторону, чтобы напиться, странная у него жажда!..

Плохо быть вдовой, Махсум-бобо,— призналась Зубейда.— Только и думаю, как бы на язык кому не попасть. Поплачу, так сразу скажут, мол, выставляет своевдовство напоказ, засмеюсь, так скажут — мужика, мол, захотела. Трудно мне, Махсум-бобо!..

Женщина опустила голову. Глядя на нее, Ибадулла Махсум немного грустил.

— Чего тут скрывать, вы уже договорились между собой,— сказал он немного погодя.— Теперь послушаем из твоих уст, Зубейда. согласишься — мы выдадим тебя замуж. Вроде неплохой человек, а если что, так мы пойдем всем кишлаком и переколотим Шоркудук, за это я ручаюсь.

— Я никого и пальцем не трогал,— заверил его Хаджикул.

— Это правда,— подтвердил Ибадулла Махсум.— Шоркудукцы, они народ мягкий, никогда не дерутся, только вот плохо, что они друг на друга разные бумажки пишут. Ну, скажи, дочка, ты согласна?

— Не знаю, что и сказать,— смутилась Зубейда.— Я ведь не одна, у меня сын... Что ты скажешь?

Ибадулла Махсум посмотрел на сына Зубейды. До этого он как-то и не думал о нем, а теперь задумался — дело принимало совсем неожиданный поворот.

— Как сына-то зовут? — спросил он.

— Сайфуль-Мулюк,— не без гордости ответила женщина.

— Чудное имя,— сказал Ибадулла Махсум.— Небось отец его так назвал?

— Он,— сказала Зубейда,— Покойный три ночи кряду листал свои книги, пока не нашел это имя. Он еще совсем маленький, Махсум-бобо, ему бы воспитателя хорошего...

— Ты его не вмешивай, — нахмурился Ибадулла Махсум.— Скажи, сама хочешь, а сына оставь. Ну что, сын Хазрата, поедешь в Шоркудук?

— Шоркудук далеко, — ответил мальчик.

Ибадуллу Махсума неприятно поразил его ответ, так вяло было это произнесено. Он повнимательней посмотрел на мальчика: странный такой, огромные ясные глаза, длинные, загнутые кверху, ресницы, хилый и бледный, вылитый отец, будто его не мать, а сам Хазрат родил.

— Шоркудук — не край света,— недовольно заявил Ибадулла Махсум.— Я тебя спрашиваю, выдадим ли маму замуж?

— Не знаю...— все так же вяло выдавил мальчик.

— Что это с ним, Зубейда? — все больше удивляясь, спросил Ибадулла Махсум.

— Он у нас немного стеснительный. Это пройдет, будет, как меч, острым парнем!..

— Что-то непохоже... Или ты сама его запугала?

— Что вы, Махсум-бобо, как вы могли подумать такое!..

Но Ибадулла Махсум пребывал в явном недоумении.

— Послушай, сын Хазрата, хочешь, мы выдадим маму замуж за этого дядю, за шоркудукца?

Мальчик молчал. Сидел и сопел. Ибадулла Махсум, потеряв терпение, собрался встать:

— Мальчик согласен, теперь можешь увезти, Хаджи.

— Вы не уходите, Махсум-бобо!..— смешалась вдова.— Ведь Сайфи ничего не сказал...

— Разве он ослушается тебя?

— Я его не научила, бог свидетель, не научила!..— с отчаянием вскрикнула Зубейда.— Вы на меня клеветаете, Махсум-бобо!

Ибадулла Махсум сильно оскорбился, так и зыркнул глазами — будь на месте Зубейды мужчина, тому явно бы не поздоровилось. Но он сумел-таки проглотить обиду.

— Не мое дело это, Зубейда,— сказал он тихо.— Вот с сыном и решайте. Не по своей воле я пришел. А коли пришел, надо было спросить... Тебе надо выйти замуж, ты еще молода. Ну, что будем делать, Сайфуль-Мулук, будем выдавать маму замуж? За этого человека, за шоркудукца, за Хаджикула, сына Абдурахмана?

Сказал он это зло, с намерением оскорбить, взбунтовать мальчика, пускай он будет ругаться, пускай заплачет — лишь бы не молчал. Но мальчик даже не шелохнулся, был нем, немее прежнего.

— У человека нет гордости,— заключил Ибадулла Махсум.

Сказал просто, без желания обидеть женщину, но той от этого не

стало легче. Готовая разрыдаться, она с трудом глотнула слезу.

— Махсум-бобо,— жалобно промолвил Хаджикул.— Махсум-бобо!..

— Замолчи же!..— закричал Ибадулла Махсум.— Думаешь, у тебя у одного болит?

Наступила тишина. Все молчали, только мальчик сопел и изредка шмыгал носом... бледненький, с длинными ресницами, с тоненькими губами, подумать только, его мать замуж отдают, а он хоть бы что, сидит себе, моргает да шмыгает носом — обидно!

— Что будем делать, Сайфиджан? — спросила Зубейда.— Скажи, дадим согласие Махсуму-бобо?

Спросить она спросила, но сама испугалась, вдруг сын скажет — «нет»?! Она на все была согласна, выйти замуж, уехать в Шоркудук. Но все же спросила, пускай сын что-нибудь да скажет, пускай даже откажет, она все равно не будет его слушаться, сделает, как ей хочется, это даже лучше, если сын откажет, тогда никто не посмеет думать, будто она одна, без покровителя, есть, есть у нее покровитель, ее сын, ему уже двенадцать лет, с ним должны считаться, пускай он им скажет, дай бог, чтобы он отказал, она уверена, сын им откажет, они еще долго будут упрашивать ее, молить на коленях будут!..

— Скажи, сынок, что будем делать?

Мальчик молчал.

— Отвечай же, язык, что ли, отрезан? — Зубейда захрипела, тяжелый комок подступил к горлу.

Оставь, Зубейда, успокойся,— сказал Ибадулла Махсум.— Он еще маленький, смущается...

— Нет у него стыда, Махсум-бобо!..— заявила Зубейда.— Маму замуж хотят выдать, а он молчит!.. Не сын, а слюнявый телок, хуже теленка... Я — как коза без хозяина, всяк хочет ею владеть! Лезут в мужья, кому только не лень. А этот теленок только и знает, что сопит... Он хуже этого пса на привязи, тот хоть оберегает меня, а этот, этот!..

Зубейда, вне себя от ярости, набросилась на сына, успела его ударить два раза, но тот с неожиданной резвостью вскочил и побежал к дому.

Женщина разрыдалась. Ей из дома вторил сын своим ревом, тоже неожиданно громким. Хаджикул сидел как на иголках. Ибадулла Махсум, обычно такой невозмутимый, тоже не знал, что теперь делать. Успокоить вдову, утешить? Но это не представлялось возможным. Женщина рыдала вовсю, потеряв присущую ей вдовью гордость, лицо

ее стало несчастным, некр&ивым, будто вся уродливость бесчисленных дней одиночества вдруг проступила наружу.

С минуту продолжалась эта сцена, пока вдова не взяла себя в руки и не вытерла слезы краешком платка.

— Я от вас не ожидал такого, Махсум-бобо! — простонал Хаджикул.— Думал, вы мне поможете, так бы я сам...

— Хватит, сын Абдурахмана, а то худо будет!..— гневно отрубил Ибадулла Махсум.— Разве не видишь? Что тут еще можно говорить? И у тебя нет стыда, и ты выдал бы, не будь она стара, свою мать за первого же встречного, и ты не пикнул бы!..

Хаджикул, весь багровый от обиды и возмущения, встал с места.

— Иди, принеси дастархан, жена Хазрата,— велел Ибадулла Махсум Зубейде.— Нельзя уходить из дому, не отведав хлеба.

Женщина принесла дастархан с лепешками.

— Терни, дочка, я тебя понимаю, но терпи,— глухо произнес Ибадулла Махсум, не смея смотреть ей в глаза.

Вдова грустно кивнула.

Ибадулла Махсум отломил кусочек лепешки, отправил его в рот и встал. Когда он вышел за ворота, Хаджикул отвязывал своего коня. На этот раз он не предложил Ибадулле Махеуму коня, и сам на него не сел. Пошли рядом, молча. Так и шли до самого пустыря за двором старика Хуччи.

— Ты ищи себе жену в самом Шоркудуке, Хаджи,— сказал Ибадулла Махсум,— Вдовы Галатепе не подойдут тебе, гордость им не позволяет. Бог свидетель, я хотел, но все вышло иначе, не судьба, значит. Между нами не должно быть зла, сын Абдурахмана. Если ты хочешь поминать мою мать, то только здесь, я не люблю, когда меня за глаза честят.

Хаджикул недобро посмотрел на него, но промолчал.

— Если хочешь, отведи душу прямо сейчас,— посоветовал Ибадулла Махсум.— Я тебе ничего не скажу. Только не вздумай ругаться по дороге, конь тебя сбросит.

Хаджикул не удостоил его ответом, сел на коня и поскакал. Метров через сто конь вдруг споткнулся и чуть было не сбросил хозяина. Но Хаджикул удержался на стременах и резко оглянулся назад.

— Что я тебе говорил!..— крикнул Ибадулла Махсум.— Смотри, впереди много обрывов!..

Хаджикул улыбнулся жалкой улыбкой и несмело дернул за уздечку

коня. Ибадулла Махсум долго еще стоял, глядя ему вслед, очень даже долго — так медленно теперь шел конь Хаджикула.

1981

Шаходат Исаханова
р. 1949

ДЕТИ КАК ДЕТИ

1. Твоя тетушка Матти

Маленькой Гульчирай не терпится показать подружкам свое новое атласное платье. Она выбегает во двор и озабоченно смотрит по сторонам. Но двор пуст и тих. Гульчирай разочарованно вздыхает, смуглой ладошкой любовно проводит по платью и уже собирается уйти, как вдруг замечает возле дальнего подъезда, под старым тополем, нескольких женщин, а среди них — вот удача! — тетушку Матти.

— Тетя Матти!

Одна из женщин оборачивается на ее тонкий голосок и радостно всплескивает руками:

— Вай! Сношенька моя пришла! Вы только взгляните, как она выросла! Иди, иди сюда, детка! Покажись-ка! Ай да платье, так и переливается!

Тетушка Матти протягивает руки в золотых браслетах к бегущей к ней Гульчирай. Девочка счастлива, подол ее красивого платья развеивается на бегу. Ей навстречу летят восторженные возгласы тетушки Матти. Ах, какая славная тетушка! Как ласково она называет Гульчиру сношенькой, угощает шоколадкой, когда забегает к ним домой, да ведь и этот атлас им принесла тетушка...

— Ну и платье! Настоящий натуральный шелк, без примеси. Сейчас такой не найдешь. Офтабхон, ее мать, еще в прошлом году этот отрез у меня взяла...— Тут тетушка Матти совсем неожиданно поджимает губы и продолжает постным, убитым голосом: — Только и досталось же ей за это от мужа!

— Небось отругал, что дорого? — Сидевшая рядом с тетушкой Матти полная женщина щупает корявыми натруженными пальцами атлас на Гульчирай.

— Им хоть за сколько отдай, все равно скажут — дорого,— бурчит тетушка Матти и, понизив голос, заговорщицки сообщает: — Муж у нее... того... заносчивый очень, важный... Дорого! Да я всего восемьдесят рублей и взяла за отрез. Продала в рассрочку, на два раза, а они мне, поверите, в три приема с трудом заплатили. До сих пор сердце ноет, как

вспомню. Поторопилась я с этим отрезом!

— Вай, чтобы высох он, такой муж... скряга! А еще говорят — большой человек, в порядочном месте работает...— поддакивает тетушке ее полная товарка.

— Одно название — большой человек, а на самом деле — грош ему цена в базарный день. Еще и поучать других любит! Талдычит жене: мол, не покупай с рук, спекулянтов, мол, нельзя поддерживать...

Полная женщина весело смеется, блестя металлическими синеватыми зубами.

— Вай, умереть мне от смеха на месте! Где же он собирается дефицит доставать?

— В магазине!

— Вот-вот, пусть ходит в магазин, там ему вместо атласа штапеля преподнесут! Бедняжка Офтабхон! Где она раскопала такого скрягу?

Но тетушка Матти снова одаривает вниманием маленькую Гульчирай. Она поправляет ей воротничок и спрашивает:

— Кто шил?

— Мама! — Слуха девочки не коснулись пересуды женщин, она не обращает на них внимания. Сейчас она живет в своем мире, мире восторга, радости: платье нравится всем!

А тетушка Матти нагибается под скамью, к своим ногам, и вытаскивает большой узел. Ее подружки начинают жадно рассматривать содержимое узла — отрезы разных расцветок.

— Натуральный крнсталлон! Самый что ни на есть натуральный! — расхваливает материю, как на базаре, тетушка Матти, — Я еще не потеряла совесть, чтобы подсовывать сийлон под маркой кристаллона...

Пока женщины жадно ворошат отрезы, Гульчирай смотрит по сторонам — не появились ли подружки? — и, не увидев их, гордо повторяет:

— Мамочка сшила! Мама!

— А где твой папа? — вдруг быстро спрашивает ее тетушка Матти.— Что-то его давно не видно. Не в командировку ли он уехал?

На лицо Гульчирай словно набегают тень от легкого облачка, но она простодушно сообщает:

— Нет, он не в командировке, он у своей мамы, моей бабушки...

— Он что же, в гостях там?

— Нет, не в гостях, он совсем там поселился...

Глаза тетушки Матти делаются круглыми как пятаки:

— Ну-ка, ну-ка! Садись-ка сюда! — Она легко подхватывает с земли девчущку и сажает рядом с собой.— Ты говоришь, что он там навсегда поселился? Значит, он ушел от вас с мамой?

— Ушел...

При этих ее словах женщины перестали обсуждать достоинства отрезов и смолкли. Тетушка Матти была потрясена больше других.

— Как ушел? Почему ушел? — закидала она вопросами девочку. Слюна фонтанчиками вылетала из ее рта, украшенного редкими золотыми зубами. — Они поругались с мамой? Да? Из-за чего?

Гульчирай пожала плечами и на мгновение задумалась. И правда, из-за чего они поругались? Гульчирай тогда была на кухне. Услышав громкий голос мамы, она вбежала в комнату...

— Я... Я не знаю, из-за чего... Потом папа ударил маму...

— Избил?! — Тетушка многозначительно взглянула на женщин, еще ближе придвинулась к Гульчирай. — Чем избил?

— Рукой...

— Гм-м... Сколько раз ударил?

— Один раз стукнул.

Тетушка Матти снова выразительно взглянула на женщин.

— Наверное, не один раз? Ты просто забыла?

— Нет, правда, только один раз стукнул...— Гульчирай, видя, что тетушка не верит ей, стала припоминать, как все было. Да, она мыла чашку на кухне, когда мамочка крикнула. Гульчирай прибежала в комнату. Они сидели на диване. Мама опять что-то сердито крикнула, а папа ударил ее по щеке. И все. Потом он хлопнул дверью и ушел.— Нет, он только один раз маму стукнул,— уверенно теперь сказала Гульчирай.

— А мама что сделала?

— Мама? Заплакала.

— Отчего же твоя мама не вцепилась в отца? Вот так? — Тетушка Матти, как клещами, вцепилась в воротник сидевшей рядом женщины. Внимательно слушавшие соседки этот разговор разом расхохотались. Гульчирай снова пожала плечиками. Взбудораженная услышанным тетушка Матти жаждала подробностей, поэтому спросила вкрадчиво: — А что она сказала?

— Кто?

— Да мама твоя!

- Она крикнула, что больше не хочет видеть его.
- Так, так! А отец что ответил?
- Папа сказал, что ноги его больше не будет в нашем доме.
- А потом? Потом что было?
- Потом папа ушел.

Тетушка Матти скосила глаза в сторону соседки с металлическими зубами и злорадно прошипела:

- Так ей и надо, гордячке!

Женщины даже вздрогнули от таких неожиданных слов и переглянулись между собой: минуту назад Матти называла Офтабхон бедняжкой. Одна из них сказала:

— Потихе, а то еще расскажет ей,— она указала глазами на Гульчирай.

- Ну и на здоровье! Пожалуйста!

— Да бросьте вы, Матлюбахон! Нехорошо, если мать узнает, обидится...

— Пусть, пусть! — Тетушка Матти стала запихивать отрезки в мешок. Потом, ткнув себя пальцем в грудь, зло посмотрела на окно с краю на втором этаже.— Вот здесь сидят у меня ее нотации! Змея от возмущения сбросила б свою кожу, если бы услышала ее слова! Знаете, что она мне однажды ляпнула? «Вы,— говорит,— тетушка Матлюба, не обидитесь, если я вам что-то скажу?» Я скрепя сердце отвечаю: мол, говорите. А она вспомнила, наверное, что жена начальника, стала меня отчитывать. «Бросьте,— говорит,— вы эту перепродажу, неудобно перед соседями, тетушка Матлюба». Оказывается, неудобно! У меня так п чесался язык отбрить ее, но я сдержалась. Нарочно пустила слезу и говорю: «Сами знаете, мужа у меня нет, ведь не просто прокормить троих детей». А она поучает меня: «Кто голодает в наше время? Что вы так боитесь голодной остаться? Где-нибудь работайте, получайте зарплату. И перед людьми, и перед собой у вас будет совесть чиста». Что мне ответить на это? Я промолчала, все проглотила. Но после этого разговора хоть бы постеснялась покупать у меня атлас! Взяла ведь, проклятая, вот этот... взяла! А я, ее испугавшись, уступила всего за восемьдесят рублей. Ведь сейчас бы мне за него отвалили целых сто пятьдесят! Ладно уж, я женщина богобоязненная. Вот ее теперь бог и наказал. Посмотрим, как без мужа...

— Эй, эй, Матлюбахон! — предостерегающе сказала смуглая женщина и подмигнула худенькой старушке.

Та, встав, взяла за руку Гульчирай, изумленно уставившуюся в лицо тетушки Матти, и отвела ее в сторону.

— Иди, доченька, поиграй. Вай, какое красивое платье у этой девчушки!

Гульчирай, оглядываясь на чем-то обиженную тетушку, пошла к своему подъезду.

— Тетя Матти, а я пришла! — Гульчирай обрадовалась, увидев в подъезде Матти: она подметала лестницу. Тетушка Матти была соседкой по подъезду, но жила на первом этаже.— Можно я у вас побуду до прихода мамы?

— Вот еще... Нашлось лекарство для чирья,— пробурчала тетушка, продолжая орудовать веником.

Гульчирай не разобрала ее слов. Она, толкнув плечом дверь тетушкиной квартиры, начала вытирать туфельку о мокрую тряпку, постеленную у входа.

Тетушка Матти в два прыжка достигла своей квартиры и, вытолкав девочку, захлопнула дверь.

— Иди, иди! Ступай своей дорогой!

Испугавшись злого вида тетушки, Гульчирай бегом кинулась прочь. Она никак не могла понять, почему тетушка так изменилась. Чем Гульчирай ее обидела? Ведь тетушка всегда так ласково называла ее сношенькой. И сын ее, Азад, почему-то перестал играть с Гульчирай. А соседка с четвертого этажа Эр«а-апа сказала тетушке Матти, указывая на Гульчирай: «Матлюбахон, взгляните, как растет ваша сношенька». А тетушка ответила: «Упаси боже породниться с такой родней! С какой стати она мне будет невесткой?»

Гульчирай так обиделась! Если бы пана не ушел от них, она бы все рассказала ему. Хотела рассказать маме, но забыла. Ах, мамочка... Зачем она тогда закричала на папу? Если б не закричала, может, он и не ушел бы от них... Папа такой добрый... Он раньше всех детей забирал Гульчирай из детского сада. А с тех пор как он ушел, Гульчирай забирают самой последней. Мама не успевает... Сегодня ее привела из сада соседка. Надо было пойти к ней, а Не к тетушке Матти... Там, наверное, сядутся ужинать...

Девочку затошнило от голода, но, вспомнив, что в подъезде подметает лестницу тетушка Матти, она побоялась подняться на второй этаж к соседке.

— Гульчирай, Диларом! Ваш папа пришел! — кричит нянечка,

протирая полы в раздевалке. — Соберите игрушки и выходите!

Гульчирай, бросив куклу на ковер, кидается к дверям, но нянечка с тряпкой в руке встает у нее на пути:

— Куда?

— Мой папочка пришел!

— Не твой, а Самадовой.— Нянечка кивает в сторону девочки в переднике. Самадова — тетка Гульчирай. Гульчирай сникает, неприязненно косится на свою тещу. Ну, конечно же, если б не было этой Самадовой, то она, Гульчирай, выбежала бы в раздевалку. За ней папа пришел, а она копается, никак игрушки собрать не может...

Гульчирай не отходит от дверей. Вверху они застеклены, но белые занавески мешают смотреть, что происходит в раздевалке. Гульчирай чуть-чуть раздвигает занавески и глядит в щель. Диларом, уже одетая, стоит наготове. Вот она попрощалась с воспитательницей и нянечкой. Гульчирай переводит взгляд на одежный шкафчик своей тещки. Возле него стоит высокий мужчина в очках. В одной руке он держит пальто, а в другой — сладкий коржик...

На глаза Гульчирай набегают слезы. Ее папа тоже приносил вкусные коржики. А по дороге домой он покупал еще и мороженое! Когда же он вернется! А вдруг совсем не вернется, ведь ему мама крикнула, чтобы...

Плохо, если не придет. Тогда у нее не будет папы. А кто ее в зоопарк поведет? Ах, вернулся бы, вернулся... Гульчирай рассказала бы ему обо всем. И как тетушка Матти сказала соседке, что Гульчирай не будет ее сношенькой, и как Азад, сын тетушки, запустил в нее камнем. Рассказала бы все, все!

— Отойди, я выйду!

Гульчирай посторонилась и дала выйти в раздевалку своей теще, а сама села на стульчик и уставилась в окно. Она и раньше любила смотреть в окно, но тогда она ждала легкий стук папиных пальцев по стеклу...

— Гульчир!

Вздвогнув, Гульчирай оглянулась на дверь. Там, показывая в улыбке щербинку, точно дразнясь, стояла тетка Гульчирай. Гульчирай рассердилась:

— Вот тебе! — И показала подружке язык.

— Гульчир! Выходи скорее! Твой папа идет!

— Что? Мой?!

Гремя упавшим стульчиком, Гульчирай кинулась к двери.

— Куда? Куда, спрашиваю? — встала на ее пути нянечка.

— Папа! Папочка мой!

Прошмыгнув мимо оторопевшей няни, она выскочила в раздевалку и, не заметив стоявшего в сторонке отца, отчаянно крикнула:

— Где, где он?

— Вон, да вон стоит, дуручка! Позади тебя стоит! — рассмеялась тезка.

Гульчирай круто развернулась. Ее папочка! Сколько игрушек принес!..

— Ой...— ойкнула Гульчирай и замерла на месте. Вмиг исчезла бьющая ключом радость, она вспомнила слова тетушки Матти.— Папочка...— Она отдернула протянувшиеся было ручонки к плюшевому мишке и боком потерлась о брюки отца. — Тетушка Матти... Она теперь не хочет взять меня в сношеньки... Она... Она сказала, что ты больше никогда не вернешься к нам... Это неправда, папочка? Неправда? Теперь ты не уйдешь? Не уходи, я всегда тебя буду слушаться, всегда... Ладно, ладно, папочка?

Отец наклонился и прижался щекой к волосам Гульчирай. Потом сказал, глядя в сторону:

— Ладно, ладно, дочка...

— И снова будешь забирать раньше всех?

— Буду...

Вай, моя сношенька идет! Какой медвежонок-то у нее! — Сидевшая с женщинами на скамейке тетушка Матти, увидев Гульчирай с ее папочкой, заблестела в улыбке редкими золотыми зубами.

Услышав ее голос, Гульчирай вздрогнула и крепче ухватилась за руку отца. Почувствовав его пожатие, она легко вздохнула и, гордо выпятив грудь, покачала го ловой:

— Нет! Теперь я никогда не буду вашей сношенькой! Никогда!

Только что растянутые в ласковой улыбке губы тетушки Матти внезапно скривились в противной усмешке.

2. Большой «А», маленький «А»

Он потер кулачками глаза, потянулся и с шумом зевнул. Сидевшая с ним на парте курносая девчушка, при крив ладошкой рот, фыркнула. Позади кто-то, дразня его, нарочно громко зевнул. Высокая худая тетя в

очках, писавшая на доске мелом, повернулась на шум. Он испугался, что тетя в очках догадается, кто зевнул первым, и спрятался за спину впереди сидящего. Но тетя не подошла к его парте. Обведя взглядом весь класс, она снова повернулась к доске. Закончив писать, она начала объяснение:

— Хорошенько запомните, ребята, это большое «а», а это маленькое...

«Если бы я зевнул на занятиях в детсаду,—подумал он,— тетя из садика обязательно бы узнала меня. Она подошла бы ко мне, схватила бы за ухо и отвела бы в угол. А эта тетя в очках еще плохо знает мой голос... Как-то странно она назвала себя: «Му... муа...» Трудное имя. «Эй, тетя!» — куда бы легче называть. В садике мы так и называли...»

А тетя в очках, постукивая мелом по доске с нарисованными буквами, все твердила одно и то же. «Это — большое «а», это — маленькое «а».

«И зачем она столько раз повторяет? Думает, что трудно запомнить. Даже закрыв глаза, можно сказать, где большой «а», а где маленький. Вот этот большой. Нет... Наоборот... Этот большой «а», этот маленький «а»... А может, вот этот большой...»

Он совсем запутался, опять вспомнил про детский сад, про свою кровать, про толстенькую воспитательницу. Ее прозвали Пончиком. Это прозвище придумали не дети. Первой так ее назвала мама Нигары. Она отчего-то рассердилась на воспитательницу и в сердцах сказала: «Без конца ешь, стала как пончик, а внутри у тебя пусто». Все и подхватили: Пончик! Пончик! Она и в самом деле все время что-то жевала. В школе, оказывается, еду дают за деньги. Потому, наверное, тетя в очках такая худая...

— Ну-ка повторите! Это большое «а», это маленькое «а»!

Он чуть не оглох — такой гвалт поднялся в классе. Курносовая соседка толкнула его локтем: мол, почему ты молчишь? Но он не хотел повторять. Закрыв уши ладошками, он стал наблюдать за тетей в очках. Ой, как интересно! Все движется — и губы, и руки, и глаза, но движется совсем беззвучно. Что они говорят? Он на миг отнял руки от ушей — в них загудело, точно пчелиный улей. Он опять заткнул уши.

— Эй, Кадыров! Ты почему не повторяешь?

Он хоть и не расслышал, но все равно застыл от страха, увидев, что тетя в очках направляется к нему.

— Почему ты не повторяешь? Или тебя это не касается?

Он вскочил с места, что есть силы крикнул:

— Это большой «а», это маленький «а»!

— Какая из этих букв большая, а какая маленькая? Эта или эта? — Тетя в очках отошла к доске, взяла указку и стала тыкать ею в буквы.— Эта или эта?

Он задумался. Этот? Нет, этот... Да, тот... Ведь большой должен быть большой. Вон тот длинный — большой!

— Впереди большой «а», позади маленький «а»,— выпалил он и выжидающе с беспокойством уставился на тетю в очках.

— Хорошо, Кадыров. Садись. Больше не отвлекайся и слушай внимательно.

Он торжествующе посмотрел на ребят и сел. Усевшись поудобнее, победно взглянул и на курносую свою соседку: мол, видела? Знай наших! Но не прошло и минуты, как ему снова захотелось зевнуть. Перед глазами появились какие-то точки. «Оди¹^ два, три...» — стал он считать, но точки замелькали в бесчисленном множестве, и после десяти он сбился со счета. Дети, парты и доска поплыли как на волнах, глаза стала завлакивать пелена. Резкий голос тети в очках стал вдруг мелодичным, убаюкивающим... Хорошо было в садике... Он обедал, играл, спал... А здесь нужно долго сидеть на одном месте и все делать по звонку...

Он вздрогнул. Курносая соседка толкнула его локтем.

Сделав испуганные глаза, она прошептала страшным шепотом:

— Эй, не спи, а то умрешь во сне!

Губы его чуть разомкнулись, чтобы ответить, но он не нашелся, что сказать. «Как бы тетя в очках не заметила, что я задремал!» — опять испугался он.

— Тетя из садика! — Он стал тянуть кверху руку.— Можно мне выйти?

— Во-первых, Кадыров, я не тетя из садика, а муаллима-апа, во-вторых...— Она из-под очков просверлила его строгим взглядом, почему-то на мгновение замолчала, но потом махнула рукой: — Ладно, иди. После поговорим!

«А тетя из садика не отпустила бы ни за что! — промелькнуло у него в голове, когда он вставал из-за парты.— Она никогда не верила, что мне по правде нужно выйти. Все говорила: «Опять обманываешь? Ну-ка сядь на свой стульчик и слушай сказку!» А эта тетя в очках... Эта муаллима-апа мне поверила... Она совсем другая, хорошая,

оказывается...»

Он вышел в коридор и, не зная, куда идти, задумался. Потом повернул назад, в класс. Еще не успел сесть на место, как четверо одновременно подняли руки:

— Можно выйти?

Муаллима-апа громко стукнула но столу указкой. Руки с молниеносной быстротой упали на парты.

— Дети, вспомните, о чем мы договорились на первом занятии. Урок — это не игра. Для отдыха, обеда и других дел есть перемены. Я разрешила Кадырову выйти, но это в первый и последний раз. И ты запомни это, Кадыров! — Муаллима-апа положила указку на стол и, потряхивая коротко остриженными кудрями, подошла к партам.— Теперь вы не маленькие дошколята, а самостоятельные люди. Вам понятно слово «самостоятельный»?

Ребята с недоумением посмотрели друг на друга, но, подумав, что муаллима-апа накажет, если они скажут «нет», предусмотрительно промолчали.

— Да, вы уже самостоятельные, ученики первого класса.— Муаллима-апа, сложив руки на груди, подошла к окну и вновь из-под очков посмотрела в широко открытые глаза детей. О чем-то своем подумала. Потом обратилась к пухлому мальчику на первой парте:

— Гулнев, к тебе вот такой вопрос: представь себе, ты идешь из школы домой и видишь, что сильный мальчик обижает слабого. Как ты поступишь в таком случае?

Узкие глазки Гулиева решительно блеснули:

— Я надаю ему тумаков!

Муаллима-апа, подавив улыбку, обратилась к худенькому мальчику:

— Ну-ка, Махмудов, послушаем тебя! Ты как бы поступил?

Смуглое лицо Махмудова порозовело от смущения. Он что-то невнятно пробормотал.

— Да он сам его испугается! — выкрикнул кто-то сзади.

Все расхохотались. Теперь лицо Махмудова залила краска.

Муаллима-апа строго взглянула на задние парты, откуда донесся голос, и погладила по волосам Махмудова:

— За слабого всегда нужно вступаться, неблагородно обижать слабее себя... Но... Но, конечно, тумаки здесь ни при чем, нужно подействовать на обидчика словами... Это я говорю не только для

Махмудова, но и для всех вас, ребята!

Больше муаллима-апа в этот день не говорила про большой и маленький «а». До самого звонка она заставляла детей раскрывать рты от удивления. Надо же! Прошедшие три дня только тем и занималась, что проверяла их по списку, запоминала, какая у кого фамилия, а теперь рассказывает так, будто рассказывает взрослым!

— Дети,— говорит муаллима-апа, — знайте, что здесь, в этом классе, сидит наше будущее.

Тут и вовсе удивлению не было конца: что за будущее? Какое оно? Почему оно сидит здесь, а его никто не видит?

Муллима-апа улыбнулась и объяснила:

— Будущее это вы, ребята!

Но все равно никто ничего не понял. Тогда муаллима-апа велела встать курносой соседке Кадырова. Первоклассники во все глаза смотрели «т курносую. Неужели она н есть таинственное будущее?

- Ну-ка, Туйчиева,— обратилась к ней муаллима-апа, положив руку на плечо,— расскажи-ка своим товарищам, кем после окончания школы ты хочешь стать? — Заметив спокойный взгляд девочки, она добавила:— Ты не стесняйся, говори!

Туйчиева покраснела, помолчала, будто раздумывала, говорить ей или нет, и все же решилась:

— Танцовщицей...

Кто-то негромко протяжно свистнул, кто-то во весь голос сказал «ого!», кто-то не расслышал, что сказала Туйчиева и стал переспрашивать соседа. Муаллима-апа насупила тонкие брови, строго посмотрела в угол класса, откуда свистнули, а Туйчиеву похвалила:

— Очень хорошо придумала, Туйчиева. Но для того чтобы твоя мечта сбылась, нужно прилежно учиться, быть дисциплинированной.— Потом она повернулась к Кадырову: — Ну как, Кадыров? Не спишь?

Он не ожидал этого вопроса. Он думал, что муаллима-апа спросит и его, кем он хочет быть, и обдумывал ответ. Ребята засмеялись. Туйчиева, которая только что краснела от смущения, теперь сказала уверенным тоном, будто уже стала прославленной танцовщицей:

— Скажи, Кадыров, кем ты будешь?

Да, кем он будет? Что-то ничего в голову не идет... А-а! Вспомнил! Как-то отец сказал гостям: «Мой сын, когда вырастет, станет профессором». Может, это так и будет?

— Что ж, послушаем Кадырова. Кем ты хочешь стать? — сказала

муаллима-апа.

— Я-то? — Он торопливо поднялся. Все ожидающе смотрели на него,—Я... я... Это, как его... буду профессором!

— Ого! — удивился сидевший на задней парте Атаев.— Отец — тракторист, а он профессором захотел стать! Где столько денег возьмешь?

Глаза муаллимы-апа широко раскрылись:

— Это кто же тебе такое сказал, Атаев?

Атаев не ответил.

— Отец его директор совхоза, он все знает! — сообщила Туйчиева.

Наверное, муаллиме-ана стало жарко: на лбу у нее заблестели капельки нота. Она подошла к Атаеву, сняла свои очки длинными тонкими пальцами и тщательно протерла их душистым носовым платком. Она повторила свой вопрос:

— Не бойся, скажи, кто тебе сказал про деньги... Это ведь просто-напросто какая-то чепуха.

Глаза Атаева удивленно блеснули. Учительница — взрослая, а ничего не знает. Надо ей сказать.

Папа сказал моему старшему брату: «Сколько денег я потратил, чтобы ты стал врачом, а пока тебя сделаешь профессором, только аллах знает, сколько ты из меня еще вытянешь!»

Услышав Атаева, он с грустью подумал, что, наверное, ему не быть профессором, раз уж директору совхоза трудно сделать профессором своего сына. А ведь его отец тракторист...

— Так вот, ребята! — Муаллима-апа отошла к доске.— Все это неправда. Вы не обращайте внимания на подобные разговоры. У нас обучение бесплатное, каждый может стать кем захочет. Так? Так! Самостоятельный человек может всего добиться, он действует своим умом. Тех взрослых ребят, которые надеются не на себя, а на своих родителей, я не считаю самостоятельными людьми. Такие ни себе, ни родителям, ни обществу никогда не принесут пользы. Л ты, Кадыров, не вешай носа. Если захочешь, то, когда вырастешь, станешь профессором. И для этого нужно только одно — прилежно учиться!

Покрасневший Атаев не знал, что ему и делать — то ли сесть, то ли продолжать стоять. Муаллима-апа словно забыла про него. Она каждого из ребят спросила, кто кем хочет стать, и оказалось, что в классе действительно сидит будущее: будущие летчики, трактористы, доярки, врачи, артисты. Муаллима-апа всех хвалила, но когда подошла

очередь Атаева и он сказал, что вместо отца будет директором их совхоза, она промолчала и опустила глаза.

По дороге домой он чуть не пел от радости. Оказывается, муаллима-апа такая хорошая! Она поверила, что ее ученик Кадыров станет профессором, не стала смеяться. Значит, мечта его сбудется!

— Эй, мальчик! Подойди сюда, ты — сын Кадыра?

Он обернулся на голос. Его окликнула Айпаш-хола. Странная она какая-то. Целыми днями сидит на ящике под деревом и продает орешки. Ни с кем не разговаривает, ни к кому в гости не ходит. Но с бабушкой его дружит... По словам бабушки, Айпаш-хола обижена на людей. Обижена из-за сына. Ее единственный сын женился в городе да там и остался. Бабушка как-то сказала Айпаш-хола: «Твой сын на такой работе в городе, а ты торгуешь орехами. Разве это хорошо? Брось ты это дело, лучше ходи по гостям, навещай сына, живи в свое удовольствие».

В ответ Айпаш-хола сказала: «Мамагулджон, я торгую не от голодной жизни, мне моей пенсии хватает, даже остается, но пусть ему будет совестно. Вот почему я продаю орешки. Обидно, что на старости лет я сыну не нужна стала». Опять же по словам бабушки, Айпаш-хола не понравилась невестка. Почему такой доброй старухе — и не понравилась? Почему, а?

— Иди сюда, сынок! — Старуха протянула ему горсть орешков и стала обмахиваться краями своего платка из марли. Затем, показав желтые зубы, улыбнулась. — Эге, да

¹ты совсем стал взрослый, самостоятельный! — Она огля- 'дела его с ног до головы своими голубыми глазами без ресниц, пощупала ранец, тяжело вздохнула.

Ему понравилось, что Айпаш-хола назвала его самостоятельным. Он даже приподнялся на цыпочки, чтобы казаться выше, гордо расправил плечи. Улыбчивое лицо старухи почему-то потемнело. Он это заметил и тут же вспомнил ее слова, сказанные бабушке: «Тавба, о аллах! Чем лучше мы живем, тем больше отдаляемся друг от друга. В кишлаке нет ни одного смелого человека, который бы написал письмо моему сыну, отчитал бы его как следует и напомнил про совесть. Никто не хочет ввязываться в чужую жизнь, не хотят неприятностей. Эх, если бы я была грамотной, уж я бы все написала моему сыну, все бы выложила начистоту».

И тут его осенило. Постой, постой... Ведь сегодня они выучили

большой «а» и маленький «а», завтра выучат другие буквы. А потом... потом он сможет написать письмо под диктовку Айпаш-хола!

Он обрадовался.

— Айпаш-хола,— сказал он, прищурившись, и от этого лицо его стало по-взрослому серьезным,— хотите, я вам напишу письмо?

Темное лицо старухи болезненно сморщилось:

— Какое письмо, свет мой?

— Это... Как его... Сыну вашему... Вы-же сказали, что если бы знали грамоту, то написали бы ему, а я грамотный... Вот...— Он торопливо снял с плеча ранец, вытащил голубую тетрадь.— Вот,— посмотрите... это большой «а», это маленький «а»...

Вместо ожидаемой радости на лице Айпаш-хола отразилась еще большая грусть.

— Айпаш-хола, я правду говорю! Как только выучу все буквы, так и напишу! — Он торопился высказать, что думает, боясь не убедить старуху. Загорелое лицо его порозовело.— Вы мне продиктуете, а я все напишу, все, все! Вы мне верьте, ни одного слова не пропущу. Я сдержу свое обещание, я ведь теперь самостоятельный! Муаллима-апа говорила нам, что самостоятельные дети помогают старшим. Верно?

Темное лицо Айпаш-хола словно бы осветилось добрым светом, морщинки разгладились. Исчезла и складка между бровями. Она похлопала мальчика своей высохшей рукой по его плечу:

Верно, верно, сынок...

Он был доволен, что Айпаш-хола поверила ему. Обязательно напишет письмо. Если человек крепко выучит все буквы, разве ему трудно будет написать письмо?

Уходя, он несколько раз обернулся. Прислонившись к шершавому стволу дерева, старуха смотрела ему вслед...

3. Новогодние сюрпризы

— Наргиза! Сегодня к нам придет мама.

Потянувшаяся было к елке Наргиза при этих словах так и застыла с зажатою звездочкой в руке. Ой... Тетя-то была права!

Она окинула молниеносно взглядом отца, а тот, думая, что Наргиза ждет от него очередную игрушку, подал ей рыбку. Рука его повисла в воздухе, рыбка упала и разлетелась на мелкие золотые осколки. Случись это в другое время, Наргиза бы заплакала от жалости —

золотую рыбку она любила больше других елочных украшений,— но сейчас ей было не до рыбки. Малиновый плавник валялся у ее ног, и она со злостью отпихнула его.

Только теперь отец заметил, что с Наргизой что-то происходит. Глядя в ее глаза, полные тоски, он сказал:

— Дочка, ты уже не маленькая.

Не маленькая... Точно так же сказала и тетя, когда несколько дней назад завела этот разговор:

«Наргиза, ты уже не маленькая. Слава аллаху, на следующий год пойдешь в школу. С тобою уже можно прямо говорить, в открытую. Отец тебе еще не сказал, что хочет привести новую маму?»

Наргиза удивилась: разве возможно, чтобы мам было несколько? Она была уверена, что больше у нее никогда- никогда не будет мамы. Оказывается, к ней придет мама!

Наргиза радостно и нетерпеливо коснулась ладошкой краснощекого лица тети.

«Нет, не говорил. Значит, у меня будет мама?!»

Желтоватые глаза тети тускло блеснули, короткие пальцы, унизанные кольцами, стали мелко дрожать.

«Погоди радоваться... Значит, еще не сказал? Ну так скажет, он давно об этом подумывает. Когда он тебе скажет, ты бросься к нему на шею, заплачь и скажи: «Мне не нужна новая мама. Если вы ее приведете, я убегу из дома». Не бойся, бить он тебя не станет, пусть только пальцем тронет!»

Наргиза удивилась.

«Разве новая мама плохая?» — спросила она, широко распахнув глаза. Надежда на все хорошее, затеплившаяся было в душе девочки, начала постепенно гаснуть.

Тетя, насупив густые брови, сказала:

— Пусть пропадет пропадом эта новая мама! Ты ей не нужна. Она заберет у тебя твоего родного отца, и ты останешься круглой сиротой. Понятно?»

Если честно признаться, то Наргиза не совсем поняла тетю, поэтому она спросила:

«Почему та мама была хорошая, а эта плохая?»

«Плохая уже тем, что неродная!»

Наргиза все равно не поняла. Что значит — неродная? Плохая? Стало быть, у Нигоры мама неродная, ведь она то и дело дает Нигоре

подзатыльники.

Тетя рассердилась и объяснила, что у Нигоры — мама родная. Родная, ругая и даже поколачивая, желает своим детям добра, наставляет их на путь истинный, а неродная, когда ругает, желает надчернце всяческого зла и даже смерти.

Теперь новая мама представилась Наргизе точь-в-точь Бабой Ягой из телепередачи. Она разволновалась после разговора с тетей и теперь каждый день стала ждать плохого известия. Но прошло много дней, а отец так ничего и не сказал. Наргиза и забыла о новой маме, а вот сегодня...

— Видишь ли, дочка, когда я задерживаюсь на работе, ты дома совсем одна, голодная, без горячей пищи...— Отец почему-то говорил опустив глаза. Девочка видела, что руки его, державшие катушку ниток, дрожат.— А мама тебе сготовит плов...

— Я не хочу плова! — отрезала Наргиза.

Отец умолк, бросив катушку ниток в картонную коробку с елочными игрушками и почти бегом направился в кухню. Наргиза изучила отца: если обидится, ругать не станет, уйдет на кухню, обхватит голову руками и молчит. Так он будет сидеть до тех пор, пока Наргиза не подбежит к нему и не обнимет за шею. Наверное, в другой раз Наргиза так бы и сделала, но сейчас ей не хотелось идти на кухню. Она уставилась на неубранную елку, на спутавшиеся нити серебряного дождя, валявшиеся на ковре, на Деда Мороза, важно опиравшегося на посох, и ей стало горько. Горько и трудно дышать, словно комок застрял в горле.

Она швырнула в коробку звездочку, все еще машинально зажатую в руке, и быстрыми шагами ушла в свою комнату.

И тут ей стало жаль отца. Бедняжка... Он ведь тоже ждал Новый год, все ждут этот веселый праздник. Такую пышную елку принес! А теперь сидит на кухне, обхватив голову руками. Подойдет Новый год, часы пробьют двенадцать, а он так и будет сидеть на кухне... Эх, правду говорила тетя, что новая мама принесет в их дом беду... Тетя тогда назвала ее колдуньей. Тетя — старенькая, она все знает. Но почему отец хочет привести в дом колдунью? Неужели она уже заколдовала его, и он ничего не замечает? А вдруг... А вдруг... При этой мысли у Наргизы перехватило дыхание. Вдруг колдунья явится сегодня, под Новый год? Как быть? Что тогда делать?

Наргиза испугалась. Ей представилось, как колдунья с длинным

крючковатым носом, ворочая огромными, как пиалы, глазами, влетает в окно... С замирающим от страха сердцем она дважды повернула ключ в двери своей комнаты. Легла на диванчик, но лежать быстро надоело. Она подошла к окну.

Во дворе с неба падали крушные хлопья снега. Вот это да! До чего же красивые они! Синий новогодний вечер на мгновение заставил Наргизу забыть и про папу, и про колдунью. Она открыла окно и подставила ладони снегу. Как белые нежные бабочки, садились снежинки на ее ладони... И тут послышался звук «бих-то шагов, тяжелых, неприятных... Наргиза вздрогнула: идет!

Она выглянула в окно. Полная женщина с большой сумкой зашла в их подъезд. Ой-ой-ой! Как Винни-Пух! Неужели это и есть та самая новая мама? Нет, не может быть...

Наргиза долго и тщетно ждала звонка в дверь. Опять выглянула в окно. Вновь издали показалась какая-то женская фигура. «Высокая, — мысленно отметила Наргиза, — выше даже папы. Ого, да к тому же еще и очкарик! Неужели ведьмы носят очки?» Нет. Женщина в очках прошла мимо их подъезда. Наргиза вздохнула с облегчением.

— Наргиза, доченька, разве ты не выйдешь встречать Новый год? — раздался голос отца из гостиной.

С беспокойством, смешанным с испугом, Наргиза вышла из своей комнаты. Смотрит — а в гостиной, кроме папы, никого нет. Он уже разукрасил елочку и празднично накрыл стол.

«Дорогие телезрители, до Нового года осталось пять минут». — Напомнила красивая дикторша. Папа с нетерпением взглянул на часы, но, как будто не поверил им, повернулся в сторону ходиков. Если бы Наргиза умела читать мысли, то вот что бы она прочла по лицу отца: «Все. Теперь уже не придет. На этом конец. Напрасно я сказал Наргизе, не нужно было пока говорить... Поторопился. Но почему же все-таки она не пришла? Может, я нечаянно обидел ее? О чем мы говорили с ней тогда? Нет, по-моему, ничего обидного я ей не сказал. Да, да! Помню, я только начал: «За мной вы можете не ухаживать, но мою дочь...» — но она прервала меня: «Приемных детей любят не по заказу, а по движению души». Я ей: «Правильно, но моя дочь — единственный ребенок в семье, вы должны учесть, что она немного капризна и требует особого к себе подхода...» А она: «Ладно, предоставьте нам с Наргизой самим все уладить!» Нет, на ее лице не было обиды.

Наргиза уловила тревожное настроение отца, и ей захотелось

разделить с ним его тревогу.

- Не придет? — тихонько спросила она.

— Нет, наверное...

Он не успел закончить фразу, задорно, как-то по-праздничному прозвенел звонок. И Наргиза не испугалась. Она решила, что это пришла соседка поздравить их. Отец с заметной суетливостью стал открывать дверь, а когда она распахнулась, оба — и Наргиза, и отец — застыли в изумлении: на пороге стояла прекрасная тоненькая Снегурочка.

— Ура-а-а! Снегурочка! — завопила от радости Наргиза. — Папочка, скажите, чтобы она вошла к нам в дом!

Это вы сделали заказ в «Сервисе»? — улыбаясь и счищая снег с красных сапожек, спросила Снегурочка.

— Мы! Мы! Проходите! — кричала Наргиза, боясь, что Снегурочка поймет свою ошибку и уйдет. — Скорее проходите же! — Она схватила Снегурочку за руку и потянула за собой в гостиную. — Идем, идем, Снегурочка! Не бойся, колдунья не придет! Не бойся!

Хотя отец и Снегурочка не понимали, о чем она говорит, они улыбались и кивали головами. Светлое пальто, белую меховую шапку Снегурочки усыпали блестящие снежинки. Комната наполнилась приятным морозным воздухом.

— А я уже начал бояться, что вы не придете, — глядя на румяные от холода щеки Снегурочки, на ее искрящиеся весельем глаза, негромко сказал отец.

Снегурочка протянула Наргизе целлофановый мешочек:

— Посмотри-ка, что я тебе принесла!

— Ой, ой! Это все мне?! — От восхищения Наргиза широко открыла глаза. — Так много?

Снегурочка нежной рукой потрепала ее черные кудри. Наргиза, кажется, забыла даже про подарок. Руки Снегурочки ей напомнили что-то далекое... Почти забытое. Кто так гладил ее? Кто?.. Ах, так ведь так ласкала ее мамочка... У мамочки были такие же мягкие руки, такие же!

Наргиза схватила руку Снегурочки и прижалась к ней щекой. Но тут папа стал шумно приглашать поднять бокалы. Себе и Снегурочке он налил шампанского, а Наргизе — лимонаду.

— Я боялся, что вы не придете, — вновь тихо сказал он, когда часы пробили двенадцать, а вы пришли... Да еще в таком прекрасном сказочном облике... Как вам пришла в голову эта чудесная мысль?

Счастливые глаза Снегурочки погрузнели. Она ласково смотрела на девочку, которая выкладывала на стол лакомства из мешочка.

— Как пришло в голову?...— Снегурочка вздохнула.— Вы же знаете, что я росла в детском доме. И всегда, все годы, пока не выросла, ждала маму. А однажды я ее увидела во сне, вот так же... Снегурочкой... И я, и я подумала, что Наргизе...

Отец нежно погладил ее длинные тонкие пальцы. А Наргиза, счастливая, увлеченная подарками, ничего не слышала и не замечала...

Выбежав из ворот школьного двора, Калимджан обрадовался: вдали он увидел знакомую желтую куртку.

— Насы-ыр! Эй, Насыр!

Мальчик в желтой куртке обернулся и стал ждать Калимджана. Когда тот, запыхавшийся, с гремящим ранцем за спиной, подбежал к нему, мальчик в желтой куртке спросил тоном старшего:

— Что скажешь?

Впрочем, он и был старше. Он учился уже во втором классе.

— Слышал новость? Учительница сказала, что в наш класс под Новый год Дед Мороз придет!

Насыр, как и положено старшему, поправил первоклассника назидательным тоном:

— Не в ваш класс, а в школу.

— В школу? — Калимджан от всей души удивился.— А тогда... Тогда у него на всех подарков не хватит...

— Кто тебе это сказал?

Калимджан не знал, почему он так подумал.

Насыр зажал свой портфель между ног и, широко разведя руки в сторону, показал, сколько подарков принесет Дед Мороз.

— Видишь, сколько он принесет? Нет, даже еще больше... Вон! Видишь, вон тот дом? Вот столько!

— Ну и ну! — Калимджан с восхищением, как на громадный новогодний подарок, посмотрел на дом с ледяными сосульками, свисающими с карнизов. А как Дед Мороз может донести столько подарков?

Об этом он спросил Насыра. Теперь растерялся Насыр. Действительно, как! Однако, не желая ударить в грязь лицом перед первоклашкой, нашел выход:

— А зачем ему самому тащить? Он на телеге привезет.

— Так у него телега есть?

Почувствовав, что ему удалось убедить Калимджана в своей выдумке, Насыр и вовсе вдохновился:

— Э! Разве ты не видел его телегу по телеку?

— Ой, значит, тот самый Дед Мороз придет?

— А то какой же? По-твоему, есть сто Дедов Морозов?

Калимджан не обиделся на снисходительный тон товарища, поразившись его осведомленности, захотел побольше узнать о Деде Морозе. Пока они шли к дому, Насыр рассказывал. Оказывается, Дед Мороз очень добрый волшебник. Он не только дарит ребятам подарки, но и может исполнить какое-нибудь желание. В прошлом году Насыр попросил Деда Мороза сделать его отличником, и с тех пор учится он на «пять». Однако все нужно держать в секрете. Если проболтаешься, волшебная сила может исчезнуть. Деда Мороза нужно просить о чем-то с глазу на глаз, без свидетелей. И желание должно быть одно единственное. Если пожадничает, Дед Мороз рассердится и вообще слушать не будет.

Когда они расстались, Калимджан призадумался: чего же попросить у Деда Мороза? Сделать отличником? Так Калимджан учится на пятерки, только по письму четверка. Тогда что же? Может, попросить плитку шоколада? Э, да шоколад можно купить в магазине! Стоит ли на это тратить желание? Лучше попросить маму, и она купит. Надо попросить то, что невозможно самому сделать. Чего же у него нет? Есть, есть... и это есть... А что... А что, если попросить Деда Мороза помочь отцу?! Отец работает в школе завхозом, но не в этом дело. Ребята его насмешливо называют «дядя торгаш», потому что сразу же после уроков он открывает окошко своей каморки и продает детям курт, семечки, надувные шарики. Обидно за него...

У других отцы как отцы. Вот у Насыра отец врач, его ласково называют — сын доктора. У Калимджана отец председатель колхоза, а в колхозе знаете сколько хлопка растет? Ого! Калимджан, хоть только сын председателя, а не председатель, пользуется большим уважением у учителей. Если даже и не приготовит урок, его не ругают, а говорят: завтра обязательно выучи, спрошу! Да... А у него — отец — торговец всякой мелочью... Стыдно... Всё, решено! Но кем он должен стать? Врачом? Нет, уже один отец врач есть. Может, сделать председателем колхоза? Но у председателя уже есть сын. Ой! А если попросить сделать космонавтом?! Здорово! Калимджана все будут называть — сын космонавта! Отец больше не будет торговать семечками и разной

мелочью, он будет летать далекодалеко, в космос. А когда будет возвращаться, люди будут дарить ему цветы...

Наконец-то наступил долгожданный праздник. Широкий и светлый спортивный зал вместил много-много мальчишек и девчонок. Они веселятся вокруг огромной, до самого потолка, елки. И игрушки на этой елке огромные, чтобы их было видно всем.

Калимджан, наряженный в костюм зайца, который ему дала учительница, кружился вокруг елки, держась за руки с лисами, волками и снежинками, но мысли его были Заняты не маскарадом, а предстоящим разговором с Дедом Морозом. А вот и он! В белой огромной шубе, с красным широким поясом, с пушистыми усами и длинной бородой.

Дедушка Мороз стал раздавать детям подарки. Подошла очередь и Калимджана. И — о чудо! — Дед Мороз, словно разгадав его мысли, таинственно улыбнулся и почему-то протянул два подарка. Калимджан, и обрадованный, и удивленный, во все глаза смотрел на Деда Мороза. Видимо, это заметил и дед-волшебник. Он сказал каким-то трубным голосом:

— Отнеси второй подарок своему братишке, сынок!

Надо же, не переставал удивляться Калимджан, и о нашем Нурали он знает! Правда, Нурали еще не учится, но Дед Мороз и ему принес подарок.

Теперь Калимджан старался не выпускать из поля зрения Деда Мороза, выжидал момент, когда дедушка останется один.

И вот он, раздав подарки и закинув пустой мешок за спину, попрощался с детьми и вышел из зала. Калимджан понял, что наступила решающая минута. Он вырвался из круга танцующих, выскочил в коридор и побежал следом за новогодним гостем.

Он догнал его у дверей:

— Дедушка Мороз!

Голос его прозвучал негромко, но внятно. Грузная фигура Деда Мороза колыхнулась, и он повернулся лицом к мальчику:

— Чего тебе, сынок?

— Я вам... Я у вас... — Калимджан перешел на шепот, чтобы его никто не подслушал. — Я прошу вас исполнить одно мое желание... Только одно...

— Желание? Ну выкладывай свое желание, сынок!

— Я хочу, чтобы мой папа... Вы знаете моего папу? Нет? Его дети

называют «дядя торгаш»... Я не хочу, чтобы он был торгашом. Дедушка Мороз, сделайте его космонавтом! А, Дедушка Мороз? Сделаете? Я хочу, чтобы мой папа стал космонавтом! Дедушка, не откажите мне!

Дед Мороз молча смотрел на его огромные глаза, в которых жила надежда, на уши зайца, жалко свисающие по сторонам.

— Дедушка Мороз! Мой папа будет космонавтом?

Обязательно будет. Обязательно, сынок... На этот раз голос Деда Мороза прозвучал неуверенно, в нем даже была слышна легкая грусть. Но Калимджан этого не заметил и со всех ног кинулся разыскивать Насыра, чтобы рассказать ему о таинственном разговоре с Дедом Морозом.

Все больше разгоралось новогоднее веселье, все громче звучал детский смех, и зал сотрясался от звуков дойры, а Дед Мороз все еще стоял в той же позе, в которой его покинул счастливый Калимджан. И только его длинная белая борода чуть заметно дрожала, а в глазах на сразу как-то осунувшемся лице что-то подозрительно блестело...

1982

Эркин Агзамов
р. 1950

ЯБЛОКИ РАМАЗАНА

Он появляется ежегодно в одно и то же время, когда сходит последний снег и задувают озорные весенние ветры. Он как бы врывается вместе с ними, такой же озорной и буйный. Внезапно. На плече — да, на плече, а не в руках — потертый чемодан с надписью «Барнаул» на крышке. Прищулив левый глаз и неподражаемо улыбаясь, он неожиданно возникает в дверях. Затем, небрежно швырнув чемодан в сторону, как кидают мешок с барахлом, и широко раскрыв объятия, кричит напоминающим мне беззаботное детство звонким голосом:

— Ч а н т р и м о р э - э!

А меня при виде его охватывает тревога: прощайте спокойные дни! Теперь все вокруг погрузится шум и гомон! Однако нет у меня права нарушать странный, но когда-то столь дорогой для каждого нас обычай.

— К а л а м а к а т о р э,— невольно вырывается у тебя.— Опять приехал? И снова поступать?..

— Нет, только чтоб надоедать тебе,— говорит он словно стараясь еще больше разозлить меня, обнимает за талию и, приподняв, кружит по комнате. — Друг ты мой, дружище ненаглядный! Потом, присев на корточки, он с трудом, после тысячи уловок, ухитряется открыть такой же непутевый, как сам хозяин, и такой же видавший виды чемодан. Комната наполняется запахом осенних яблок. Красными бочками в крапинку, со следами красного у основания плодоножки лежат в чемодане яблоки, невзрачные на вид яблоки местного сорта. Яблоки детства, запахи детства, от которых приятно кружится голова. И сразу многое вспоминается, ты глубоко вздыхаешь, и у тебя тоже появляется желание обнять его и сказать: «Дружище!» Но что-то, то ли накопившееся прежде раздражение, то ли гордость препятствуют этому, и ты только недовольно ворчишь:

— Зачем ты приехал, Рамазан? Ведь все равно не поступишь!

— А если поступлю? — отвечает он, снова прищуривая левый глаз и расплываясь в улыбке.— А если поступлю?

— Не поступишь! Ей богу, не поступишь!

— Да ладно, приятель, это я так, к слову! Мне достаточно, что ты учишься. Оставим разговоры, лучше отведай этих яблок. Таких даже в райских садах не сыщешь.— Покопавшись в чемодане, он достает нечто, завернутое во много слоев бумаги.— Это тебе бабушка сузьму [С у з ь м а — домашний творог из кислого молока] прислала. Пусть, говорит, внучек себе чалоб [Ч а л о б — напиток из кислого молока, разбавленный водой] приготовит — жажду утолять. А то, говорит, бегая за городскими юбками, совсем небось умаялся!..

И чемодан, известный всему свету чемодан, после долгих шуток и прибауток наконец закрывается.

Чемодан этот Рамазан привез из Барнаула, возвращаясь после службы в армии. Помню, явился ко мне, как сейчас, неожиданно-негаданно; жил я тогда в общежитии. Всю ночь напролет рассказывал о Барнауле и о том, как служил в тех краях, рассказывал громогласно, никому не давая спать. У него это выходило так, словно он в Барнауле родился и провел всю жизнь. «У нас в Барнауле вот так, у нас в Барнауле вот эдак». Для пущей важности он сдабривал свой рассказ русскими словами. И когда тебя начинало коробить от этого словесного потока и ты его пытался прервать, Рамазан замолкал на секунду, улыбаясь до ушей, а потом продолжал как ни в чем не бывало.

Утром, увидев, как я намыливаю щеки, чтобы побриться, он со словами: «У-у, салага!..» вырвал у меня бритву и стал показывать, как бреются по-солдатски; потом достал из чемодана флакон, надушил выбритые щеки и предупредил, что задержится у меня в гостях. А несколько дней спустя, вечером, вдруг заявил, что ему надо снова съездить в Барнаул. Я стал его отговаривать— в своем ли, мол, ты уме, что тебе там делать, раз уж отслужил... Тебя же, мол, дома ждут!.. Но он твердил в ответ: домой неохота. Получил, дескать, одно письмо... Что за письмо, я, однако, так и не узнал. После долгих уговоров мне, чуть ли не силком, удалось отправить его домой. И теперь, приезжая в город под предлогом поступления в институт, он каждый раз тихо вздыхает: «Может, мне куда податься, а, друг?» «Что, опять в Барнаул потянуло? — спрашиваю я раздраженно.— Ей-богу, у тебя, Рамазан, мозги не в порядке!» «Точно, не в порядке. Что делать, тянет меня туда. А-а, что тебе объяснять, все равно ничего не поймешь!».

Или вдруг—«Послушай!» скажет Рамазан, и, присев на край стоящего в углу чемодана, хорошо поставленным, как у диктора, голосом начинает вещать:

— Говорит Байсун! Начинаем свои передачи для байсунцев, проживающих вдали от родных мест! Послушайте новости вашего родного города!.. Ашур-лысый, отказавшись от курения наса [Нас—особо приготовленный табак, закладываемый под язык], как пережитка прошлого, перешел на сигареты (хоть была бы от этого какая-то польза, что толку, если лысый вместо шапки наденет на голову модную шляпу — все равно каждому ясно: как блестела на голове его лысина, так она продолжает светиться!), а его дед, накурившись кукнара, поругавшись с бабкой, переехал в дом к своей тетке. А теперь послушайте о событии, которое не покоя всему Байсуну. У деда Уккагара хранилась в доме жестяная коробочка. Ложась спать, он клал под подушку. Видать, коробочка была с секретом! Но когда дед умер, он прихватил ее с собой на тот свет. А мы-то надеялись! Эсанбердыев, единственный в истории Байсуна зловредный милиционер, выйдя в ставку и пройдя месяц обучения у какого-то муллы, стал носить чалму, и теперь ни одни поминки, ни одна помолвка без него не обходятся. Но однажды, проходя мимо милиции в чалме и с клюкой в руке, он, по привычке, отдал честь...

Слушая веселую болтовню Рамазана, словно и впрямь возвращаешься в Байсун, к его удивительным, веселым людям.

—: А может, прогуляемся? — говорит он, кончив знакомить меня с «новостями». — Лагманом накормлю — до отвала!.. Небось, твой желудок переполнен четырехкопеечными пирожками из потрохов. Хорошо бы вам, студентам, скинувшись по четыре копейки, поставить памятник пирожнику, а? На площади в центре Бешагача! Это я так, в порядке совета...

Рамазану, с его отношением к жизни, нелегко было бы жить в городе. Порой на улице за него просто стыдно бывает: ходит, разинув рот, как простофиля, разговаривает во весь голос... Да и говорит чудно: трамвай называет «трехкопеечником», такси — «деньгоглотателем», ресторан у него — «регистран». Боже упаси попасться на дороге фотостудии — заорет от радости, будто золото нашел:

— О-о!.. Пошли! Пошли — запечатлеемся на портрете!

— Ну зачем тебе наши портреты?..

— Как зачем?! Странный вопрос! Зачем!.. На память! Вот ты когда-то станешь большим человеком, нос задерешь, а я приду к тебе на прием, вытаску снимок и скажу: «Во, гляди — мы же с тобой приятелями были!..»

— Ну, а дальше что?

— Как — что? Твой нос от стыда на место опустится...

— Так уж и опустится,— говорю я, поневоле начиная ему подыгрывать.— Но как бы вы хотели запечатлеться?

Тут Рамазан останавливается посреди дороги и с удовольствием, даже с упоением начинает показывать, как мы будем сидеть перед фотоаппаратом. Естественно, вокруг собирается толпа любопытных, но Рамазану все равно.

— Значит, ты сядешь на стул, вот так, нога на ногу,— расписывает он со вкусом.— Глаза смотрят вперед... Вот та-ак! А я стану сзади. Хм! Моя правая рука у тебя на плече, а сам я... сам я смотрю на часы на своей левой руке! Вот так! Портрет будет называться «Два друга!» Ну, идет?..

— Э, нет,— говорю я, снова поневоле ему подыгрывая и постепенно входя в роль. Мне вспоминается фотография отца Рамазана, где он снят со своим однополчанином — фотография в рамке висит у них дома на стене.— Нет, эта поза устарела. Еще довоенных времен!..

— Ну, тогда давай в твоей фозе! — сразу соглашается Рамазан. Он так и говорит «фозе».— Сфотографируемся по-современному, под ручку!

Я согласно киваю, и мы оба весело смеемся. Нет, как бы ты его хорошо ни знал, как бы ни был наперед раздражен — устоять перед его веселой и естественной напористостью просто невозможно. Все для него — свое, каждый встречный — как родной брат. Слово, другое — и он уже нашел общий язык с совершенно незнакомым человеком!

В столовой, едва встав в очередь, он может запросто подойти к любому и сказать: «Слушай, приятель, займи-ка вон тот столик и принеси пока чаю!» Ты ждешь, что человек возмутится — ни с того ни с сего такая бесцеремонность, но все бывает наоборот: выбранная жертва только удивленно таращит глаза на Рамазана и с какой-то непонятной покорностью отправляется на поиски пустого чайника. И Рамазан не остается в долгу — за столом он шутит, смеется, стараясь поднять настроение соседу. Он может заглянуть в хозяйственный магазин и попросить таблетку от головной боли, и будьте покойны — таблетку тут же находят. Обращается он к людям всегда грубовато, а отвечают ему почему-то спокойным, вежливым тоном.

Вот такой наш Рамазан...

Однажды он укротил самого Таша!

Таш, хулиган из хулиганов, был на Бешагаче грозой района. Не знаю, правда это или нет, но рассказывали, что он трижды был судим за поножовщину и каждый раз его из тюрьмы вызволял дядя, который ходил в больших начальниках. Таш с удовольствием вспоминал: «Да, было такое. Ну, подумаешь, немножко пошутил!» Внешность у него была отталкивающая: невысокий рост, толстый, свисающий над ремнем живот, большая, круглая, как тыква, голова и круглое лицо, на котором едва различались узкие щели заплывших глаз. Когда он расплывался в улыбке — вас ослепляли два ряда золотых зубов. И стар, и млад — все его почтительно величали «ака», а сам он обращался ко всем по настроению, захочет — и почтенному старцу может «тыкнуть». У нашего кинотеатра с кучкой своих дружков он с утра до вечера лузгал семечки и приставал к прохожим. Пройдешь — не поклонись, считай, житья тебе не будет. «Ну, что, учитеесь? — покровительственно спрашивал он нас, похрустывая толстыми в татуировке пальцами. — Молодцы, учитеесь. Выучитеесь — и будете рисовать зайцев». Почему рисовать зайцев — я никак не мог взять в толк.

Однажды, проходя мимо кинотеатра, я подошел и почтительно поздоровался с ним. Он, как обычно, задал свой традиционный вопрос об учебе — и тут заметил стоявшего шагах в пяти от нас Рамазана.

— Эй, ты, поди-ка сюда!

— Чего тебе?! — Рамазан стоял, расставив ноги, со своим неподражаемо беспечным видом, и глядел на Таша как бы свысока. — Тебе нужно, ты и подойди!

Ну все, Рамазан, теперь ты погиб!

Но странное дело. Таш посмотрел на него пристально, и во взгляде его мне почудилась какая-то опаска. Потом, не продолжая разговора, он перевел взгляд на меня, покровительственно похлопал по плечу, повернулся — и пошел в кинотеатр!.. Он старался идти своей обычной вразвалку походкой, но в спине его проглядывалась явная напряженность. Ну и ну! Неужто испугался?.. И кого! Рамазана, который за свою жизнь и букашки не обидел!.. Правда, в тот раз при Таше его бражки рядом не было. Но, спустя несколько дней, он меня спросил: «А этот твой приятель — будь здоров! Кто он, а?» Я, как бы невзначай, бросил: «Да, уж такой. Четырежды судимый. Вот и сейчас только вышел на свободу». После этого Таш стал первым со мной здороваться.

Когда я про это рассказал Рамазану, он очень удивился.

— А чего это я должен его бояться? Что ему, Бешагач в

наследство от бабушки достался?!

Вот такой наш Рамазан!

Первым, кто благословил нас с Маликой, был Рамазан. Я тогда только познакомился с ней, изредка, по выходным дням, мы ходили в кино, в театр. И однажды, чтобы повысить культурный уровень Рамазана, еще бы — он ведь с периферии, предложил ему как-нибудь сходить в театр вместе с нами.

В тот же день он раздобыл три билета на какой-то редкий спектакль, а в антракте угощал нас мороженым с шампанским, чем расположил к себе Малику. И вдруг как будто кто его за язык тянул, так, между прочим, сказал: «Наш Байсун, Малика, не такое уж плохое место!» От волнения я даже похолодел. Малика молча улыбнулась. Провожая ее после спектакля, я попросил извинения за бестактность своего приятеля, на что она ответила: «Среди ваших друзей лучшего я еще не встречала».

Вот такой наш Рамазан!

Каждый год он приезжает в город поступать в институт. И хоть бы раз при этом вспомнил об экзаменах — вытащит учебники, что с прошлого года лежат у меня под кроватью в чемодане, да, так и не раскрыв, закинет их обратно.

— Давай лучше поговорим, приятель! — скажет он весело.

— Ведь ясно, что не поступишь, Рамазан, поезжай-ка по-хорошему домой,— говорю я, еле сдерживая возмущение.— Если ты поступишь, клянусь богом, я брошу учебу! Ведь про то, как ты учился в школе, ходят легенды!

— Нет-нет, ни в коем случае, я согласен всю жизнь прожить неучем, только бы ты не бросал института, а то Ташкент лишится талантливого поэта! — отвечает он, смиренно сложив руки на груди. И, хихикнув, добавляет: — Помнишь, как я по алгебре пятерку получил?!

Как не помнить. Учитель математики был у нас немного чудаковат. И вот однажды он, вызвав к доске Рамазана и не вытянув из него ни единого слова (Рамазан молчал, как попавший в плен стойкий партизан, которого пытали враги), вдруг сказал: «Хайдаров, я ставлю тебе пятерку, чтобы ты, десять лет проучившись в школе, не жалел об этом». И, действительно, вывел ему в журнале отличную оценку.

Рано утром, когда я досматриваю сладкие рассветные сны, Рамазан успевает принести к завтраку горку студенческих пирожков и свежий

кефир. Потом, включив радио на полную громкость, пыля, подметает нашу комнату и дурным (никакого слуха!) голосом напевает всегда одну и ту же песню:

Будь счастливой, моя Зухраhon,
Коль тебя разлучат со мной...

После завтрака я отправляюсь в институт. Рамазан идет шататься по городу. Порой он исчезает на несколько дней. А однажды, возвратясь с занятий, я застаю его грустно жующим корку хлеба.

— Где пропал?

— Да бродил...

Потом вдруг ему приходит в голову уехать в Барнаул, и я его долго отговариваю от этой затеи.

— Ну а чем мне тогда заняться, скажи?

— Отправляйся домой.

— Как?

— Купи билет, садись на поезд и езжай!

— Мне нужен бесплатный билет.

— А где ж твои деньги? Говорил мне, что их у тебя много.

— Были, да сплыли, приятель! Что делать...

Потом я узнаю: Рамазан, разыскав своих земляков-студентов, угощал их несколько дней, приглашая то в ресторан, то в чайхану на плов. Всласть погуляв за чужой счет, они весело посмеялись над простачком Рамазаном. А теперь Рамазан пытается деньги на дорогу выклянчить у меня.

Приехав поступать в институт, Рамазан отправляется домой так же неожиданно, как появился.

— Пора, думаю, возвращаться домой, приятель!

— Только честно, езжай и не тешь себя надеждой.

— Можешь ждать меня следующим летом! Вот каков наш Рамазан!

Так уж жизнь человеческая устроена: по словам одной песни, «после радостей — неприятности по теории вероятности». А уж если человеку не повезет — начинается прямо-таки полоса невезения. Видно, в тот раз, когда похвастался я Ташу Рамазановой судимостью, эти слова ангелы благословили, напорочил — посадили Рамазана...

На следующий год он, как и обещал, снова появился со своим неизменным чемоданом и сеткой, полной яблок. Подарил Малике (я

женился, мы теперь жили в своей квартире) шкуру степной лисы, которую сам, сказал, подстрелил на охоте,— прошлогоднее обещание,— пожил у нас два дня и, ничего не объясняя, взяв чемодан в руки, ушел неизвестно куда. Мы и не волновались, такое с ним и раньше бывало. Но спустя три или четыре дня после его исчезновения мне прислали повестку из милиции.

Я сразу понял, что это связано с Рамазаном: так уж, видно, мне с моей мягкосердечностью и всепрощенчеством на роду написано терпеть и страдать из-за его поступков. Встретил меня неожиданно грубым окриком рыжеватый следователь с синими глазами.

— Вас придется арестовать! Доигрались, голубчик!

У меня аж в глазах потемнело. Всего несколько месяцев назад я, закончив институт, устроился на работу в редакцию газеты. Прошлым летом женился, сейчас мы ждем ребенка (жена хочет девочку, а мне, честно сказать, хочется пацана) — и вот, в такой момент попасть в милицию? За что? Что могло случиться?

Следователь ознакомил меня с делом.

Оказывается, пять дней назад Хайдаров Рамазан был задержан в поезде «Ташкент — Новосибирск» с тремя чемоданами яблок и гранат и двумя коробками винограда. Тоже небось доказывал: «Хочется мне, приятель, разок съездить в Барнаул. Погулять, повидаться с друзьями. Соскучился я по местам, где служил». Садись в вагон двое, утверждал проводник. А когда зашли в купе с понятиями, почему-то второго не оказалось в вагоне. И вот, по предварительным показаниям, скрывшимся «главарем»-спекулянтom оказался я.

— Кто вам мог наговорить такую чушь?! Докажите! — возмутился я, прочитав протокол следствия.

— Ваш приятель, Хайдаров, признался! Проклятый Рамазан! Значит, сам попался в ловушку и меня решил подставить? Трусливый спекулянт!

— Пригласите его сюда немедленно! Хочу поговорить с ним с глазу на глаз! Прошу устроить очную ставку.— Возмущению моему не было предела. Порывшись, я поспешно вытащил из кармана служебное удостоверение сотрудника редакции и бросил на стол следователю.— Можете удостовериться, никакого отношения я к этому делу не имею...

Следователь без особого энтузиазма пробежал глазами мой документ, сунул его мне обратно и спросил, испытующе глядя в глаза:

— Приятель ваш и раньше занимался спекуляцией? Наверное,

никогда я не прощу себе те слова, что
выкрикнул тогда сгоряча.

— Может, и занимался, откуда мне знать?! Никакой он мне не друг,
а просто знакомый, земляк!

— Ах, вот как? А он назвал вас своим другом, близким другом. Если
я его сейчас приведу, сможете вы ему повторить то, что вы сейчас
сказали?..

Я промолчал.

— Хорошо, вы свободны,— сказал следователь ледяным голосом и,
расписавшись в повестке, протянул мне.— Не смогли бы вы известить
его родных, что в следующую пятницу суд? Кстати, про вас он ничего
плохого не говорил. Сказал, что вы его приятель и что две ночи он
ночевал у вас! И все!

Я, разинув рот, смотрел на следователя.

За два дня до суда приехали родные Рамазана — отец и брат,
работавший в совхозе шофером. На отце был пахнувший нафталином
пиджак, который украшали боевые медали.

И каждому встречному отец Рамазана твердил одно и то же:

— Сбежал он со свадьбы. Не любит он, видать, дочь дяди. Как
только речь заходит о его женитьбе, под предлогом поступления в
институт отправляется в Ташкент. И так каждый год с тех пор, как
возвратился из армии. А тут еще мать тяжело больна, только и
причитает: «Да неужто я так и умру, не погуляв на свадьбе сына!» Что
он мог натворить?! Такой тихий, мухи не обидит.

А брат упрямо повторял:

— Да вы сами избаловали его, отец! Надо было связать ему руки и
ноги арканом и насильно сыграть свадьбу. Чего ему, подлецу, не
хватало, так нас опозорил!

Отец вдруг начинал сетовать на меня:

— И ты, голубчик, хорош, ведь образованный человек, умный,
остановил бы своего несмышленного друга! И откуда только беда
пришла...

Да и суд над Рамазаном был похож на него самого — ну просто
смех! Судья, женщина средних лет в очках, двадцать лет проработавшая
в суде, не могла припомнить такого необычного судебного заседания и
тем более — такого странного обвиняемого. И чем больше на
протяжении всего заседания она пыталась смягчить наказание
(учитывая заслуги отца, сидевшего в зале в первом ряду, справку о

состоянии здоровья матери и положительные характеристики самого Рамазана), тем больше сам обвиняемый врал и запутывал дело. Рамазан скорее был похож не на обвиняемого, а на циркового шута, прикидывавшегося дурачком. И вид у него был в самом деле шутовской — наголо остриженная голова, яркая пестрая рубаха с широким отложным воротником, как будто он нарочно, для смеха, и оделся так, и постригся наголо. Он паясничал, словно все, происходящее здесь, к нему не относится, будто он пришел сюда просто так, повеселить собравшуюся публику. Когда задавали вопрос, он удивленно хлопал глазами, оглядывая каждого сидящего в зале, и затем, глядя в потолок, ляпал такое, что судья, сняв очки, то удивленно таращила глаза, то пожимала плечами, то хваталась за голову. Рамазан же, смущенно улыбаясь, подмигивал мне. То ли ему надоело следствие, то ли его сбили с толку наставления опытных дружков, сидевших с ним в камере предварительного заключения, словом, было ясно, что он совсем одурел и устал.

— Обвиняемый Хайдаров Рамазан, вы и раньше занимались такими делами? — спрашивал судья.

— Я, Хайдаров Рамазан, родился в 1950 году в Байсунском районе. После...

— Обвиняемый Хайдаров, я не спрашиваю вас, когда вы родились. Я спрашиваю, занимались ли вы и раньше спекуляцией?

— После окончания средней школы нес службу в рядах Советской Армии. Потом...

— Потом, потом... — злилась судья. — Хайдаров!.. Мы знаем вашу биографию, вот здесь все про вас написано. Вы нам ответьте: занимались ли вы и раньше этим делом?

— Каким делом?

— Ух-х! Спекуляцией!

— Не-ет... А, занимался, занимался.

— Вот те на! На предварительном следствии вы утверждали, что никогда прежде не занимались спекуляцией?

— Вообще-то не занимался.

— А что вы мне ответили минуту назад?

— Если я скажу: не занимался, вы мне поверите?

— Ух-х! Скажите, кто ваш сообщник?

— Сообщник, сообщник... не знаю... У меня не было никакого сообщника.

— Как же вы один смогли внести в вагон столько багажа? Может, кто-нибудь помогал вам?

— Никто не помогал, мы сами... то есть я сам все внес! Что, разве трудно поднять один чемодан? Да и было-то у меня всего четыре или пять килограммов яблок.

— Послушайте, Хайдаров, вас задержали с тремя чемоданами и двумя коробками, не так ли? Если вы утверждаете, что у вас был один чемодан, тогда остальные вещи чьи же?

— Итак, они к вам никакого отношения не имеют. Ваш сообщник или незнакомец, заметив, что за ним следят, бросил все вам и убежал? Так, что ли, Хайдаров?

— Так... Нет-нет, все вещи мои!

— Обвиняемый Хайдаров! Соберитесь с мыслями, не спешите. Может, вы себя плохо чувствуете? Может, у вас голова болит? Тогда мы прервем судебное заседание!

— Зачем? Я здоровый...

— Тогда отвечайте: куда вы направлялись с яблоками, коробками винограда и гранат? Что собирались с ними делать?

— Я ехал в Барнаул, туда, где служил в армии. Отличные места!.. Навестить своих друзей хотел. У меня их там много.

— Выходит, все эти коробки вы везли своим друзьям?

— Нет, что вы, я им прихватил четыре килограмма яблок и все, чтоб с пустыми руками не ехать.

— А виноград и гранаты? Вы их собирались там продать?

— Зачем продавать? Ведь он... Знаете, я в Барнаул...

— Барнаул, Барнаул!.. А яблоки у вас откуда?

— Что значит откуда? Из моего сада. Приезжайте к нам осенью, увидите, сколько яблок в саду, даже земля вся усыпана ими.

— И стоило оттуда тащить с собой яблоки? Для подарка могли спокойно купить в Ташкенте.

— Здешние яблоки не годятся, они с горьковатым привкусом. А у нас такие яблоки, мы их так и зовем «байсунские», совсем иной вкус и запах. В других краях не растут такие. С виду-то они некрупные, но сладкие и сочные, попробуйте...

— Хорошо, хорошо, Хайдаров, потом попробуем...

— Отличные, однако, яблоки. Нынче и сорта пошли какие-то невкусные. Всякое прививают деревьям, что-то с чем-то скрещивают, а толку мало. Только у нас остались яблони нетронутые. Я-то сам яблок

не люблю. Съем одно и достаточно. Мутит меня от них.

— Стало быть, яблоки из вашего сада, вы везли их из дома?

— Если не верите, вон — отец сидит, брат и друзья сидят,— спросите! Сад у нас большой! Или мне принести справку на четыре килограмма яблок?..

— Хорошо, допустим, мы вам верим. Итак, вы, прихватив с собой из дома четыре килограмма этих, как вы назвали, байсунских яблок, отправились в Барнаул навестить своих друзей, с которыми вместе служили. С одним чемоданом. Так, кажется?.. Тогда встает резонный вопрос: чьи остальные коробки с виноградом и гранатами?

— Акаджан, поймите, мы хотим помочь вам. Хорошенько подумайте и скажите правду. Ведь решается ваша судьба!

— Ападжан, простите меня на этот раз! Больше не буду!

— Я вам не апа!

— Ну, вы же сами обратились ко мне «акаджан», как же мне на это отвечать? Ни имени-отчества, ни фамилии вашей я не знаю...

— Не обязательно знать мою фамилию. Я для вас гражданин судья!

— Я тогда тоже гражданин!..

— Вы теперь обвиняемый! Раз виноваты!

— Я... виноват? Виноват, простите... Судья, закрыв глаза, схватилась за голову.

Я сидел в зале и ничего не понимал. Казалось, все это происходит во сне. Разве наяву возможно такое!

Огласили приговор. Признанный виновным в спекуляции, Хайдаров Рамазан был приговорен к одному году лишения свободы.

Рамазан стоял, слегка склонив голову и пряча глаза. Услышав приговор, он поднял голову и, посмотрев в зал, как-то странно улыбнулся. Улыбнулся, будто его отправляли не в тюрьму, а в кругосветное путешествие.

После суда, когда все его родные и друзья, ожидая чуда (сейчас выйдут, скажут: «Извините, мы пошутили. Рамазан невиновен»,— и освободят), собрались во дворе под деревом, я вдруг увидел Таша. Он шел по двору в сопровождении лейтенанта милиции.

— Что такое? — спросил он встревоженно, тоже заметив меня.

— Опять он...— ответил я многозначительно.

— Того, да?! — Большим пальцем Таш провел у горла, как бы спрашивая: «Кого-нибудь прирезал?..»

— Почти,— сказал я. Не было настроения разговаривать с ним.

Таш понимающе кивнул: «Да, силен, брат, признаю!» и ушел под конвоем милиционера. Кто знает, может, не желая отстать от Рамазана, он и в четвертый раз что-нибудь натворил.

Но тут меня окликнул до боли знакомый голос.

— Эй, стихи твои прочитал — газеты нам тут дают!

Это был Рамазан. Руки за спиной, шагал он к «черному ворону» в сопровождении охраны, и его глаза светились радостью: «Прочитал твои стихи!..»

«Вот черт, — подумал я. — И что тебе до моих стихов, лучше бы о себе подумал!» Но эгоизм пересилил: «Надо же, даже там нашел время прочесть мои стихи!..»

Глядя вслед уезжающей машине, я почему-то вспомнил песню, которую любил напевать Рамазан: «Будь счастливой, моя Зухраhon, коль тебя разлучат со мной...»

— Твой друг — круглый дурак, — сказал мне коллега-журналист, присутствовавший вместе со мной на суде, когда мы возвращались домой. — Сам себя усадил за решетку. Ну, прямо чеховский «злоумышленник». А я читал когда-то — и не верил, что такие люди бывают в жизни...

Весь вечер я прождал у себя отца и брата Рамазана: вероятно, они обиделись на меня или, расстроенные приговором, сразу уехали в Байсун. Словом, они ко мне не пришли.

Прошло полгода с тех пор, а у меня кошки на сердце скребли — хожу или сижу, на работе нахожусь или дома — грызет меня что-то внутри: не выручил друга!.. Злюсь на себя. Ругаю Рамазана. Ругаю, а самому хочется его увидеть. Чувствую себя виноватым перед ним. Верно, он мне надоедал. Из-за него я попадал в разные истории. Может, он плут, мошенник и спекулянт, но все равно он мне друг! А теперь сидит в тюрьме... И даже не знаю, как он там. За это время я получил от него три письма, точнее три записки. В каждой из них было всего одно только слово: «Чантриморэ!..» И все!

«Чантриморэ!» — значит, все в порядке.

Чантриморэ... Каламакаторэ... Шады-глухой... Сказки нашего детства... Радость и веселье. Жил Шады-глухой возле нашей школы. Когда бы ни повстречался, всегда улыбается. Мы, мальчишки, часто дразнили его (все равно не слышит!), а он улыбается. Круглый год он ходил, закутав шею теплым платком и натянув на голову ушанку. Вечерами он усаживался на супа возле своей калитки и, закрыв глаза,

покачивался из стороны в сторону, словно в такт мелодии, которую себе напевал. Временами, как бы очнувшись, кричал вслед кому-нибудь из прохожих: «Чантриморэ!» — и, если ему отвечали тем же, он выкрикивал: «Каламакаторэ!»

Дом его стоял в конце узкой, с покосившимися дува-лами улочки. Холодными зимними днями, когда ударяли сухие морозы, мы с мальчишками заливали эту улочку водой, превращая ее в сплошной каток, а сами поджидали, спрятавшись за дувалом, возвращения Шады-глухого с работы. Он, не торопясь, шел домой, не глядя себе под ноги, ступал на скользкое зеркало льда и в тот же миг, поскользнувшись, летел вверх тормашками. Ушанка слетала с его головы, а сам он подкатывался прямо к своей калитке. Из-за забора доносились наши радостные крики: «Чантриморэ!.. Каламакаторэ!..» Шады-глухой с трудом вставал на ноги, смешно переваливаясь с боку на бок, возвращался за своей ушанкой. Потом, смешно тараща глаза, грозил нам пальцем и уходил домой. Спустя какое-то время он появлялся, наполнив полы своего халата яблоками и, выложив их горкой прямо посреди улочки на снегу, снова исчезал за калиткой. Мы, осторожно оглядываясь, по одному подкрадывались к этой кучке и, схватив каждый по яблоку, разбегались в стороны с криками «Чантриморэ!» А Шады-глухой, высунувшись из калитки, вторил нам вслед: «Каламакаторэ!»

И каждую зиму было так. Всякий раз мы заливали каток, Шады-глухой, зная об этом, неизменно растягивался на скользком льду; вставая, грозил нам пальцем, а потом угощал яблоками из своего сада. И это повторялось каждую зиму! Мы знали, что у него нет детей и что живет он вдвоем с женой в этом доме с большим яблоневым садом...

Но вот как-то раз на работе у меня зазвонил телефон и чей-то голос попросил спуститься вниз. «Кто это? — спросил я раздраженно и в ответ услышал волнуемое, знакомое: «Чантриморэ!» Сердце заколотилось у меня в груди. Вернулся! Слава богу! Но каким образом? Когда?

Быстро спустился — напротив редакции, на противоположной стороне улицы, стоит улыбается Рамазан. Он слегка изменился. Глаза ввалились, лицо осунулось. Вид небрежный — брюки и рубашка мятые.

— Ну?! — сказал я взволнованно.

— Вот, приехал.

— Как? Отпустили? Досрочно? Вроде срок еще не вышел?..

— Бежал я, приятель. Тебя захотелось увидеть,— раскрыв объятия, он пошел ко мне навстречу.

— Бежал?..— Честно сказать, я поверил: чего только не дождешься от Рамазана! Поверил и попятился назад.— Убирайся с моих глаз! — закричал я на него.— Видеть тебя не хочу! Оставь, пожалуйста, меня в покое!..

— И это ты так встречаешь друга, вырвавшегося из-за решетки?

Выяснилось: дело пересмотрели и дали год условно с отбыванием обязательной трудовой повинности. До истечения срока он должен был работать на кирпичном заводе, что находился за городом.

— Оправдали меня, приятель, оправдали,— все повторял он радостно.— Да и не виноват я вовсе.

— Как это ты не виноват? Ты хочешь сказать, что тебя ни за что посадили? Объясни, пожалуйста. Безвинных не сажают!

— Но меня же посадили?.. Эх, послушал бы ты — там ни у кого из них и капли вины нет. Но получается, что есть — раз сидят. Вот возьмем, к примеру, меня. Вроде, бы но виноват, а осудили. В этом-то вся штука. — Рамазан высыпал на ладонь щепотку наса и ловко закинул под язык. Он здорово изменился не только внешне — как-то посерьезнел, раньше я этого за ним не замечал. Выплюнув табак, он облегченно вздохнул и, махнув рукой, сказал: — Да что с тобой говорить, все равно бесполезно. Ведь не поверишь. Потом, как-нибудь, я тебе обо всем расскажу. Но ты все же прав: невиновных людей не сажают. Вина!.. У кого ее нет, приятель? Вот эти, что с важным видом ходят вокруг нас, думаешь, чистенькие?

Рамазан в тот день заночевал у меня, а наутро отправился на работу. Работал укладчиком: надо складывать штабелями кирпичи — устаешь, кожа на ладонях покрывается волдырями, лопается. Раз в месяц ему полагался отгул. В день отдыха он приезжал в город, по старой привычке гулял, пока не проматывал всех денег и, как всегда, на обратную дорогу выпрашивал у меня.

Все тот же — наш Рамазан!

Через нолгода истек его срок. В тот же день, купив в Байсун на вечерний поезд билет, он появился у меня. Приглашай всех своих друзей!

- Что это ты еще хочешь выкинуть?

- Давай на прощание посидим в регистране! Я угощаю!

Отпросившись пораньше с работы, я с четырьмя своими друзьями

отправился в ресторан «Зеравшан», где Рамазан уже ждал нас. Он сидел улыбаясь за длинным широким столом, уставленным разными яствами, а увидев нас, присвистнул с искренней обидой:

И это все твои друзья? Бедняга! Ну и скупец же ты! Не бойся, у меня карман большой!

В тот вечер мы хорошо погуляли. И больше всех веселился Рамазан. Как только заиграл оркестр, он выбежал на середину зала и отплясывал до изнеможения. Да и танец его был похож на него самого: он то шлепал себя по коленям, отстукивая цыганочку; то шел по кругу в быстрой лезгинке; то, подбоченясь, тряс плечами, выкрикивал что-то, вопил, скакал, корчил рожи, прыгал, улыбался, хмурился, приглашал по очереди на танец сидевших за другими столиками девушек, и они, ничуть не смущаясь, выходили отплясывать с ним; Рамазан кружил вокруг девушки, гоготал, рыдал, пугал, умолял, серьезнел, печалился, радовался... Аплодисменты, смех, радостные крики...

Взгляды всех в ресторане были прикованы к Рамазану. Сегодня был его праздник, его торжество: забылись вчерашние печали, он снова в родной стихии, опять тот же неунывающий, веселый, простодушный Рамазан.

Выйдя из ресторана и простившись с друзьями, я поехал на вокзал проводить Рамазана. До отхода поезда еще было время, нам хотелось пить, и Рамазан, под этим предлогом, снова затащил меня в ресторан на вокзале. Сам он уже изрядно выпил в тот вечер. И вдруг стал изливать мне душу.

— Я тебе все скажу, слышишь... Все!.. Только не поверишь ведь, приятель. Знаю я, не поверишь! А жаль! Хоть на этот раз поверь!

Вот что он мне рассказал. В тот злосчастный день Рамазан действительно собрался ехать в Барнаул. В ожидании поезда решил пообедать в ресторане. За столиком познакомился с пожилым человеком, как оказалось, его попутчиком. Потом Рамазан помог своему новому знакомому поднести вещи к вагону — тот злополучный чемодан и несколько коробок. Перед самым отправлением поезда к ним в купе заглянули двое мужчин. Почувствовав, что за ним следят, сосед по купе стал слезно умолять Рамазана выручить его и признать часть вещей своими. «Пронесет, поделимся выручкой. Меня уже знают, поймают, не миновать мне тюрьмы. А у меня жена, маленькие дети. Вы молодые, вам простят». Простачок, добрая душа Рамазан согласился, поверил пожилому человеку. И тут его окружили милиционеры. «Да,

это мой багаж, ответил он в замешательстве.— Все мое!» Оглянулся — а того мужика и след простыл, исчез, как в воду канул.

— Ну вот, я же вижу, что ты мне не веришь. Я так и знал,— говорит Рамазан разочарованно и, махнув рукой, добавляет: — Никто не верит.

— Почему всего этого ты не рассказал на суде?

— Говорил я на следствии, тысячу раз повторял. А следователь и слушать не хотел. Не верил. А что поделаешь, коль попался в руки с личным? Попался — отвечай. Ведь все равно не отпустят, пожуришь и похлопав по плечу? Да и следствие это и предварилка — до чертиков мне надоели. А, думаю, будь что будет!

Ну, дурак! Послушаться какого-то подлеца, мошенника... И надо быть таким идиотом? Да я бы, хоть убей, не поверил ему...

— А я вот поверил, дружище, что теперь делать? Сказал, что у него семеро детей, и все девочки. И что трое уже взрослые, и пора выдавать замуж, а он работает сторожем на заводе, и денег на содержание семьи не хватает, да еще жаловался на больную печень. Поглядел бы ты на него тогда, тоже бы поверил.

— Ну и получил награду за доверие! Н тебе тоже надо было дать деру. Бросить все и бежать. Или уж сказать сразу, что эти вещи не твои. Голова ты, голова! Пусть бы все конфисковали. Тебе-то что!

— Тогда бы его поймали! Я же обещал его выручить. Это было бы нечестно с моей стороны.

— Ух-х! — я даже завыл.— Да пусть бы его поймали и посадили за решетку! Поделом бы ему! Нет, ей-богу, ты ненормальный, слово он, видите ли, дал! Сироток пожалел — кто их, бедненьких, замуж выдаст!.. А что это был отъявленный негодяй, спекулянт высшей марки — тебе и невдомек! Они все такие жалкие...

— Это вам видней, писателям. Вы на язык остры, находчивы. Как не верить, когда убежденный сединой человек слезно умоляет помочь? Да, ладно, приятель, что теперь горевать — что было, то прошло и большем пошло. На мир я и через решетку посмотрел, не повредило...

Обхватив руками голову, Рамазан сидел за столом и задумчиво смотрел в окно. Тихий, скромный. «Могут не нравиться его поступки, с ним можно во многом не соглашаться, но не любить его нельзя!» — подумал я.

А он, подмигнув мне, вдруг сказал:

— Сейчас подойдет новосибирский, может, махнуть мне в Барнаул, а?

— Клянусь! — сказал я сердито.— Не быть мне мужчиной, если не сдам тебя самолично в милицию! Хватит морочить голову!..— Тут я взглянул на него пристальней: на лице у него было прежнее беспечное выражение, словно ничто и ничему его так и не научило. Я вдруг почувствовал, что устал и волноваться, и возмущаться.— А, ладно!..— сказал я,— Езжай, куда хочешь! Только здесь больше не появляйся!..

Рамазан поднялся — и ушел. Когда поезд тронулся, сквозь перестук колес до меня донеслось знакомое: «Ч а н т р и м о р э - э!..» Ответ застрял у меня в горле.

Поезд уже не остановить. Ни мне, ни Рамазану. Уехал Рамазан и теперь действительно не вернется!

И вдруг люди вокруг меня и весь шумный город показались мне серыми и скучными.

Рамазан в самом деле больше не появлялся. Я слышал от земляков, что живет он в Байсуне, женился на дочерн дяди (мать, видно, уже поправилась). Построил себе дом и, поговаривают, собирается отметить рождение сына.

Прошлой осенью я был в Байсуне, ездил навестить родных. Возвращаясь с приятелем из гостей, мы проходили мимо базара. Приятель толкнул меня в бок.

— Узнаешь своего старого друга?..

Рамазан! Он стоял, засучив рукава, за прилавком перед полным ящиком яблок и громко зазывал прохожих. Червячок у меня в душе закопошился: «Не случайно его тогда осудили...» И тут же оборвал себя: «Что поделаешь, нужно кормить семью, каждый крутится, как может».

— Говорят, нынче в Барнауле яблоки не уродились, не лучше ли туда поехать продавать,—сказал я, подойдя к нему сбоку.

— О-о! Кого я вижу! — Лицо его засветилось улыбкой,— Я уж подумывал так поступить, да не было советчиков. А урожай у нас хорош — вся земля яблоками усыпана. Как говорится, яблоку негде упасть. Скоту скормить — душа болит. Не пропадать же добру,— Рамазан выбрал из кучи два крупных яблока и протянул нам с приятелем.— Попробуйте, таких и в райских садах не сыщете!

Мы немного постояли, поболтали о том о сем. Между разговором он все продолжал зазывать прохожих, наполняя их сумки, карманы, а мальчишкам просто клал за пазуху.

А почему ты денег не берешь за яблоки? — поинтересовался я.

— Родственник наш, неудобно.

— А та?

— А та знакомая, соседка...

— Если тебе действительно некуда их девать, что ж не сдашь государству?..

— А что, я ему должен? Дешево покупают!

— Ты же все равно даром отдаешь? У тебя же в Байсуне чужих нет?

- Есть! — улынулся Рамазан.— Вот ты, например. Человек городской, ненашенский!

Вечером он принес к нам домой целую сетку отборных яблок.

- Какой-никакой, а ты все ж поэт. Неприлично тебе, думаю, ходить по улице с авоськой, авторитет твой испортится...

«Авторитет испортится!» Это только Рамазан так может сказать!

Вот вам и Ра-ма-зан!

...Рамазан, друг, приятель, вот. но мере сил, я постарался рассказать о тебе. Не принимай близко к сердцу, если я где-то хватил лишку. Но что поделаешь, таково писательское ремесло, нельзя иначе.

Если тебя интересует моя жизнь, то живу я по-прежнему — размеренно, спокойно. (По-моему,- даже слишком!) Я не ною, не плачусь! Всего у меня хватает! И все же чувствую,— чего-то недостает! Может, больших забот, беспокойства или чего-нибудь такого, что не оставит человека равнодушным... Я не удовлетворен собой, своими делами. Все, что написал — мне кажется мелким, ненужным, незначительным. Придя па работу, ожидаешь какого-то чуда, и дома ждешь, и все напрасно!

Эти стенания не жалобы, Рамазан, а исповедь души!

Вчера ночью меня разбудил чей-то кашель. Я долго ворочался в постели, не в Силах заснуть — за стеной слышался сильный, глухой кашель, звук такой, будто вбивают гвоздь в бетонную стену. «Не дочь ли?» — подумалось мне. Сон совсем пропал. Проснулась жена и, встав, пошла проведать дочь, которая спала в соседней комнате. Возвратившись, успокоила: «За стеной соседский ребенок плачет!» И я заснул.

Почему так, Рамазан?

На прошлой неделе в полночь зазвонил телефон. Звонили из Байсуна. Оказалось, у моего земляка, живущего в Ташкенте, умер дядя, родные просили передать ему, что утром похороны. «Извините за беспокойство в столь поздний час, но уж не откажите в помощи!» И еще тысячу извинений за причиненное беспокойство, с пожеланием

всяческих благ. С работы я возвратился усталым, время было позднее, и я решил про себя: «Племянник живет на окраине города. Похороны дяди утром. Что я сейчас поеду к нему, что утром позвоню на работу — все равно на панихиду не успеваю». Ясно, что не успеваю, но...

Вот так, дома у меня стоит телефон! Мне часто звонят, просят о чем-нибудь. Почему так, Рамазан? Как бы ты поступил на моем месте?

Один из моих друзей, присутствовавший на твоём суде, как-то спросил меня: «Как поживает твой приятель-чудак, который сам себя засадил за решетку? Чем он сейчас занимается?»

А разве ты был чудаком, Рамазан? И сейчас тоже не изменился? Ты не меняешься, я знаю. Но почему изменился я? Почему я стал таким? Почему я посмеивался над тобой? Почему так и не сфотографировался с тобой, «не запечатлелся на портрете»? Будь у меня такой снимок, я бы повесил его на самом видном месте, чтобы временами он напоминал мне, как ты любишь говорить, о наших «фозах»...

Утром в субботу лень рано вставать, долго валяюсь в постели — это результат недельной бестолковой и бесполезной гонки, всяких дел. Лежу неподвижно, оцепенелый, в ожидании какого-то чуда... Вот сейчас ты ворвешься в комнату. Неожиданно. Шумный, полный забот п тревог. Привезешь с собой яблок из своего сада. «Чантриморэ!» — скажешь ты, раскрыв объятья. «Каламакаторэ!» — отвечу я.

Что означают эти слова, Рамазан? Из какого они языка и в чем их смысл? Я не знаю, и ты тоже. Спросить бы у Шады-глухого, но его уже нет — умер в прошлом году. Что-то случилось с головой. Это после контузии. В войну получил.

Никого и ничего после него не осталось — ни детей, ни наследства. Остались только эти слова: «Чантриморэ! Каламакаторэ!»

Что они означают?

Мне кажется, это могли бы понять только мы двое — ты да я.

1982

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Айван — крытый навес типа террасы.

Ака — старший брат; почтительное обращение к мужчине старше возрастом.

Амин — староста нескольких мелких кишлаков.

Апа — старшая сестра; почтительное обращение к женщине старше возрастом.

Арбакеш — возница.

А та — отец; почтительное обращение к пожилому мужчине.

Балахона — надстройка над домом.

Бекасам — кустарная полушелковая плотная ткань в полоску, из которой шьют праздничные мужские халаты.

Бельбаг — платок, который повязывают мужчины поверх рубашки.

Буви, бувиджан — бабушка.

Газель — вид монорифмического лирического стихотворения (обычно 5—12 бейтов-двустуший).

Гузар — площадь в кишлаке.

Гулям — паж, раб, молодой прислужник во дворце.

Дада — папа.

Дехканин — крестьянин, земледелец.

Джидда — серебристый лох; дерево с мучнистыми плодами.

Динар — арабский динар — наиболее распространенная в прошлом золотая монета стран мусульманского Востока.

Домла — учитель; обращение к грамотному человеку.

Дувал — глинобитный забор.

Дутар — двухструнный музыкальный инструмент.

Зиндан — темница, тюрьма, подземелье.

Имам — настоятель мечети, руководящий молитвой.

Ичиги — мягкие кожаные сапоги без каблуков.

Кавуши — обувь типа кожаных галош.

Казий — мусульманский судья, который судит по шариату.

Каймак — сливки, сметана.

Кари — человек, знающий Коран наизусть.

Карнай — музыкальный инструмент; длинная медная труба.

Каса — большая фарфоровая чаша, из которой едят плов.

Келин — невеста; обращение к молодой женщине.

Кетмень — род мотыги с широким лезвием.

Коканд-арба — кокандская арба; арба с большими колесами.

Кок-чай — зеленый чай.

Кукнар — наркотик.

Кумган — медный кувшин.

Курганча — усадьба, обнесенная стенами.

Курпача — узкий ватный матрасик.

Курултай — съезд.

Лагман — лапша без бульона с мелко нарубленным поджаренным мясом.

Лапар — частушка.

Маком — мотив, мелодия, лад.

Мактаб — школа, в дореволюционное время — начальная школа.

Манты — крупные пельмени, сваренные на пару.

Мардикер — наемный рабочий.

Мастава — рисовый суп с рубленным поджаренным мясом, заправленный кислым молоком.

Михалля — городской квартал, квартальная община.

Маш — бобовое растение с мелкими зернами темно-зеленого цвета.

Мехмонхона — гостевая комната.

Мингбаши — «тысяцкий», волостной правитель.

Мирза — писец; вежливое обращение к грамотному человеку.

Муаллим — учитель, грамотный человек, наставник.

Наваг — леденец.

Нас, насвай — особо приготовленный табак, который кладут под язык.

Никах — молитва, скрепляющая брак.

Омач — соха с чугунным наконечником.

Палван — богатырь, силач, борец.

Раис — председатель, начальник.

Райхон — ароматная трава (базилик).

Сай — горная река.

Саман — резаная солома.

Сузьма — домашний творог из кислого молока.

Сумалак — традиционное весеннее блюдо из зеленой пшеницы и муки.

Суна (суфа) — глинобитное возвышение квадратной формы, служит местом отдыха.

Сури — широкая деревянная кровать.

Сурнай — народный музыкальный инструмент, напоминающий флейту.

Суфи — служитель мечети, призывающий к молитве.

Табут — носилки, на которых относят на кладбище покойника.

Тазия — соболезнование по случаю смерти, оплакивание умершего.

Танбур — трехструнный музыкальный инструмент.

Танча — низкий деревянный столик, который ставят над сандалом — углублением с горячими углями. Сверху танча накрывается ватным одеялом. Таков традиционный способ согревания зимой в старых узбекских домах.

Тар — струнно-ударный музыкальный инструмент.

Теша — национальный топорик, типа мотыги.

Той — пиршество, праздник, свадьба.

Тыквянка — плод тыквы бутылочной, который используют как «табакерку» для наса.

Улак — козлодрание, конное спортивное состязание, участники которого вырывают друг у друга козлиную тушу. Выигрывает тот, кто сумеет привезти тушу к финишу.

Усма — трава, соком которой женщины красят брови.

Хаит — мусульманский праздник после поста — уразы.

Хаким — доктор, врач, исцелитель.

Хандаляк — сорт ранних дынь.

Хасип — национальная колбаса, начиненная мясным фаршем и рисом и отвариваемая в воде.

Хафиз — певец.

Хола — тетя, сестра матери; вежливое обращение к женщине старше возрастом.

Чачван — покрывало для лица, сотканное из черного конского волоса, носимое женщинами с халатом па голове — паранджа.

Чалоб — напиток из кислого молока, разбавленный водой.

Чапан — ватный стеганный халат.

Чилим — курительный прибор типа кальяна.

Чорноя — деревянная кровать с низенькими перильцами — для сидения и лежания; ставится на открытом воздухе.

Шабан — август.

Шариат — свод мусульманских законов, основанных на Коране.

Шароб — сладкий прохладительный напиток, вино.

Элликбаши — «пятидесятник»; низшая административная

должность в старом Туркестане.

Яхтак — мужская рубашка.

Яшули (т у р к м.) — почтительное обращение к старшим.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Азимов. Чудо многоцветного жанра

РАССКАЗЫ

Абдулла Кадыри. На улаке. *Перевод Н. Владимировой*
Гафур Гулям. Уловки шариата. *Перевод Н. Владимировой*
Воришка. *Перевод А. Наумова*
Хусейн Шамс. Дед Саржанг. *Перевод Н. Владимировой*
Айдын. Дорогой мой командир. *Перевод Э. Амита*
Абдулла Каххар. Прозрение слепых. *Перевод Г. Хантемировой*
Страх. *Перевод А. Рахими*
Миркарим Асим. Томирис (Исторический рассказ). *Перевод М. Салиева*
Юлдаш Шамшаров. Вечная песня. *Перевод Ю. Карасева*
Мумтаз Мухаммедов. Жизнь — заново. *Перевод Ю. Карасева*
Ибрагим Рахим. Усы, нервы и шагомер. *Перевод Б. Привалова*
Рахмат Файзи. Свекровь. *Перевод Н. Владимировой*
Хамид Гулям. Невестка. *Перевод Н. Владимировой*
Саид Ахмад. Сад. *Перевод Э. Тумановой*
Аскад Мухтар. Корни. *Перевод Р. Фаткуллиной*
Мирмухсин. Ключи счастья. *Перевод Ю. Карасева*
Сарвар Азимов. Радуга. *Перевод Р. Галимова*
Саида Зуннунова. Руки. *Перевод Н. Владимировой*
Адыл Якубов. Прощание. *Перевод Н. Владимировой*
Максуд Карцев. Сулув (Невыдуманный рассказ). *Перевод Э. Амита*
Пиримкул Кадыров. Жить хочется. *Перевод А. Наумова*
Ульмас Умарбеков. Абдулла-кавунчи. *Перевод Р. Фаткуллиной*
Осенью. *Перевод Р. Фаткуллиной*
Гани Расулов. Везет человеку. *Перевод А. Наумова*
Уктам Усманов. Вызов в район. *Перевод А. Наумова*
Тимур Пулатов. Последний собеседник
Шукур Халмирзаев. Обида. *Перевод В. Турочной*
Уткур Хашимов. Солнечные зайчики. *Перевод В. Турбиной*
Асад Дильмурадов. Счастье в подарок. *Перевод Э. Амита*
Мурад Мухаммеддост. Галатепинцы. *Перевод автора*
Шаходат Исаханова. Дети как дети. *Перевод Н. Голосовской*
Эркин Агзамов. Яблоки Рамазана. *Перевод К. Хакимова*
Пояснительный словарь

Алое утро: Узбекские рассказы. Пер. с узб./ Вступ. статья С. Азимова; Сост. Н. Владимировой, А. Наумова. — М.: Худож. лит., 1985. 383 с.

В сборнике представлены произведения известных писателей Советского Узбекистана А.Кадыри, А.Каххара, Г.Гуляма, У.Умарбекова и других, талантливо отображающие историю узбекского народа и поднимающие острые вопросы современности.

АЛОЕ УТРО **Узбекские рассказы**

Составители

Нинель Васильевна Владимирова
Александр Наумов

Редакторы ***Р. Фаткуллина и А. Влазнева***

Художественный редактор ***С. Данилов***

Технический редактор ***Г. Такташова***

Корректор ***Т. Филиппова***

ИБ № 3480

Сдано в набор 25.05.84. Подписано в печать 25.02.85. Формат 84x 108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр. отт. 20,58. Уч.-изд. л. 21,18. Тираж 75 000 экз. Изд. № 1У-1483. Заказ № 328. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.